НЁМАН

11/2012
НОЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

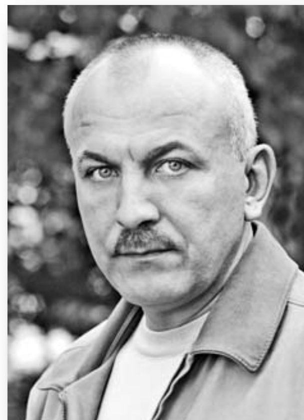
Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкая*

Подписано к печати 06.11.2012 г. Формат 70×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,00. Тираж 3196. Заказ 3338.
Цена номера в розницу 14 300 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



АНАТОЛЬ КОЗЛОВ

Два рассказа

Моим землякам,
бывшим жителям деревни Осиновка

…И тогда я умер

— А? Вы что-то спросили? Не расслышал. У меня что-то со слухом. Что вас интересует?

Он молча глядел. Продолговатое смуглое лицо было неподвижно, напоминало замерзший кофе в чашке. Вот только пустые глаза с едва заметной, глубоко запрятанной искоркой выдавали живое существо.

— Да, извините. — Мне неловко, и я прячу виноватую улыбку, торопливо глубже натягиваю шапку. — Задумался, и показалось, что вы о чем-то спросили. Еще раз простите.

Поворачиваюсь спиной к молчаливому встречному и намереваюсь идти к автобусной остановке. Через полторы недели Новый год, собираюсь в Мурманск. А билета на самолет еще нет.

— У вас его и не будет. Опоздали.

— Что?

— Ничего, — пожал плечами незнакомец. — Просто опоздали. Новый год она встретит без вас.

— Какой Новый год? Вы о чем?

— Просто так. Напрасно потратите время. А его у каждого — горсточка, а не беремя. И еще: обязательно переделайте финал фильма. Не нужно стилизации под народность, которую вы вставили. Примитивно: «Косцы на горизонте, а женщина на беленькой простыне или скатерти рожает нового человека. Сожженная деревня. И еще аист на верхушке сломанного вяза». Проще надо, товарищ режиссер.

— Не припомню, где мы встречались. Подождите, еще не было просмотра ленты. Откуда…

— Разве это так важно? Сегодня слякотная погода, а воробьи, смотрите, щиплют траву. Никогда не думал, что они, как куры, едят траву. У вас, кажется, есть семечки, сыпните горсточку. Пусть брызнет на них тепло летнего солнца.

— Вот семечки, покормите сами, идет мой автобус.

Кому-кому, а мне везет на встречи с больными. У этого человека воспаленное воображение. «Аист на сломанном вязе…» Ты понимаешь!

— Может, и ваша правда. Я не профессионал — просто зритель. Но на художественном совете вы будете ломать пальцы из-за косцов и роженицы, а про аистов и говорить нечего.

— Подождите… Я припомнил. Вы из Вильнюса, кинокритик Гонецкий. Считал, что у меня неплохая зрительная память, а она подвела. Не обижайтесь, с каждым такое может случиться. Давайте по-хорошему поздороваемся и забудем недоразумение. Вам, критикам, только попадись на язык, света божьего не увидишь.

Неприятно, но меня будто прорвало. Слова сыплются как горох.

— Зачем же так? Сами себя обманываете. Никакой я не Гонецкий и не кинокритик. Но если вам так хочется, хорошо, буду Гонецким. Автобус ушел, билетов в Мурманск нет. Да, забыл сказать, погода будет нелетная. Не суждена вам встреча.

«Кто он и что ему надо? Почему стою как столб и не могу уйти? Дел по горло, а я беззаботно треплюсь с ним».

— Кто я? Человек. Да, вы при деньгах? Я не против выпить. Тогда воображение работает лучше.

— Идем в «Театральное». Там всегда есть.

Вдруг он обхватил обеими руками голову и так сжал виски, что побелели косточки пальцев. Морщился, плотно зажмурив глаза. Словно помертвев, стоял несколько мгновений.

— Мне надо к доктору. Не могли бы вы проводить меня? — он оторвал руки от головы. Смуглое лицо, к моему удивлению, стало бледно-черемуховым. У глаз и губ выступили мелкие капли пота. Как будто некто невидимый обмахнул его мокрым веником.

— Подождите. Попытаюсь остановить машину, вы не дойдете.

— Не надо, — остановил он меня. — Машина стоит за углом, на платной стоянке.

— Но я не умею…

— Умеете, просто не знаете, что умеете.

Новенький, вишневого цвета «жигуленок» одиноко стоял на просторной площадке. Куцые тополя с обрезанными весной ветвями будто охраняли машину от чужих рук. Вход на стоянку был щедро усыпан битым стеклом, словно кубинским сахаром, с размаху высыпанным на асфальт. Возле сторожевого домика вертелась рыжая одноухая собачка. Она проводила нас любопытным взглядом и, лениво поворчав, легла под стену.

— Набросьте ремень безопасности. И чувствуйте себя свободней. Это машина, а не жеребец необъезженный. Вот так. Все правильно делаете, поехали.

Я никогда прежде не сидел за рулем автомобиля. Но каждое мое движение казалось отработанным десятилетиями. Я чувствовал машину всем телом, как живое существо, будто сросся с ней. Вот теперь посмотрели бы друзья-насмешники, какой я классный водила. Прикусили бы языки, оставили свои пустые шуточки.

— А вы любите славу, — незнакомец спокойно и едва заметно улыбнулся. — Вот только ее надо постоянно подкармливать; а если вместо личности — астральный мусор, тогда как?

Я молчал. За эти несколько минут мы успели выехать за черту города, миновать вонючий мясокомбинат и поравняться с тихой, словно испуганной, деревенькой, что убежала от супершоссе на три-четыре сотни метров за озерцо.

— Вам нужно к доктору, а мы уже миновали город.

— Ничего, мне стало лучше. И не волнуйтесь, вы правильный выбрали путь.

— Так куда мы едем?

— Как — куда? Я, кажется, говорил. Но нетрудно и повторить. Очень хотел бы увидеть тебя отец, тем более что сегодня его годовщина.

— Так не шутят.

— Какие шутки. И прости, что перешел на «ты». Проще в разговоре.

— Вы что-то перепутали. Восемнадцать лет, как похоронили отца. Он умер. Вы понимаете? Мой отец умер.

— Странный человек. Кто сказал тебе, что он умер?

— Я сам видел и помню.

— Видеть можно многое, но увидеть все — невозможно, тем более понять. Не нервничай и сверни со встречной полосы, выровняй машину. Жить еще не надоело?

Молчу. Молчу, как спиленное дерево, как пылающая черная солома на свадебном костре ведьм. Внутри у меня пусто и значительно хуже, чем в загаженном колодце посреди опустевшей деревни. В осклизлом срубе этого колодца заканчивают самоубийством жизнь состарившиеся летучие мыши, захлебываются ужи и гадюки. Но мне все равно. Вот только пить не стану из этой вонючей копанки. Я человек, а не ворон, чтобы смаковать всякую мерзость.

— Не говори глупости. Какой ты человек? Человек не забывает свои корни, предков. А ты забыл отца. Когда последний раз был на могилах родных?

— Вас не касается. Не лезьте в душу. Сбежали из психушки, так сидите молча. Недолго вас туда возвратить.

— Интеллигент. Беспокоишься о гражданском покое? Похвально. Сбрось скорость, за указателем повернешь налево. Не волнуйся, отец на тебя не обижается. И гнева в нем я не видел. Вот только мать часто плачет. Понятно — женщина. Очень переживала, когда у тебя не заладилось с женой. И еще жаловалась, что никак не может войти в твои сны. Почему-то не впускаешь ты ее, прогоняешь. А она была у тебя лучше, чем у других. Зачерствела твоя душа, парень. Говорю тебе как посторонний наблюдатель, посредник.

Машина повернула на разбитую проселочную дорогу. Молодая зелень озимых грубо давилась «жигулем» на уже подмерзшей земле, покорно ложилась под черную резину колес, и уже никакая сила не сможет весной оторвать ее и поднять к солнцу. Так ехали километра три. Машина катилась легко и послушно. Разговор не вязался. А когда свернули за пригорок с чахлой сосенкой на маковке, перед глазами возникли огромные врата, излучавшие мягкий, но яркий свет. Этот свет слепил глаза и притягивал к себе с неимоверной силой, противиться которой было невозможно. На минуту я отпустил руль и закрыл глаза руками. Но к моему удивлению, машина, словно запрограммированная, катила по прямой, никаких отклонений. И вот тогда впервые с начала этой непростой истории мне стало страшно. Почувствовал тот ужас, когда волосы становятся дыбом, а тело покрывает «гусиная кожа». Но это ощущение длилось долю секунды. Сняв руки с глаз, я не увидел человека, с которым ехал. Пустой салон. А до ирреальных врат оставались считанные метры. Глубокий вдох и — «жигуленок» мчит в абсолютной тьме. В животе что-то сжалось, поднялось в груди, и я не могу дышать, потею, закладывает уши, кажется, кто-то невидимый плоскими и холодными пальцами давит на мои глаза, вот-вот они брызнут через затылок, в ушах гудит, как у утопленника, который мгновение спустя, через один всплеск переступит порог жизни. Неужели это и есть смерть? Нужно сложить на груди руки. Вот и…

— Рано, сынок! Тебе еще жить и жить. Открой глаза, не бойся. Ну, смелей.

Что это? Я сижу посреди луга. Уже смеркается. Немного зябко. Пожалуй, апрель. В стороне от меня пасется табунок лошадей, еще не объезженных.

На исхудавших крупах торчат мослы, под грязноватой шкурой можно пересчитать ребра. А еще дальше, у лозового куста, который теребит ветер, вижу собаку. Серая шерсть висит клочьями, с морды течет слюна, хвост поджат.

Подождите, подождите! Я все это видел?! Да! Я это видел и был здесь. Но когда? И почему я в лаптях, на плечах торба?

— Нет, нельзя пустить собаку к коням. Она бешеная! Что ж ты сидишь, паскуда нечесаная? Беги, отгоняй, маши палкой. — Но нет сил подняться, земля, словно трясина, засосала мое тело.

Собака приблизилась к табунку. Лосистый жеребец усердно щиплет траву. Никакой настороженности. Кобылы фыркают. Собака обходит жеребца сбоку и неожиданно слюнявой пастью кусает его за грудь, перескакивает к кобылам и набрасывается на них. Нетронутым остался лишь гнедой жеребенок-сеголеток. И тут кто-то толкает меня в плечи, бегу, задыхаясь, руки, как у аиста крылья, расставлены в стороны, машу ими, приближаюсь к табунку. Опередить, не позволить заразной собаке коснуться стригунка. Собака набрасывается на меня и яростно кусает за бедро.

Смешно! Я знаю, что будет дальше. Все это пережито мной. Оно долго спало и вот проснулось в подсознании. А уже из-за реки, из деревни бегут люди. Впереди лохматый старик и еще десяток мужчин. Поздно. Собака спряталась в густом кустарнике топкого болота. Испуганные кони как клюква рассыпались по лугу…

Плачет жена. Я ее не помню, знаю только — она моя жена. За селом мужчины выкопали большой ров, а я сижу в клети, двери забиты, в стене прорезано окошко, в него мне подают еду. Слышу, как ржут кони. Их не удержать. Десяток мужиков выводят на веревках из стойла первого жеребца. Метрах в двухстах от рва его отпускают, и он, бешеный, с кровавыми глазами, бежит в подготовленную западню. Копыта зависают в воздухе — и вот треск костей. Я это слышу, сидя в клети, бросаюсь на стены, мне жаль коней. А жена плачет у окошка, я не беру горшок с едой. Выводят уже и лысую кобылу. Ни один конь не мог так ходить рысью, как она. Лыска, милая Лыска, и ты распласталась на желтом дне рва.

Целую неделю я просидел в клети. Немного прояснилось в голове. Отец — тот старик, что бежал впереди толпы, не подходил к окошку. Я же чувствовал большую вину перед ним. Было горько и обидно.

Теперь уже не помню, в какой день, кажется, в субботу, я лежал на лавке и дремал. Привыкнув к темноте и одиночеству, приятно было прислушиваться к шорохам и звукам за стенами. И тут посреди клети вырисовался луч света. Сперва он напоминал отблеск мохнатки, затем трепет огня в костре, а еще спустя мгновение я увидел старца. Он подошел ко мне и сел в изголовье, руку положил на грудь,туда, где бьется сердце.

— Я хочу поговорить с тобой о вечности. Пока не перешел туда, ты мыслишь в пределах недели, месяца, года, не больше. Теперь ты увидишь полный круг жизни. Не бойся, ты вернешься в солнечный свет другой земной жизни, не помня подробностей своего предыдущего опыта, а может, и будешь помнить. Не бойся того, что часто называют смертью. Ее не существует. А вечность — неизмерима, без начала и конца. Человек, который осознает ее как свое богатство, богаче того, который определяет его количеством денег. Храни сознание вечности. Завтра, после захода солнца, я встречу тебя. Но утром попроси у отца прощения, пусть у него на сердце будет легко. Омой свое тело и жди меня. И брось мысли о самоубийстве. Если бы самоубийцы знали, что ожидает их, то любой из них и не подумал бы об умерщвлении плоти, несмотря на самые невыносимые условия земной жизни. Я за тобой приду.

И снова тьма.

Утром прошу жену, чтобы позвала отца. Он долго не появляется, не хочет видеть меня. Но вот перед окошком его лицо.

— Папа, прости.

— Пошел ты к чертовой матери!

— Прости за все, что я сделал.

— Пускай черти тебя прощают!

— Прости за это несчастье.

— Гори ты ясным пламенем.

Жена моя потеряла сознание. В хату вскочили незнакомые люди. Они спасали женщину, а я был проклят.

Под вечер все же удалось уговорить родных, и они выпустили меня, сперва в сени, а потом и в хату. Нагрели в печи воды, налили в ночвы, и я омыл грязное тело.

Солнце спряталось. Наконец-то я был счастлив. Лег на широкую лавку вдоль стены и стал ждать. Прошло не больше часа… и тогда я умер…

* * *

Всюду гнилая морковь. Проломанный пол в старом разбитом ковчеге затянут паутиной. Через пролом врывается едкий дым, щекочет в носу и вызывает слезы. Некая барышня в болотного цвета платье, сшитом из простыни, сидит на шатком столике и плюется шелухой от семечек подсолнечника. Глаза ее глядят в разные стороны, и только изредка, когда ковчег вздрагивает, они сбегаются и сосредоточенно упираются в переносицу. Большой черный штамп на платье сообщает, что она из «Минздрава».

— Ха-ха, а собака укусила прапорщика, — от смеха у барышни упала серьга и, сбив паука, покатилась в бездну.

Я и тетка Хая играем в карты. Нам долго ехать, и мы раскидываем колоду за колодой. 337 раз я бросил тетке Хае дурака.

— Вай-вай, мне стыдно, — она всовывает недоеденную булку между колен, достает из лохмотьев яблоко.

— Передай барышне, пусть утолит жажду.

Нам долго, долго ехать. А сколько? Не знаем ни я, ни тетка Хая, ни барышня. Надоела, обрыдла гнилая морковь. Барышня молчит. Она в дороге уже сто седьмой год.

Ковчег вздрагивает, скрипит и спустя минуту останавливается.

— Чтоб вы провалились! Опять грабить будут, — барышня вскочила со столика и выворачивает пустые карманы.

— Вай! — тетка Хая прячет за щеку наручные часы.

И тут в наше гнездо врываются двое толстых мужиков. Голые животы перетянуты толстыми ремнями. У одного седая голова и отсечено правое ухо, второй держит в руке плетеную лозовую корзинку.

— А-ну! Раздевайтесь! — Одноухий срывает с тетки душегрейку.

— Вай-вай! За что? А люди, а как же мне… — Тетка достает из-за щеки часы и бросает в корзину. — Забирайте все, только не нательное. Вай, и как жить? Это же заканчивается Элул, последний месяц 5749 года, а мы голые? — Тетка Хая натягивает на себя кучу лохмотьев, я прикрываюсь руками, а барышня старой газетой.

Пограничники ушли. Ковчег снова вздрогнул и потащился дальше.

— Ой-ей, а чтоб вас дети боялись, чтобы короста на Пасху съела, как вы нас голыми в свет пустили. Уй, и что дальше будет?

— Закройте рот и молчите, — барышня вытащила из угла узел. — Выбирайте! До следующей границы погреемся.

— Живем! А еще у нас остались карты.

Я опять набрасываю тетке дураков. Барышня глядит в окно. А через пролом в полу поддувает снежком.

— Ох, и поел бы я сейчас кильки, десяток банок умял бы, а ты, тетка?

— Да иди ты… Килька… Я бы курочку или телятинки посмаковала. И говорил же мой Мендель, чтоб запаслась… Только злодюги все равно отобрали бы… Так уж лучше хлебушком… Ох, нет жизни! И как добраться к тому месту. Вай-вай, как не хотелось мне ехать за границу, послал же, — тетка Хая порылась в лохмотьях, вытащила почти полную пачку сигарет. — Не все отняли! Подымим и погреемся. Барышня, затянешься? Нашенские, там таких не будет, а?

— Угу!

И вот сидим мы втроем и причмокиваем от удовольствия. Вкуснотища!

Ох, разве иезуиты это поймут? Холера на них, было бы нам хорошо.

— Уй, до чего я додумалась, — тетка Хая даже поперхнулась дымом, — а чего бы нам рядом не сесть — теплей будет.

Мы усаживаемся плечом к плечу. Теплее, но зубы все равно выстукивают «барыню». Под лавки ветер намел снега, ноги туда не сунешь. Мухи и комары с окон осыпались, это хорошо — не лезут в глаза, не застят день. А барышня молчит. Смалит сигарету и молчит.

— Вай, я, когда была девкой, ходила в пекарню, там хлебцы пекли, как там было тепло, вай-вай! Сейчас бы туда! От погрелась бы!

Тетка Хая задремывает.

Который уже день сидим в этом загаженном ковчеге.

И куда нас везут, и кто нас везет и зачем?

Этого не знает никто, ни я, ни тетка Хая, ни барышня. Выгнали нас из домов. Ищем зарубежье. У барышни на второе столетие повернуло, а она так и не нашла остановку.

Сколько мне здесь мерзнуть и исходить потом?

— Бросьте ему морковку, иначе не отстанет, — барышня глазами показывает на окно.

Там, снаружи, рядом с ковчегом бежит моложавый старик с холеным лицом, в отглаженном пиджаке, на котором висит сотня медалей и орденов. Кажется, блестят золотые погоны. Но по правде говоря, этого я не разглядел. Он улыбается, шамкает ртом и что-то кричит. Но разве услышишь его? Да и тетка Хая начала похрапывать.

Я не жалея бросил пригоршню заледеневшей моркови, и он, споткнувшись на месте, стал собирать ее за пазуху.

Тетка Хая проснулась.

— Вай, и зачем трутней кормить? Нас он голодом морил, уй, страшно вспомнить. А вы ему морковь. Его никто и никогда не запишет в счастливый год. Видишь, и за границей несытно. Домой бы его, ой, что было бы. Только же водочное море не переплывет — захлебнется. Пускай бегает, пускай слюни пускает, а вы морковкой не бросайтесь. А то, вуй, футбол развели.

— Не двигайтесь! — барышня задрожала всем телом и протянула к нам руки. — Я вижу облака, они светятся. Это аура. Она разноцветная и постоянно меняется. Думайте, думайте о чем-нибудь. Она меняет над вашими головами цвет и блеск. Над парнем она залита розовым цветом. Он к кому-то очень сильно привязан. И мысли неотступны. Это — безграничная преданность человека человеку. Но вот облако немного меняется. Я пока вижу едва-едва

темно-коричневую окраску. Да, это уже себялюбие. Однако его себялюбие — внешнее. Глубина в его ауре добрая. Он счастлив — кого-то любил и любит. Над головой у тетки Хаи облако с синевато-серым оттенком. Это цвет страха. Чего бояться, тетка? У ненависти и злобы черный цвет. Теперь никто не сможет спрятать от меня свои настоящие чувства и отношение. Я просветлела!

Тетка Хая испуганно обхватила руками голову, пробежала пальцами по седеющим волосам и закрыла ладонями лицо.

— Зачем она сделала это? Я слышала пение птиц, я видела весну. Теперь я слепая. Озарение было мгновенным. И не найти мне теперь моего физического тела, оно и дальше будет спать. Мне не вернуться, никогда не вернуться.

Все разрушено, битые кирпичи мешают идти, разломаны и обрушены перекрытия между этажами. А мне так хотелось забраться на последний этаж, где голуби устраивают гнезда и откуда виден берег детства. Там взрастает на деревьях любовь, она цветет круглый год, и там целые клумбы счастья. Сто семь лет напрасного странствия…

Барышня беззвучно спустилась с лавки и нырнула в пролом пола.

— Вай! Она сумасшедшая! Как мы уцелели?

— Она счастливая.

— Ты от нее заразился. Пойди умойся.

— Там закрыто. Висит замок с мою голову.

— Но она бешеная!

— От нее исходил свет, ее присутствие делало меня счастливым. В ней светились радость и красота жизни. И я грелся в лучах ее любящего сердца.

— Вай, ты не доедешь до границы. Что-то вселилось в тебя. А как мне одной, вуй?

Тетка Хая заплакала, размазывая слезы по рыхлому лицу. С верхней полки на столик барышни слетел петух с обмороженным гребнем, раз-другой крутнувшись, он подобрал под себя ноги — сел.

— Не плачьте. Никогда не плачьте, если только это не нужно вам для восстановления утерянного равновесия. Помните: «Смейтесь, и весь мир будет смеяться с вами!»

— Ты влюбился в барышню. Вай-вай, горе мне горькое. Я рассчитывала на поддержку. А ты весь в любви.

— Я полюбил ее, но непонятной любовью.

— Так ведь всякая любовь непонятная. Ты думаешь, что саламандры видны лишь неистовым поэтам? Но они так же реальны для самих себя и для всех, как этот петух на столике.

Ковчег задрожал. Он дернулся раз пять и, треснув посередине, будто скорлупка яйца, развалился. В глаза ударил свет. Раскаленный солнцем песок казался мертвым и нетронутым. Петух обжег лапы, вспорхнул и полетел к лесу, который щербатой пилой темнел впереди.

— Приехали. Вот и граница. Что делать будем?

— Я бы поспала, но боюсь. Вуй, ты молодой, и что в голове, только тебе известно. — Тетка Хая стыдливо отвернулась.

— Порисую, пока спадет жара. А потом пойдем пешком, не сидеть же. Поспи, тетка Хая, перескочи на другую половину ковчега и вздремни.

— Ыгы, так я и легла. Рисуй, а я глядеть буду. Только барышню не надо рисовать. Зачем она тебе, поглядеть вокруг, так и получше есть… Хорошо. Ай, как хорошо! Это уже в стиле Вазорелли работаешь. Вижу игру белого и черного, пятен и линий. Просто романтические контрасты получаются. А форма, какая форма! Вуй, вылитый Вазорелли! Ты художник, парень. Большой художник. Теперь давай знаменитую вазореллевскую серию зебр набросай.

— Отстань, тетка Хая, со своим Вазорелли. Придумала!

— Так уж и тетка. А может, я Кайафа, ха-ха! Ты знаешь, кто он? Не знаешь. Я из его рода. А был он обвинителем Христа.

— Но Бог от одной крови создал весь человеческий род для жизни на всей земле.

— Вуй, тогда все человечество братья и сестры, если мы одной крови. И не имеем права причинять один другому вред. Но как тогда с принципом Кайафы, по которому можно легко уничтожать инакомыслящих будто для пользы людей? Принцип этот: «Лучше пусть погибнет один человек, чем весь народ».

— Да, да, тетка Хая. Жертвуя одним человеком, мы жертвуем народом. Потому что единицы в сумме создают народ. Никто не видит ту границу, когда из единиц, десятков, сотен и тысяч складывается народ. Вы жертвуете мною, я вами и… Нет, нет! Вы из ужасного, кровавого рода! Народ — это каждый!

— Я обыкновенная дочь Моисея, многими презираемая и загнанная. Зигмунд Фрейд все же был прав, когда исследовал бесчеловечное в человеке. Я уже немного пожила и кое-что видела. Бесчеловечное детерминировано звериным в человеке. Я уверена, оно по своей природе не только не свободно, но и направлено против свободы. Вуй, трагедия, видно, в том, что бесчеловечное тесно переплетено с человечностью. Одно от другого невозможно отделить. Вот так я тебе скажу.

— Солнце остыло, по песку можно идти. Надо оставить ковчег. Вы пойдете со мной?

— А куда ж я денусь?

И они пошли, осторожно переставляя ноги по песку. Нанесенные ветром горки мешали идти. Далекий лес понемногу приближался. Но с каждым шагом становилось тяжелее и тяжелее идти. Песок съедал ноги. Пока этого не замечали ни парень, ни тетка Хая. Они преодолели еще один пригорок, спустились в овраг и остолбенели. Все вокруг было устлано человеческими костями. Упорядоченные груды скелетов поднимались на десятки метров. Высушенные и выбеленные солнцем кости были как рафинированный сахар. Черепа вокруг валялись, как футбольные мячи.

Однако овраг этот — не овраг, и скелеты — не скелеты. Поднялась перед глазами огромная гора, на которой пылают три огромные шестерки — 666. Конец света. Дьявольское место. Ад. И услышали парень с теткой Хаей стоны, человеческие причитания. Зашуршали костями скелеты, поползли по земле в поисках своих голов-черепов. А по проселочным дорогам грешники на телегах битум везут, на плечах застывшие куски смолы несут. Гора выбрасывает в небо густой черный дым.

Упали тетка Хая с парнем на колени и на карачках добрались к щели-пролому в горе. Вползли туда, намереваясь затаиться.

Но где там.

— Вай, парень, погляди-ка туда.

И они увидели посреди ада большой столб, к которому цепями прикован Люцифер. А всюду котлы, котлы с душами, а часть их так, без котлов, валяется. Снизу огонь полыхает, а сверху битум расплавленный льется.

— Вай, парень, вижу я Рохлю, шинкарка знакомая моя. У дороги жила, мужикам на слово в долг горелку давала. Вуй, тянут ее в котел. А дьяволище, гад, как он щелкает копытами! Чтоб он угорел.

— Молчи, тетка.

— Вай, вай, Рохлечка ты моя, Рохля!

И швырнули растерзанную душу женщины в котел, туда же столкнули ядреную молодицу. Пытаются они выскочить, но черти кнутами из воловьих жил хлещут их и сталкивают обратно. А сами нечистые хохочут на все лады.

— И зачем я пошла с тобой из ковчега? А сидела бы я там сиднем, бедылиха не ведая. Вуй, а как же выбраться?

— Тетка, у кого денег кошель, тому не надевают шинель, а у кого ни гроша и пустая лапка, тому и надевается красная шапка. Приглядись лучше, сколько солдат ведут. И каждый несет на плечах убитых им. Вот какая она, любовь к человечеству вообще и к каждому в отдельности. А мы с вами про какого-то Кайафу. Да и ковчег не спас бы. Но до границы мы все же добрались. А вон нашу барышню из ковчега скелеты положили около дьявола.

— Вуй, нет спасения и здесь от нее.

И налетели со всех сторон на барышню черти. Ломают ее кости, рвут жилы и поджилки, каждый себе гребет, делят, как скарб. Осталась лишь кожа. Поднялся тогда один дьявол с колоды, притопнул и влез в ее кожу. Плеснули на него чем-то жидким, и ожила барышня с дьяволом внутри.

Тетка Хая тотчас ухватила парня за руку и вытащила из пролома в горе.

— Бежим отсюда, вай-вай. Может, повезет выжить. Я заметила, как барышня-дьявол посмотрела в нашу сторону. Она нюхом учуяла тебя. Зачем было любить ее? Вуй! Давай искать путь в рай. Он где-то здесь, недалеко.

— Но ведь путь туда запрещен. Пока человек не согрешил, он жил в раю, а после греха Бог отдал его птицам. И правильно, зачем ему пустовать? Но мы с тобой не птицы. Как туда попасть?

— На небе, чтобы не заблудиться, есть дорога для птиц, ясная и широкая. Вуй, она нас и выведет в…

Тетка Хая не успела договорить. С вершины горы, вместе с дымом вылетела барышня-дьявол, стрелкой мелькнула в небе и зависла над головами ковчежников.

— Ха-ха! А собака укусила прапорщика. Куда вы бежите? Счастливее места не найдете. Я обоих вас люблю. Вы на границе, нет смысла опять страдать.

Барышня-дьявол схватила за горло и парня, и тетку Хаю. Пальцы сцепились мертвым замком.

Ага! Все! Вот и все! И тогда я у…

Нет! Что вы, нет!

Я же Сымон. Я иду домой. Вот наше село. Засиделся у свата. Сегодня весенний Юрья. Мы и глотнули немного. Сват мне и уздечку подарил. А еще загляну к Московке. Красивая женщина. Принесло ее откуда-то к нам. Говорит, из Московии. Так теперь и быть ей Московкой.

Еще месяц не прожила здесь, а ко мне пригляделась. Ехал я за солью ранним утром. Запряг кобылу, нагреб в мешок кобыле овса, положил на воз и помаленьку загуменьями качу на телеге. И только выехал за село, как тут Московка откуда ни возьмись прыг на телегу. И надо же, лярва, без юбки. С налета и без шуток давай меня целовать. Ну и началось это дело. Разлеглись на телеге… Запарились, хоть выкручивай. Говорят, она не хочет устраиваться на работу каждодневную, а шепчет больным да травами их лечит. Видишь ты, способная. Ох, Сымон ты мой, Сымон, Сыманюшу, перевернула она тебе сердце и душу. Ну и пусть. Дурного тут ничего нет, я же холостякую. Вон ее хата. Перелезу через забор, чтобы не искать щеколду калитки. Шатается, холера. Хорошо хоть собаку не завела. Тихонько, крадучись и к двери. Не забыла она про меня? Нет, не могла забыть. Так. Почему-то у нее воротца

открыты на лужок. Забыла приткнуть палкой или поленцем. Я тебе услужу, Московочка, прикрою.

Ну и холера. Моя Московочка растягивает по росе полотенца, собирает росу и выжимает в доенку. Покойник Кузьма говорил, что так молоко тянут к себе от тех коров, которые пройдут по местам сбора росы. Неужели она колдунья? Вот уж я влип, не видно и макушки.

А что если и мне собрать росы уздечкой?

Подумал — сделал. Начал таскать уздечку по росной траве. Вымокли кожаные ремешки, так что от лунного света блестят, вода едва не ручейками сливается. Постоял минуту, подивился на Московку и осторожно, насколько мог после выпитой самогонки, пошел домой. Какая уж там любовь после увиденного.

Притопал я помаленьку, повесил уздечку на стену в сенях, как раз над ступой, а сам в хату. Взял в красном углу громничную свечу, большой горшок да в хлев. Зажег свечу, прикрыл ее горшком и сижу, понемногу и дремота подступает. А если бы спросили: зачем это все делаю, то и ответить нечего.

Однако сижу. И вдруг вижу: открылась дверь в хлев и появилась Московка в лунном проеме. Я быстренько шморк горшок со свечи — все вокруг видно стало. А у Московки никакого страха. Подходит ко мне, улыбается. Присела рядом на солому и гладит меня по голове.

Мне же противно как-то от нее, но не показываю вида.

— Отдай уздечку, Сымонка, — просит она так ласково и мягко, хоть в ухо клади.

— Зачем она тебе, да и какую уздечку? — говорю, будто ничего не знаю.

— Не жульничай, Сымонка. Ту отдай, что над ступой в сенях.

И так начала ласкать меня, да так умело, ловко, что дыхание захватывает. Вырвался я через силу, вскочил и говорю ей: «Сгинь, ведьма, из нашего села, пока людям не сказал, кто ты есть».

Вскочила и она. Вижу, злоба бушует в ней, но тут же она взяла себя в руки.

— Эх, Сымонка, я тебя так любила, так любила, а ты… Да ничего! Уйду я от вас, уйду, не гневайся. Только позволь завязать тебе на память платочек.

Вытащила откуда-то Московка платочек и, пока я думал да прикидывал, завязала мне на шею. А сама захохотала и исчезла. Будто и не было ее никогда.

Глянул я на себя, а и руки, и ноги, все тело обросло волчьей шерстью. Вместо рук и ног появились волчьи лапы. Я кинулся на улицу, взвыл от горя и отчаяния, да с такой силой, что и самого пронзил ужас. Так стал я вовколаком из-за проклятой Московки.

Заборами, тихими уголками кинулся из деревни. Бегу около кладбища, вдруг вижу, что одна могила раскрылась, вылез из нее покойник и направляется к соседней деревне. Ну и я следом за ним, от кустика к кустику, темными уголками, чтобы месяц меня не высветил и не выдал. Дошли мы до деревни, а там свадебная компания гуляет. Я же не спускаю глаз с покойника, слежу за ним. А он тихонько подошел к порогу хаты, снял с себя пояс да и положил вдоль крыльца. И тут я увидел Московку, тащит она всю свадьбу на улицу плясать, мол, чтобы не запариться. А сама, поганка паршивая, покойнику подмигивает. Перескочила Московка первой через порог — ничего с ней не случилось. Следом и жених с невестой, и товарищи их через порог пошли. И как только переступали через пояс, который положил покойник, сразу становились вовколаками. Вот оно что, думаю. Тут я мгновенно круть и назад, на кладбище. Вернется же покойник на свое место, дай-ка я лягу в его гроб. Влез в могилу и жду.

И ни отдохнуть, ни подумать не успел, как приходит покойник.

— Ты зачем забрался на мое место? — спрашивает.

— А так мне захотелось.

— Вылезай скорей, пришло мое время ложиться, — не просит, а приказывает покойник.

Ну, а я пасть ощерил и рычу на него:

— Зачем, — говорю, — свадьбу в вовколаков превратил и кем тебе приходится Московка?

— Это мое дело, — отвечает он.

— Тогда гуляй по белому свету, а я посплю. Куда мне, вовколаку, торопиться? Буду лежать здесь, пока не откроешь тайну, как снова стать человеком.

Вертелся-крутился покойник, а тут уже одна минута осталась до назначенного времени. Надо ложиться в гроб, иначе не будет ему покоя вовеки.

И тогда покойник сказал:

— Отгрызи от моего гроба щепку, зажги ее на рассвете в костре, который оставляют пастухи, и зажженной щепкой обкури каждого вовколака, а себя самого — последним, и станет каждый из вас человеком.

— Про Московку ты ничего не сказал.

— Какая она Московка? Это Мара, русалкина дочка, губительница людей. Ты при случае посмотри на нее, когда будет идти у воды. Только смотри против воды. И увидишь всю насквозь. Освободи мое место.

Отгрыз я щепку и выскочил на волю. Как только покойник лег на свое место, могила закрылась.

И пошел я к деревне. Еще издалека увидел у свадебной хаты волчью стаю. Вертятся они, воют, дерут лапами землю. А вокруг свадебные гости плачут. Что мне было делать? Побежал я на луг, нашел еще не погасший костер, зажег щепку. А тут и ясная заря-заряница на небе выплыла. Вернулся я в деревню, подбежал в вовколакам и начал их по очереди обкуривать. Только обойду вокруг вовколака, сжимая дымящуюся щепку в зубах, как он уже не вовколак, а человек. Последний остался. И его обкуриваю, но как на ту беду догорела щепка. Остался человек с волчьим хвостом, с никчемным таким украшением, а мне самому и вовсе не хватило дымящейся щепки... Горюй не горюй, а жить надо. Спрятался в лесу. И не рассказать, какую познал беду. Очень уж плохо было с едой — только сырое мясо, да и то, рискуя жизнью, должен был добывать. Незаметно подползешь к стаду, задушишь овечку или корову — а она невкусная; задушишь другую, третью — а они все одинаковые. Крутит кишки от сырого. А как-то и на свой двор волков привел. Начали хватать поросят, волки больших и лучших хватают, а я — что поменьше, что ни говори, а свое, жалко.

Но больше всего искал я Московку. Однако из села она исчезла, а в хате ее поселились гадюки.

И еще одна беда подстерегала каждую ночь. Спать-то я ложился вместе с волками, но так, чтобы ветром не несло от меня на них. Иначе учуют необычный, не волчий, а мой, человече-вовколачий запах и…

Но однажды я так устал, что потерял осторожность и лег против ветра. Проснулся — трещит моя шкура, рвут меня волчары клыками. И нет никакой силы, которая спасла бы меня.

Взвыл я так, что посыпались звезды с неба, а луна свалилась в болото. Погасла последняя искра в моих глазах, победила тьма, да такая густая и липкая, из которой уже не выбраться, не вырваться…

И тогда я умер…

…Опять стучат в дверь. Настойчиво ломятся. Кто скажет мне, когда все это закончится? Я устал. Нет сил глядеть в эти лица, слушать сотни раз одни и те же слова. Давясь, пить бурду, которую они приносят, и делать вид, что рад и все мне нравится. Скучно и грустно ходить каждый день по одной и той же дорожке. Я уже научился среди тысяч следов на дороге находить свои и, не боясь, становиться на хрупкий лед.

— Подождите, сейчас открою. Иду, иду…

И зачем убирался в квартире?

— Ну ты и спишь. Полчаса скребемся.

— Проходите.

Кроме Ирины и Петра, всех вижу впервые. Полная сумка портвейна, из карманов достают водку. У меня не квартира, а притон. А я? Тьфу ты, чистоплюй вшивый. Открывай холодильник и ставь, что имеешь, на стол. Тяжко принять лишь первую стограммовку, а дальше все просто и приятно, как после долгого воздержания поиметь женщину или помочиться на стену главного дома в городе.

— Знакомьтесь, это Сикорский, хозяин квартиры, — Петро похлопывает меня по плечу. Что ж, если ему хочется, пускай прикидывается лучшим другом.

— Я Танечка.

— Валька.

— Игорь.

— Михась.

— А я Сикорский.

— Начнем чернилить, — Петро привычно расставляет на столе бутылки, закуску.

Танечка, увидев пианино, бомкнула по клавишам и низким голосом затянула:

— Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз…

…Почему? Не знаю. Но сто раз в моих глазах и памяти прокручивается один и тот же эпизод. Никак от него не избавиться. И вот теперь, за столом, я вижу на стене пережитое. Да, я это пережил. Осенняя блокада. Болото. Шесть вооруженных мужчин и девять женщин. Десятый я — новорожденный. Мне три месяца от рождения. Слякоть, изморось. Со всех сторон обкладывают нашу группу враги. В грудях моей матери нет ни капли молока. Они пустые. Я голоден, кугукаю, требую еды. И она уже не прячет груди. Висят они на рубашке, немного прикрытые мокрыми полами пиджака. Жадно чмокаю пустые соски. Но как мне успокоиться? Рвется писклявый протест из моего горла. Я против голода, в котором виновата моя мать, против уставших и нервных людей, против врагов, которые охотятся на нас, против всего жестокого мира. Сила моего несогласия в голосе, еле слышном голосе. Мой рот постоянно прикрывает рука матери. Но я все равно люблю ее, хотя закрадывается и злоба.

— Заткни ты ему глотку, — серые глаза худого мужчины холодно блестят.

Мать прижимает мою голову к плечу. У меня перехватывает дыхание от мокрой рубашки, от болотного запаха воды. Ненадолго умолкаю. Я ненавижу всех этих затравленных, испуганных людей, которые спасаются от врагов, спасаются сами и спасают меня. Но сегодня в их глазах не видно сочувствия, не слышно добрых слов. Они сперва украдкой, а потом смелей и смелей враждебно смотрят на меня. Это чувствую не только я, но и мать. Сует, сует она пустые соски в мой рот.

— Из-за твоего выблядка всех нас покосят, — так говорит худой мужчина, начальник ошалевшей группы.

Бабы согласно кивают головами. А у матери в глазах бешенство. Она прижимает меня к себе, будто хочет впихнуть назад в чрево. Враги плотней и плотней окружают нас в болоте. Стреляют на мой голос, и спасения, кажется, не будет уже никому.

— Значит, так, — худой тыкает в меня пальцем, — или ты сунешь его под корч, или вместе с ним оставляешь нас.

Все с облегчением вздыхают. Сказано то, о чем думал каждый. Решение принято.

— Костя, Богом прошу, не бери такой грех на душу. — Это слова тихой старой женщины, моей заступницы.

— И ты можешь остаться с ними.

Старая умолкла.

Мать ссутулилась, не возражает. Она каменная, поэтому у нее нет слов. А все глядят на нее, будто любуются молодостью.

— Решай. Нет времени думать.

Мать без слов отошла в сторону. Все с надеждой глядят ей в спину.

«Бойся мухи-весновухи и девки-вековухи…» Не могу я затихнуть. Не хочу молчать. Чахлый ольшаник и стоячая болотная вода. Во время грозы ветер вывернул громадную ель. Она лежит и не первый год гниет в непроходимой трясине. Мать стоит около нее. Тинькают пули по верхушкам деревьев, бомкают в порыжевшей траве. Всем телом я чувствую, как бьется сердце в груди матери. А худой и усталый начальник уже повел дальше измученных окруженцев.

И тут одним отчаянным движением мать сунула комяк моего тела под выворотень. Крик оборвался, как песня жаворонка. Лопнули один, другой, третий пузырьки… И меня опять не стало.

* * *

— Где его нашли?

— В канализационном колодце, недалеко от поликлиники.

— Сколько примерно времени он пробыл там?

— Часов семь, девять… не больше полусуток.

Капитан милиции торопливо записывал показания в журнал.

Молоденькая медичка разглядывала свои крашеные ногти. Чистая белая комнатка, насквозь пропахшая лекарствами и тошнотворно сладкой человечиной, освещена настольной лампой.

— Будет жить?

— Не знаю! В операционной он.

— При нем было хоть какое-нибудь удостоверение, профсоюзная книжка, ну, документики?

— Ничего не найдено. Можете посмотреть его вещи и одежду у сестры-кастелянши.

* * *

— Делаем открытый массаж сердца, — хирург протянул тонкую руку к ассистенту.

Тьма. Пустота. Бесконечность. Одиночество.

Красный мяч с желтой полосой уменьшается и уменьшается. Наконец становится едва заметной точкой и исчезает совсем.

Матвеева баня

— Любка, а Люб? Слышишь ты меня? Не молчи, выйди, словцо только скажи, слово, и все.

Мишка ногтем поскреб по черному стеклу окна.

— Знаю, что слышишь меня. Выйди, не обижайся. Я тогда пьян был, прости. А пьяному, знаешь сама, в голову что хочешь взбредет. Не надо мне эта Первустинчиха. Люб, я тебе говорю: все, больше не пью.

В хате тишина, как и вокруг. Тихо и пусто. Ночь. Мишка торчит в огородике под Любиным окном, топчется, старается не ломать цветы, которых много растет здесь. Осмелился — постучал сильней. Звук, казалось, оторвался от окна и утонул в хате. Хлопец немного подождал, и снова косточки пальцев застучали по стеклу.

— А кого там хвороба носит? — отозвалась хата.

Мишка присел под окном, прижался к стене.

— Кто там скребется? Покоя от вас нет, полуночники!

«Тетка Катя», — отметил хлопец.

— Кто стучит? Опять женихи? Угомону на вас нет, спать идите. Любка в Вереницы пошла, к дядьке. И не гремите, отправляйтесь домой.

Хата затихла. Мишка пошел не по улице, а через лужок, к Матвеевой бане, кривой от возраста, изъеденной землей. Черной, гнилой, заброшенной бане, в которой ткут свои сети пауки, висят бороды пыли и десятилетней сажи на высохших моховых прокладках между бревнами. Ночь. Пустая летняя ночь со всем своим богатством и бедностью, сонной жизнью. Мишка толкнул ногой наполовину сгнившую колоду, сел на нее, прислонившись спиной к стене бани.

— Вот так оно, вот так, — бормотал сам себе. Неожиданно вспомнилось то, что рассказала ему Люба.

Шла Катерина Вторая, не шла, а плыла. Не женщина, а Лебедь. Солнце. И красивое, и теплое, и близкое, а попробуй дотянись, прикоснись. Не тут-то было. Пшик, ага.

И стоял там такой же солдат-дурак, как я, Мишка. «Ух, женщина, мне бы ее на…» — вырвалось, выпорхнуло. А ее уши — не видно их, но ловят все, поймали и эти слова. Прошла, проплыла, будто не расслышав. Однако зовут через минуту-другую к Катерине меня, Мишку, солдата-дурака с языком-помелом. И стоит он, я, перед ее светлыми очами, дохнуть боится. Ставит Ее Величество три бокала перед солдатом — золотой, серебряный и простой. Наливает в каждый собственными руками полным-полненько из одной бутылки.

— Пей, — приказывает мне, солдату. Выпил я, или он (не все ли равно теперь), из золотого. — Пей, — приказывает дальше.

Выпил из серебряной, затем — из простой чаши.

— Ну как? — спрашивает Екатерина Вторая. — Из какой водка вкуснее, говори, только правду.

Постоял, подумал и говорит:

— Везде одинаковая.

— То-то и оно, солдатик, — усмехнулась Катерина. — Так и женщины, все они одинаковые…

«Все они одинаковые…»

Мишка закурил, жадно затянулся.

«Любка, Любка, Любочка моя, если любишь, поцелуй три раза меня».

Так на, выкуси, поцеловала уже, и не три, а триста три дули под нос. Дон-жуан Мишка, хы, как неприятно, противно. Захотел что полегче, чтобы туда-

сюда — и в постель. Первустинчиха. Смешная нелепость. Негодная кобылка она, Первустинчиха.

Злость понемногу уходила, покалывая, утихала, томно отдавала теплом.

«Нашел себе кобылку, приручай, другой из-за спины корочку не протягивай. Первая лягнет, вторая пальцы откусит». Так говорил Матвей. Говорить говорил, но сам двух женок пережил. А вот баня перестояла его. Сгнила, истлела, стоит горбом. Говорили, что раньше, после того как помоются люди, черти начинают париться. От поглядеть бы на хвостатых.

Мишка сел свободней, вытянул ноги, головой поудобнее пристроился к выемке между бревнами. Опять вспомнилось, но уже не Любино, а бабулино. Было время, говорила она, — продавай душу, взамен любая дивчина к тебе прибежит, а не захочет — пригонят хвостатые. «Бе-е-е!» — морда из-под печи, свиной нос-пятачок, бешеные глаза, и красотка, что годами сушила, — перед тобой. Эх-ха-ха, было время, была бабуля, вечера на печи и Любка, такая же дурашливая, как и он сам, под бочком. Под одеяло головы прятали, а бабули рассказывали, рассказывали — вечера напролет.

«Ох и кони были у Петрока, не кони — птицы, как по воздуху летал возок. В плуг поставишь — и там борозду как струну ведут. Но раз утром видит Петрок — заплетены гривы и хвосты у его коников. Так хорошо и красиво, что другой девке-вековухе поучиться надо. И кони такие веселые, что, гляди, как на свадьбе, плясать пойдут. Расплел их Петрок, день работали. Назавтра опять то же самое. И неделю, и другую так же. Хотел он уже плюнуть, не трогать, заплетены так заплетены, но ведь лето, слепни, оводы, мухи — вся эта ненасытная заедь до костей коников сгрызает. Кто заплетает коникам хвосты и гривы, Петрок догадался — домовой. И прежде кое у кого такое случалось. Но вот же приспичило ему поглядеть, как это домовой делает, да и домовой ли.

Ночь та выдалась — хоть садись и вышивай: звезды, как плетеная скатерть, на небе, месяц, как гусиный желток, и такая легкая, бескрайняя ночь, что душа поет. Дороги, стежки — будто выбеленным полотном застланы, роса на траве крупная, и запахи — аж голова кружится, как у невесты перед первой свадебной ночью.

Спрятался Петрок с кнутом в конском стойле. Долго ли ждал, нет — кто знает. Только видит: приходит белый дедок, весь будто из черемуховых цветов и тумана. Кони к нему льнут, ластятся, а он их расчесывает, ласкает. Что тут стукнуло Петроку в голову, взял он да и стеганул кнутом домового. Заржали корни, не стало дедка. На другой день поехал Петрок в лес и напоролся глазом на ветку, вытек он. Видно, выбил он дедку глаз, тот и отблагодарил Петрока той же копейкой. Так-то оно, так…»

Матвеева баня старая. Раньше как? На деревню одна, хорошо, если две бани. Вытопят — и гуртом моются. У этой бани Мишка с Любой встречались второй год. Вокруг никого, все где-то у своих домов, на лавочках, а тут тихо, лесок шелестит, купки полыни, пижмы.

Всего этого стало хлопцу жаль. Жаль далеких вечеров, дедка, Любу, эту осевшую баню. Жаль котенка, брошенного когда-то в старой забытой хате. Мишка тогда проснулся и плакал. И теперь хотелось плакать, плакать в загрубевшие свои ладони. Жаль, жаль котеночка…

А скоро Иван Купала…

Иван Купала. Как его ждут, день за днем, ночь за ночью, в клетях да погребах, кладовках да хлевах. Ведьмы мажут жиром, сметаной длинные черные космы, вычесывают перхоть, посыпают пороги в хату, чтобы не переступила другая. Веселятся, отгуливают год. Боятся ведьмы одна другой: слабые — сильных, добрые — злых, беззубые — клыкастых. Но все равно

все вместе налетают, всей хеврой душат жертву. Торопливо обмазываются кровью, пьют-глотают ее, жгуче-горячую с дурманным паром. Неподалеку вертятся, учатся и молодые, ждут, может, и им капля перепадет. Налетают, душат, пьют кровушку вместе, а не видят одна другую, не хотят видеть. Насытившись, разбегаются, кто — кем, а чаще — черными котами. И гоняют же их, ох как гоняют люди. С топорами да дубинками во дворах, с пуками крапивы-жгучки у ворот и сеней. Тут уж сиди, киса, на печи, усы за порог не кажи. Там не поглядят, настоящий ты кот или ведьма.

На Купалье часто бывает: месяц вот только-только холодным бельмом блестел, и вдруг — шусь и под тучку. Темень. Скрип подворотни.

А то говорили… Микитиха сидела с косой, выщербленная железная пятка загнута, мыс наточен, отклепан, будто утром с этой косой на луг, на росные травы, в пахучую зелень. Во тьме два горячих уголька иголками в Микитиху въелись. Баба не растерялась, знала, что делать, не первый год у хлевчука сторожила телушку. Кота не видно, одни глаза. Мяу-у-у! — и прыг под ноги. Микитиха вслепую ахнула железом по земле.

— А-а-а!!! — страшный вопль пронзил ночь.

— У-га-ы-ы, — неслось над деревней. Микитиха без сознания сползла под стену.

Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку! Нет тучи. Светает. Поднялась Микитиха. Глядит — лежит отрезанная рука, не то женская, не то мужская, а может, и кошачья лапа. Ручейком кровь к воротам на улицу. Протерла глаза Микитиха — ничего нет. Позже прибежала Черная Соня со слезами, с причитаниями: «А Ануфриевна, а дороженькая, руку я отсекла, — и машет культей, — дрова рубила и по руке. Принеси чем залить». Микитиха из хаты в клеть, Черная Сонька — к хлеву, повертелась и ходу. Вот тебе и кот.

…Сколько во всем этом родного, может, и далекого по времени, но близкого сердцу. Люба и теперь с удовольствием слушает страшные истории, происходившие с кем-то. И подсознательно верит, верит. Слушает затаенно, не вздохнет, вцепится в руку и трепещет как осиновый лист.

Скрип. Приоткрылись двери Матвеевой бани. Луна осветила полупрозрачный пол, вдоль стены виднелись стояки полка.

«Ча-чач-чах, хах, угаа! Еще, еще давай. Давай ниже, ниже, о, так. Подкинь парку, не жалей, лей вдоль стены. О, пошло, пошло, сильней пройдись, еще разок там, а то ломит, нечистик ее возьми. Ух, веничек знатный, дубовый».

— Сплю я или не сплю? — Мишка прикрыл дверь, воткнул щепку в дверной запор. — Плетется что-то…

Вот она, жизнь, кому горе и слезы, а кому, что таить, надежда и радость. Давно ли только издалека смотрел на Любу? Немногим больше года. Смотрел на Любу и на Володю. Страшно его ненавидел, как самого заклятого врага. Не надо хитрить — не побаивался его, а боялся. Бросился бы на него, укусил, да зубы слабенькие, молочные, резцы не наточены. А Володька — ого-го хлопец. Где-то по морям-океанам ходил, и денег у него, как семечек в карманах. Куда такому, как я, против него? Любка к Володе, а я… Ходил ты кругами, грыз свои локти. Но нашли, догнали. Часов двенадцать уже было, стук в дверь настойчивый, громкий.

— Кто там? — спрашивает Володина мать.

— Друг Володи, — голос из-за двери.

Дверь открыта. Стоит хлопец.

— Володя дома?

— А где ж ему быть, вот только пришел. Проходите.

— Нет, не надо, позовите его сюда. На минуту.

Позвала. Минут через пять какой- то грохот в сенях. Словно кто повалился. Выскочила тетка Таня, Володина мать, а сын — сын на полу лежит.

Поседела тетка Таня, Володю похоронив.

А Люба…

Мишка как-то неловко чувствовал себя, словно громко крикнул об этом при людях.

Без Любы ему никак. Что мне эта Первустинчиха, дурочка ты, моя Любаша.

Вот и петухи запели. Зовут утро, подгоняют ночь, черные силуэты нечисти…

…Тяжело ложатся снопы. Трещат стебли жита под серпом, сыплются зернышки, сыплются. Капельки пота мочат полюшко. Ни разогнуться, ни оглянуться, живой стеной хлеб стоит. Жжет солнце, сушит спину. А вокруг, на других полосочках, дожинки справляют, селяне снопы в гумна возят, песня, как у жаворонка весной, звенит. Лишь у трех хозяев три длинных пояса жита не сжато, снопы не свезены. Лишь на трех полосках пот разбавлен слезами. Уже разъехались, разошлись соседи с поля, и солнце за пыльную дорогу садится, а три женщины жнут, перевяслами снопы вяжут. Разогнулась первая, разогнулась вторая, третья рядом с ними стала.

— О Боже, если ты есть, верни мужей наших, кормильцев, детей наших, дай нам жить вместе!

В один голос взмолились женщины, руки тянут вверх, к молодой луне.

А вокруг тишина. Глубокая тишина, сонливая — ни звука. Не выдержала, упала на колени первая из них.

— Проклинаю тебя, бездушный, проклинаю тебя, Всевышний, вернул других с войны, за что же забрал моего, за что? Я не больше других грешила. Бездушный, глухой и бездушный. Лучше уж дьяволу, черту нечистому душу продать.

И вторая, и третья повторили ее слова.

Загудел ветер в жите, поднял нагревшуюся за день пыль на дороге и погнал ее дальше, туда, за пригорок. Рассеялся, разлетелся пыльный вихрь, и видят женщины: идут три солдата плечом к плечу, нога к ноге. Пригляделись вдовы и глазам не поверили.

— Мой, Сергейка мой идет, — прошептала первая.

— А то мой Микола, — проговорила вторая.

— И Гордейка с ними, — добавила третья.

Счастье, какое счастье! Но уже темнеет с каждой минутой. И опять слезы, слезы радости. Собрались все — и бывшие вдовы, и их мужья — в хате первой женщины. Что только было, что берегли к празднику, все на стол поставили. Бутылку с горелкой среди мисок втиснули — как в лучшие давние времена. И выговаривают наболевшее вдовы, клонятся к мужьям, слезами туман в глазах промывают. Хорошая беседа ключом бьет. Детей спать уложили. Сами никак не наговорятся, на мужей не наглядятся. Налили еще по рюмочке, выпили. У первой женщины выскользнула ложка из руки и — под стол. Она за ней.

О люди, ужас объял ее. Глядит, а у всех трех солдат хвосты, как у волов. Ноги не в сапогах — копыта блестят. Похолодело внутри у женщины. Пересилила себя, выползла из-под стола, в рот ничего взять не может.

«Накликала слезами да проклятиями силу нечистую, подозвала смертушку свою».

Сидит они ни живая ни мертвая, думы страшные в голове. Поднялась.

— Куда ты? — придержал ее муж за руку.

— Свежей водички, Сергейка, принесу попить.

Сказала, а губы синие, как голубика на ягоднике. Выскользнула за дверь. Куда кинуться, где спрятаться? А уже, слышит, поднимается самозваный муж из-за стола. Бросилась женщина в куриный хлевок, вспозла по лестнице на чердак, под куросадню. Затаилась, не дышит.

— Женушка, а женушка, где ты? — голос холодный, как утренний мороз, и топот близко, у самого хлевка.

— Думала, спрячешься? Ты звала меня? Звала. Я пришел с того света, чего же прячешься? Пошли со мной туда, туда…

Скрипит лестница, ползет нечисть к женщине, слышит она, как пахнет сырой землей. Закудахтали куры. Еще минутка и...

— Ку-ка-ре-ку! — прорезал ночь голос петуха.

— Уга-а, — простонал, скатившись с лестницы, нечистик. — Твое-е-е счастье — живи, уга-а…

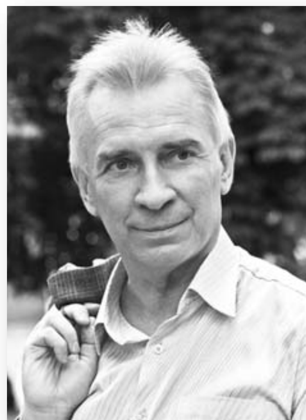
Роса выпала на краю поля у леса. Матвееву горбатую баню под призрачным светом далекой полной луны затягивает паутина близкого утра, тонет она в тумане, что низко стелется по низинам, оврагам, вдоль заборов и садов…

…Мишка поднялся, потянулся, протер сонные глаза. Баня отдалялась, заплывала белизной густого тумана.

— Спать, спать. Доброй ночи, милая моя девушка, любая моя Люба…

Перевод с белорусского Олега ЖДАНА.





ВЛАДИМИР МОЗГО

Родные вспомните леса...

Сосновый бор

Немало зим,
Немало лет
Сосновый бор
Был мой сосед.

Когда его я
Навещал,
Он земляникой
Угощал.

Он вдохновенье
Мне давал,
От непогоды
Укрывал…

Немало зим,
Немало лет
Сосновый бор
Мой помнит след.

И как укор,
С тех давних пор
Глядит в упор
Печально бор.

* * *

Родные вспомните леса —
Свой детский гай,
Ребячий бор —
Разбудят птичьи голоса
Согретый солнышком простор.

Тут сквозь окошко хаты лес
Колючей веткою сосны,

Как вор,
Тихонечко пролез,
Похитив утренние сны.

«Привет!» — нам крикнет птичий грай
Внезапно,
Словно грянет гром,
Чтоб мы грибной познали рай,
Блуждая по лесу с ведром.

Ведь ожидают нас всегда —
И этот гай,
И этот бор.
Ведь согревает в холода
Далекой памяти костер.

Новый Ной

Хватает ветер за грудки,
И зонтик
Рвется из руки.
Стучат, что капли,
Думы в лоб:
«Вдруг ливень
Выльется в потоп!»

Бредешь
С тревогою земной,
Как в древности
Библейский Ной.
Найти б
Потерянный ковчег…
А над землей —
То дождь,
То снег.

В небесах весны

Нам природа
Дарует права:
Чтоб к душе
Прикоснулась трава,

Чтоб душа
Прикоснулась к траве,
Захлебнулась
В зеленой листве,

Там, где радость
Летит мотыльком,

Там, где счастье
Пьянит ручейком,

Где растают,
Как облако, сны
В небесах бесконечных
Весны.

Рыбацкое

Лишь вчера
Без дела маялся на даче,
А потом
Друзья позвали порыбачить.

Это шанс!
Поеду,
Может, что поймаю!
Не поймаю —
Наслажденье испытаю.

Вот и речка
Нас приветливо встречает.
Я сажусь,
Друзья мне удочку
Вручают.

И как только я забросил
Ловко снасти —
Задрожала вдруг
Душа моя от страсти.

На рыбалку,
Я приехал на рыбалку
И внезапно —
На крючок поймал
Русалку.

От волненья
Даже удочка сломалась.
Это ж надо —
Первый раз, а что поймалось!

А русалка
Заливается-смеется,
А русалка
Долго в руки не дается.

Мне б ее
Хотя б разок поцеловать —
Чтоб потом
Рыбалку эту вспоминать.

На рыбалку,
Я приехал на рыбалку
И внезапно —
На крючок поймал
Русалку.

Красный конь

На небе,
Красный, как огонь,
Пасется конь,
Волшебный конь.

А грива
Зо-ло-та-я,
Как пламя,
Ввысь взлетает.

И огненный
Лучится взор,
Что озаряет
Горизонт.

Там встали
Облачков стога,
А рядом —
Радуга-дуга.

Пасется
Жаркий, как огонь,
Там красный конь,
Волшебный конь.

Люди и звезды

Приходят люди
И уходят.
И угасают
В темноте.
А в небе звезды хороводят
В недостижимой высоте.

Когда земные гаснут звезды,
Времен
Живая рвется нить,
То понимаешь слишком поздно,
Что ничего
Не изменить.

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.



ФЕДОР КОНЕВ

Живые тени

Рассказы о кино

В далеком шестьдесят седьмом году прошлого столетия впервые перешагнул я порог киностудии «Беларусьфильм», еще не зная, что судьба распорядится связать с ней большую часть жизни. Может статься, что кино отвлекло от какого-то более серьезного дела, что принесло бы в старости сознание собственной полезности на этой земле, но теперь уже ничего не поправить, и все потуги души и ума ушли на служение теням. Ведь что такое кино? Не сама жизнь, не актеры, а их тени на экране. Только тени…

И ради них мы жили, страдали, спорили, любили и ненавидели друг друга. Души рвали ради вымысла, а фильмы наши постарели раньше нас. Кино — река быстрая, стремительно меняется, вчера еще радовало тиховодьем, а теперь пороги подавай, водопады, да чтобы волосы дыбом вставали от страха. Иногда еще всплывают на экранах телевизора наши фильмы, добротно сколоченные, любовно скроенные, отмеченные мастерством и наполненные душой, как паруса ветром. Но видно, видно, что они из другой поры, из иного мира, и не скрыть патину времени, как не спрятать под румянами морщины милой бабушки.

В этих рассказах мало вымысла, за каждым персонажем стоит конкретный человек. Все они служили теням, которые с экрана заставляли зрителя и смеяться, и плакать, и любить, и сострадать, потому что по воле своих создателей становились живыми. Многие из них ушли…

Спросить бы ушедших — ради этого стоило жить?

А ведь ответили бы — стоило.

Разбитое зеркало

Совершенно случайно Никита Егорович вышел из своего кабинета как раз в тот момент, когда женщина проходила мимо. И она не знала его, и он ее впервые видел, но будто для того и жили до этого часа, чтобы женщина сказала, а Мехов услышал.

— Кто-то зеркало разбил, — бросила она, не взглянув на Никиту Егоровича. — Ну, не сволочь!

И пошла дальше, уточкой поводя тяжелыми бедрами.

Постояв в одиночестве, Никита Егорович двинулся по коридору пока еще без определенной цели. В последнее время так случалось все чаще — сидит, работает, но вдруг становится скучно, и он торопливо выходит в коридор, словно бежит от чего-то, долго бродит по студии и возвращается усталым.

Знакомые до чертиков комнаты, в которых когда-то кипела суматошная крикливая жизнь, занимали арендаторы. Красивые девицы курили дорогие сигареты, деловые и в основном молодые люди сидели за компьютерами и о чем-то рассуждали. Мехов не знал, чем они занимались, и без интереса проходил мимо. А новые квартиранты, арендаторы, сторонились хозяев, студийцев, не любили толпиться в коридорах, как это прежде делала шумная киношная братия, но почему-то держали двери открытыми. То ли от табачного дыма задыхались, то ли хотели показать, как они красиво обустроились.

От окна до окна тянется коридор — сквозное полое пространство, изредка мелькнет фигура человеческая, да тут же нырнет в дверь, и снова — пусто. А на стенах, на всю их длину, висят увеличенные фотографии под стеклами — кадры из фильмов, памятки прошлого. Выбраны самые экспрессивные моменты, и такое ощущение, что былая жизнь замерла в одночасье, как по некоему волшебству, на крике и порыве.

В одной памяти осталась бурная коридорная жизнь, может быть, только для киностудии характерная. В коридорных карманчиках устраивались перекуры, встречались друзья и соперники, обсуждали вопросы, принимали решения, рассказывали самые свежие анекдоты. Если кто-то понадобился, стоило выйти в коридор — тут же и встретишь.

Шагая по длинному коридору, Никита Егорович вспоминал тот мир, который ушел. Возможно, киностудия еще возродится, да так оно и станется. Когда-то ж появятся у государства деньги! А то продюсеры народятся и возьмутся за дело, закрутят картины, только держись. Но это будет другой мир, в котором не найдется места ни ему, ни его друзьям…

В конце шестидесятых годов Никита попал в шумную семью таких же молодых людей, как сам, — кому-то чуть за тридцать, а большинству меньше, — и сразу был принят равным. Теперь трудно поверить в это, но тогда умели бесхитростно радоваться успеху друг друга. Бросали все дела и бежали в кинозал, чтобы смотреть рабочий материал, собирались в павильоне и судили о новой декорации, до утра сиживали за хмельным столом и говорили, говорили, говорили, не пьянея, за глаза хвалили чужие замыслы, но главное — свято верили, что кому-то нужны. И еще что главней — ощущали себя вечными. Смерти нет, ребята!

А сегодня Никита Егорович шел по коридору и боялся оглянуться. Внезапно возникла в душе зябкая оторопь. Подумалось, что посмотрит назад, а они стоят кучкой, тесно прижавшись друг к другу, и молча глядят на него стылыми глазами. Скольких проводил в последний путь!

Двадцать пять лет назад Никита Егорович с друзьями куда-то спешил по этому коридору. Их было много, человек десять, возбужденных, шумных, говоривших разом и как-то понимавших друг друга.

Взъерошенные, стремительные, белозубые, прекрасные лица, веселые глаза... Куда спешили? Что влекло их едино? Поднялись по лестнице на третий этаж, снова шагали по такому же длинному коридору, свернули направо, еще несколько шагов, двойные тяжелые двери и огромный пустой зал... Тут обычно звуковики сводят на одну пленку шумы, речь и музыку. На этот раз зал пуст. У стены, издалека маленький, Женька Ипатов развешивает эскизы к новому фильму перед заседанием художественного совета.

— Не могли чуть позже, — ворчит Женька, еще не успевший расставить свои работы.

Но друзьям не терпелось, они спешили увидеть, что вышло у художника. Они сами помогли установить эскизы, как того хотел Ипатов, отошли от них, и установилась тишина. Талантливо! Смотрели и думали. Здорово!

Да как забыть ту тишину!

Конечно, Никита Егорович знал и кухню. Какие свары случались, какая постоянно шла борьба между группировками, как жестоко оттесняли одни других, чтобы преуспеть! Любимый сердцем мир был бессердечно жесток. Но все равно кажутся ярким карнавалом прожитые в кино долгие годы. И закипают слезы, как подумаешь о друзьях, с кем прошла жизнь.

Справа по ходу тянулась глухая стена. Никита Егорович почему-то вспомнил, что с приходом каждого нового директора студии эту стену и весь коридор перекрашивали. Ему даже захотелось перочинным ножом колупнуть штукатурку, чтобы увидеть слои красок, как годовые круги на срезе дерева. Скольких же директоров он пережил!

Потом стена кончилась, пошли служебные комнаты цеха точной техники. Свернув направо, Никита Егорович прошел еще один коридор до окна и спустился на первый этаж. Чтобы вернуться к себе в кабинет, он должен был пройти через коллектор, просторное помещение с высоченным потолком, подпертым четырьмя квадратными колоннами, которое примыкало ко всем трем павильонам и было как бы своего рода прихожей. Тут обычно рабочие скапливали разобранные декорации, перед тем как увезти на склад или затащить в павильон. В коллектор запросто заезжал грузовик.

Теперь это помещение чаще пустовало, и шаги отдавались эхом, как в пустой жестяной коробке огромного размера. На этот раз Никита Егорович увидел посреди зала собранный в кучу скарб — стол на витых ножках, старинное канапе, пузатый комод, стулья с высокими спинками и большое, в богатой раме зеркало. Видимо, разобрали барские покои в малом павильоне, который использовала московская съемочная группа. Студия делала такие услуги за умеренную плату.

Это зеркало было знакомо Никите Егоровичу еще с тех пор, как снимался в этих павильонах первый по его сценарию фильм «Удачливый человек». Уже тогда зеркало в богатой оправе выглядело антикварным, с черными пятнами по краям и потускневшей амальгамой. Оно по сценарному замыслу стояло в комнате старой, дворянского происхождения женщины, которая приходилась бабушкой, конечно же, отрицательному герою фильма.

С тех пор Никита Егорович это зеркало не видел и, естественно, забыл, а теперь узнал его, хотя оно разбилось. Посредине зияла щербатая дыра, оголив склеенную из частей дощатую плоскость с хорошо сохранившейся фактурой дерева, со всех боков из рам остро выступали, как лучи, треугольники стекла, и в них отражались фрагментами стены коллектора.

На полу валялись мелкие куски зеркала, и в каждом притаилось отражение, но трудно было разобрать, что за часть потолка или колонны отражась в осколке.

В гулкое пространство коллектора ворвались голоса. Та самая женщина, что сказала о разбитом зеркале, вела начальника постановочного цеха. Сама она извергала энергию. Ее тело с пышным бюстом и богатыми бедрами было убористым в талии и напоминало гитару. Рядом с ней мужчина, существо неопределенных лет, костлявый, анемичный, сонный, выглядел не плотью, а духом.

Начальник цеха подал Никите Егоровичу вялую тряпичную руку и даже не шевельнул пальцами.

— Видите? — громко спрашивала женщина. — Кто-то разбил, а я отвечай. Озверел народ, спасу нет!

Начальник безразлично смотрел на разбитое зеркало, потом серое лицо его задергалось, он закатил глаза и чихнул.

— Будь здоров! — сказал Никита Егорович.

— Кому оно мешало? — возмущалась женщина. — Нет, надо разбить. Скоты!

— Оно само, — тихо проговорил Никита Егорович.

Женщина уставилась на него круглыми, чуть навыкате глазами.

— С чего это зеркала сами по себе начали биться? — спросила она с вызовом. — Что-то новенькое!

— Само, — кивнул начальник цеха. — Ты прав. Ему сто лет, может.

— Так что? — преобразилась женщина, и в голосе ее прозвучала надежда. — Группа не будет платить за зеркало?

Видимо, она была реквизитором на картине москвичей.

— А то черт его знает что! Антиквариат! Сдерете с нас, а мы-то при чем? Ваши разбили. Кто еще?

— Оно само, — повторил анемичный начальник и посмотрел на Никиту Егоровича. — Жив еще?

— Телепаюсь понемногу, — ответил с кривой улыбкой Никита Егорович.

— До пенсии далеко? — спросил начальник и не стал ждать ответа. — Мне еще пять лет. Не доживу.

Он подал бескостную руку и двинулся к маленькой двери, которая вела на улицу. Никита Егорович смотрел ему вслед и вспоминал, каким был неугомонным бабником этот доходяга, прямо невозможным. При виде любой женщины глаза вспыхивали азартом, как у гончей собаки. Потом взахлеб рассказывал, как уговорил очередную подругу, на какую хитрость пошел. В те-то времена не упустил бы гитарную талию московской гостьи. А теперь уходил, шаркая ногами, будто плоть извелась, одна тень от человека осталась. Фамилия у него была — Нечаенко.

Женщина поспешила за ним. А Никита Егорович задержался возле разбитого зеркала. И опять ему вспомнилось прошлое, населенное друзьями. И почему-то захотелось вдруг сложить осколки стекла воедино. Но возможно ли это? Есть ли такой надежный клей? И потом… Стыки все равно будут заметны, и все в этом зеркале будет отражаться разорванным.

А хорошо бы сидеть тут, в этом огромном гулком пространстве коллектора, и по кусочку складывать зеркало.

Помятое крыло

Нашло оно, как туча, то памятное настроение. Так без всяких предварительных признаков посреди яркого солнечного дня скуксится природа, откуда ни возьмись явится хмарь, расползется по небу, как чернильное пятно на промокашке, и покажется, что все вокруг затянуто грязной марлевой завесой, так что и малого просвета нет. И тут посыплет мелкий дождь, с первых минут заявив своим монотонным шелестом, что будет затяжным и докучливым. За короткий срок так все переменится вокруг, что уже и сомнение появится, было ли солнце и есть ли оно в природе.

Когда бы квелый был, болезненный какой, а то ведь к тем относился, о которых говорят, что колуном не свалишь. В самом соку мужик. Мог уверенно сказать, что понятия не имеет, из чего состоит нутро. Ни сердце, ни селезенка, ни печень — что еще там! — ни разу не напомнили о себе за все прожитые годы, даже в младенчестве ангиной не болел или коклюшем, потому что без меры щедро оделила здоровьем природа. И такому-то удачно сбитому из упругих мышц и прочных костей человеку показалось, что с ним случилась

сокрушительная беда, после которой уже не выправиться, как срубленному дереву.

И главное, не было никакой причины для того, чтобы на безоблачное сознание Ивана Яглова навалился угнетающий мрак. Да и случилось это внезапно, при выходе из дома, в тот самый миг, как переступал порог, уже одной ногой оказавшись на крыльце.

А до этого пообедал с женой, сын еще не вернулся из школы, послушал последние новости по радио и произнес единственную и, казалось бы, расхожую фразу:

— Одни наводнения да пожары…

Жена сочувственно покивала, даже вздохнула, имела она похвальную привычку во всем соглашаться с мужем, и он, умиротворенный, собрался на улицу, потому что прохлаждаться больше не мог, ждала работа.

Была весна, с неделю как снег сошел, и дни стояли ясные, деревья в добродушном состоянии набухали почками, а из земли бойко выпирала зеленая трава, до того яркая, что вызывала беспричинную улыбку.

И вот, когда переступал порог, будто кто снизу кулаком поддел сердце, отчего перехватило дыхание. Яглов точно помнил, что мысленно повторил минутой назад сказанные слова «одни наводнения да пожары», занеся уже ногу над порогом, продолжил, как бы вывел заключение — «нет гармонии», а уже после этого добавил сокрушившее покой слово «вообще». И ведь что получилось? Вот она мысль — «Нет гармонии вообще». И слова-то не его собственно, а как бы газетные, сухие, как перхоть. Но задели!

И только что ублажавший светом погожий день показался слишком ярким, отчужденно игривым, даже вызывающим. Мне до тебя, мол, никакого дела нет. Ты сам по себе, я сам. Не для тебя моя веселость, мол. «Нет гармонии, — сокрушенно подумал Иван Яглов, — а никого это не колышет».

Двор занимал четыре сотки и был обнесен металлическим забором. По случаю раздобыл оцинкованные листы, покрасил в серый цвет, поверху между бетонными столбами пустил нитку колючей проволоки, которую доставил знакомый старшина из воинской части, и крепость готова. За листы заплатил какие-то пустяки, а со старшиной попили водочки, и весь расчет. Так жить можно. И забор, и колючку оборудовал не из прихоти, во дворе на этот раз стояли три чужие машины, изрядно помятые в разных местах, а случалось, что скапливалось больше. Кирпичный сарай и примыкавший к нему гараж служили мастерской по ремонту, по рихтовке кузовов.

«Нас учили, что в природе все устроено гармонично, — продолжал раздумывать Иван Яглов. — Но возьмем, к примеру, фауну».

Тут приоткрылась незапертая калитка и высунулась из-за нее совершенно лысая голова Пахомыча, старого приятеля.

— До тебя, Ваня! — радостно сообщил гость, исчез на минуту, а потом занес впереди себя, как военный оркестрант огромный барабан, переднее крыло древнего «Москвича».

«Возьмем, к примеру, человека, — глядя на Пахомыча, развивал далее свою мысль Иван Яглов. — Миллионы лет природа доводила его, как мастер, до ума. И что же? Создала ли она совершенство? Это же кошмар — человек! Мало того, что он за свой век поедает целое стадо животных, выпивая при этом озеро вина и водки, так он еще и не уживается с подобными себе особями. Если гадость не сделал, чувствует себя ущербным. Обидеть, ограбить, убить — вот это по нему».

Опустив крыло машины на землю, перед ним стоял Пахомыч, лет семидесяти старик из тех неунывающих мужичков, которым достался на долю

тяжелый и кровавый двадцатый век, и только дивиться можно, откуда они появились на свет, такие жилистые. Похожего поколения уже не будет, эти были наивны, как всякие здоровяки. А без наивности человек слабеет. Такова его природа. И Яглов думал не о конкретном человеке, потому что Пахомыча уважал, а вообще…

Опустив на землю помятое крыло, Пахомыч просительно глядел на Ивана.

— Внучке дал прокатиться, — говорил он, поводя тяжелыми руками. — Она тут же и уперлась в столб. Машина-то у меня с пятьдесят пятого года. Где я такое крыло достану? По городу бегает всего три таких «Москвича», не больше. Думаю, Ваня поможет. Другим не под силу. Ишь, по краю ржа к тому же пошла. Что тут можно придумать? Такого крыла не достану. Что, Иван, скажешь?

«Да-а, убить, ограбить, — думал Иван Яглов, глядя на крыло, которое и на металлолом не годилось, одно для него место — свалка. — Ведь всего больше человек преуспел в создании оружия. Разве можно с чем сравнить военную технику! В каждом человеке сидит убийца. Возьмем отдельно меня, к примеру. Сколько я за сорок лет истоптал муравьев, убил комаров и мух! Каких симпатичных овечек слопал, коров с библейскими глазами, немых безвредных карпов, окуней, плотвы, икрой не брезговал, целые семейства осетровых намазывал на хлеб с маслом. Сколько я всего съел, живоглот! Кто я такой, чтобы ради меня природа приносила такие жертвы?»

Видя, как Яглов внимательно смотрит на крыло, Пахомыч решил, что приятель раздумывает, как отнестись к предложенной работе.

— Жалко машину, — осторожно добавил Пахомыч. — Я к ней привык. Мне предлагали старую «Волгу» по сходной сцене. Отказался, Ваня. Уже и домашние уговаривали, а я подумал о своей Ласточке и отказался. Привычка пуще неволи, говорят. Зря болтать не станут.

«Мне толкуют — борьба основа жизни, — думал между тем Яглов. — А почему природа, если хотела гармонии, не создала тварей с таким умыслом, чтобы они жили не в ущерб друг другу, а даже во благо? Если в самой природе заложена борьба за выживание, то спросите не пожирающих, а жертв — есть ли в этом мире гармония?»

— Коли не ржа, — вздохнул Пахомыч, влюбленно поглядывая на опрокинутое крыло, похожее на декоративную лодку с фигурно выгнутыми кормой и носом, — то выправить и все. Металл-то хороший. Это теперь что бумага, а тогда делали из толстого листа. Однако, вишь, поржавел. И то сказать — возраст.

«Но вернемся ко мне, — рассуждал Яглов. — Я рихтую мятое железо. Если хватает работы, то значит — она полезная. Но ведь я режиссер кино, прирожденный притом. Меня сама природа создала талантливым. Отец, дед, прадед были учителями. Я потомственный интеллигент, духовный наставник, а стал жестянщиком. Я отлично мог бы работать в искусстве. Однако началась перестройка, потом рухнула страна. Не стало денег для кино, киностудия захирела. Я не мог жить без зарплаты. Родился сын. Надо было содержать дом, доставшийся от деда. Я бросил любимую работу, призвание… Что это было для меня, не объяснить. Я занялся кузовными работами, собираюсь наладить горячую покраску машин. Зарабатываю недурно. Ко мне идут. Но почему те же деньги не платят за мое призвание? Сколько людей не увидело тех картин, что жили во мне! Может быть, искусство сильно выиграло бы благодаря мне. Достигло бы новых вершин. Теперь я и сам забыл те замыслы, что потрясали мою душу. За десять лет потерял профессию. А просвета не видно. И уже никогда не буду я снимать кино. Где тут гармония?»

— И ведь что интересно, Ваня, — высказывал свои переживания Пахомыч, уверенный, что приятель за дело возьмется, раз задумался, а не отказал сразу. — Полвека езжу, ни разу не стукнулся. А внучка… Обучал я ее. Пока сижу рядом, нормально едет. А тут решил — пусть сама попробует. Без подсказки, ишь, не может. Врезалась! Увидел это, и так я, Ваня, расстроился, будто меня помяли самого. А может, и лучше было бы, если бы самого.

«Зачем я живу? — спрашивал неведомо кого Яглов. — Я не о смысле толкую, о чем вообще пустой был бы разговор. Иначе стоит вопрос — зачем я живу, если все равно умру? Я ведь знаю, что умру, а живу с таким видом, словно и не догадываюсь об этом. Вот в эту минуту я подумал, что и мой сын когда-то умрет. И уж с этим я никак примириться не могу. Не хочу! И если мне кто скажет, что в смерти моего сына Вити тоже скрыта гармония, то я этого человека так отрихтую, что будет круглым и гладким, как пасхальное яйцо. Не смейте мне говорить, что в мире есть гармония. Ее нет. А если ее нет, то жизнь человеческая не имеет никакого смысла. Все хаос, стихия и случайность!»

— Что скажешь, Ваня? — Пахомыч с надеждой смотрел на своего приятеля, которому когда-то сам помог заняться кузовными работами. — Уж ты скажи, коль нет времени, я подожду. Но, кроме тебя, никто не сделает. Когда бы не ржа. А так скажут — неси на свалку.

Именно то же самое готов был посоветовать Яглов, но передумал. Пахомыч был безобидным человеком, Ивану это было известно, и что главное — сохранил наивность. Увидит, кому помочь надо, тут же свои дела бросит. Разве ж это современно?

Яглов молча поднялся, сошел с крыльца и взял крыло. Пахомыч пошел за ним к сараю. Яглов нес крыло с таким видом, словно и вправду решил швырнуть возле забора, где скопился металлический хлам. Но возле дверей сарая остановился, опустил на землю крыло и скрылся в дверях. Через минуту он вышел с молотком, приподнял крыло за один край и ударил молотком с такой небрежностью, словно решил еще нанести вмятину.

— Ни фига себе! — восхищенно произнес Пахомыч и не нашел других слов, а только с детской благодарностью уставился на Яглова.

От прежнего изъяна следа не осталось, крыло опять обрело нужную округлость. Яглов сам остался доволен и только теперь понял, что подсознательно искал точку удара и определил, еще сидя на крыльце.

— Сними ржавчину, — попросил он Пахомыча и дал наждачную бумагу.

— Дырки продавлю, — выразил тот опасение.

— А черт с ними!

Сам он подошел к верстаку, укрепил в тисках специальные ножницы по металлу с длинным рычагом и стал вырезать из нержавейки полосу шириной в три сантиметра. Работа отвлекла Ивана Яглова от прежних мыслей, а оттого и настроение прояснилось, будто сошла туча.

Вернулся из школы сын, подбежал к отцу и уставился живыми любопытными глазами на то, что делал отец. А тот изнутри подгонял стальную полоску по краю крыла.

— Это навечно, — сказал сын со знанием дела.

Пахомыч посмеялся, находясь в радужном настроении, и разворошил волосы мальчугана.

— Мастером будет, — сказал он. — Это хорошо, когда человек в своем деле — мастер. Больше ничего и не надо. Все остальное приложится.

— Иди, мама ждет, — сказал Яглов сыну. — Порадуешь чем?

— Две «пятерки» принес, — сказал сын и догадался, что дальше намерен сделать отец. — На заклепки возьмешь?

— Вот голова! — восхитился Пахомыч.

— Иди, иди, — посмеялся отец. — Все-то ты знаешь.

Когда мальчик с большой неохотой ушел, Пахомыч озаботился:

— Заметны будут, заклепки-то.

— Не боись, — шутливо вроде бы отговорился Яглов и продолжал подгонять полосу.

Когда к вечеру он закончил работу, Пахомыч нарадоваться не мог. Никаких следов заклепок не осталось. Яглов напильником довел на потай, а когда положил грунтовку, то Пахомыч вовсе умилился. Любил он людей, которые умели работать. Великое дело — умелец. К этому и слова не прибавишь.

Ничего с Пахомыча Яглов не взял. Как можно! Тот ушел донельзя довольный, даже что-то маршевое мурлыкал. А Иван сел на крыльцо, на прежнее место, на верхнюю ступень, и было у него на душе безоблачно оттого, что талантливо сработал. Талант, он и есть талант. Попытался вспомнить, о чем он думал недавно, вроде складно получалось, а теперь не мог вернуть прежнее течение мыслей. Но не это его огорчило.

«Вот я сижу, здоровый мужик, — подумал Иван Яглов. — Если не расходовать попусту, на сто лет меня хватит. Это же какая долгая жизнь! Но что же такое во мне таится, какая такая невидимая малость, которая может сработать, и жизнь теряет смысл? Что это? Откуда? Выходит, я вовсе не знаю, что во мне. Сколько всего мы боимся в жизни, а самая большая опасность притаилась в нас самих. Так, что ли? Кто мне скажет?»

И он поднял глаза к небу, словно там, в бездонной сини, таился нужный ему ответ.

Затаенный сюжет

Сон привиделся какой-то, право, дивный. Сказать, что Левочкину особенно досаждали сновидения, никак нельзя, потому что это было бы неправдой. Как только голова касалась подушки, проваливался в темень, что в омут, и уже утром выскакивал, как поплавок из воды, свежий, бодрый, беззаботный. Может быть, что-то и грезилось, как всякому живому существу, но с пробуждением ничего не помнил, потому оставался в убеждении, что вообще не видит снов.

Легкий он человек, Левочкин. Ничего близко к сердцу не берет, дурного не делает и ни с кем не скандалит. Сны мучают тех, надо понимать, у кого на душе неспокойно. Конечно, если задолжал кучу денег, отдать не можешь, а кредитор пристает чуть ли не с ножом к горлу, то будут сниться кошмары. А Левочкин если и пригубит вина, то на свои кровные, в долг не берет, но и не даст без разбора, так что должников не имеет. Что его может мучить при такой предусмотрительности? Ничего.

Возраста он еще самого рабочего, пятидесяти не достиг, на здоровье не жалуется, некрупного телосложения шустрый мужичок, этакий живчик в благодушном состоянии. Не без энтузиазма трудился на киностудии администратором, но уволился по собственному желанию, как только забрезжили рыночные отношения, занимался частным извозом, помотался через границу «челноком», перегонял старые иномарки, но ни в чем особенно не преуспел, купил в деревне подворье с двадцатью пятью сотками земли да и занялся натуральным хозяйством. Теперь у него съестной продукт свой от картошки до крольчатины, в магазине покупает только одежку да сахар, на спиртное и не смотрит, домашнего вина и самогонки в подвале достаточно.

Не охотник он до этого зелья, недосуг ему тратить время на питье, с утра до вечера крутится. Вот и норку завел, хлопот прибавилось, зато можно шить шапки и продавать с выгодой. Супруга такого же трудолюбия женщина, тоже не крупная телом, убористая, усталости не знает, а дети — сын и дочь — не в родителей пошли, на дачу приезжают позагорать, лопату не любят, ложку предпочитают. Но Левочкин не злится на них, пока своих сил хватает да от жены большая помощь. Ему с женой работа в удовольствие, не в наказание. А что еще делать, если не работать?

И вот такому занятому и довольному жизнью мужику сон приснился, да не какая-нибудь там бредятина, а самый что ни есть сюжет, запиши на бумагу — и готов сценарий для фильма. Но ловкий на всякое дело Левочкин совершенно не годился в писатели, не складывались слова, как кривые чурки, — он их в поленницу, а они рассыпаются. Говорил складно, за словом в карман не лез, а письмо детям написать — мука. Все-таки есть в природе талант, кому-то он достается, а кого-то обходит.

Сон не давал покоя. Просто какое-то наказание! Левочкин в жизни кое-что читал, не без этого, по молодости даже любил посидеть за книгой, потом не стало хватать времени, но телевизор смотрел регулярно. Он, к примеру, знал, что свою знаменитую периодическую таблицу Менделеев увидел во сне. А недавно по телеку выступал известный поэт и тоже признавался, что ему иной раз стихи приходят во сне, к тому же — самые хорошие. Не тот ли случай?

Ведь какая тут логика. Какому-то человеку, в данном случае Левочкину, ничего и никогда не снилось. И вдруг этому человеку пригрезился под утро целый фильм. А прежде этот человек, то есть Левочкин, работал в кино, пусть администратором, но имел непосредственное дело с производством искусства. Значит, что-то в нем осталось, не прошла практика бесследно. И вот минуло какое-то время, и Левочкин разродился сюжетом. Чего не выкинет природа! Ведь сон-то был на самом деле, и главное — Левочкин помнит его во всех подробностях. Как это объяснить?

А приснилось ему ночное небо. Синий купол был так густо усеян звездами, что казалось, нет пустого места. Млечный Путь блестел россыпью звезд, да не в один слой, был он праздничным, как дорога в рай. Благостно было на небе, празднично и торжественно. А тишина стояла такая, словно еще не родился человек на земле, ни птиц, ни зверей еще не было, и даже комаров. Поэтому странным показался растроганному величием природы Левочкину чмокающий звук, словно кто-то коротко втягивал в себя воздух, как при воздушном поцелуе.

Затем Левочкин заметил в двух местах на небе подобие лишайных пятен. Вроде только что на том месте были звезды, а теперь они исчезли, и причиной скорее стали эти странные чмоки. Тут Левочкин увидел соседа, который сидел на коньке своей дачи и метровой длины алюминиевую трубку держал в руках. Один конец ее он подносил ко рту, издавал чмокающий звук, и в трубку залетала звезда.

Настороженный и очень удивленный Левочкин не стал выдавать себя, а проследил, как сосед наполнил холщовую сумку звездами, которые просвечивали через материю, как тлеющие угли, и спустился вниз. Он прошел в цокольный этаж своего дома, а Левочкин подкрался и затаился возле открытой двери. Тут он увидел, что сосед на небольшой наковальне молотком плющит звезды и бросает на землю круглые золотые монеты. Их уже набралось довольно много, целая куча величиной в средний муравейник. Левочкин подумал, что этак все звезды можно расплющить в монеты. И что тогда будет?

Жене он рассказал свой сон до завтрака, а до этого все обдумывал, что он мог предвещать. Не найдя никакого объяснения, Левочкин сел за стол и, пока

жена ставила завтрак, поведал ей свое сновидение. Она очень внимательно прослушала и воскликнула:

— Прямо кино!

Этими словами она невольно задела воображение Левочкина, и он употребил завтрак без всякого аппетита, машинально, а в голове прямо-таки порхали мысли, как бабочки, одна другой цветастей. Чтобы не выдать свое волнение, Левочкин поспешил на улицу и принялся поливать кусты смородины, продолжая взволнованно думать. Он пришел к выводу, что ему приснился гениальный сюжет для художественного полнометражного фильма.

Страшная картина предстанет перед глазами зрителя, когда главный герой повествования под условным пока именем Икс наловчится из звезд ковать золотые монеты. Остановиться в своей жадности он не сможет, и возникнет опасность, что выудит все звезды с неба и оно останется пустым. Но благородный герой ринется в борьбу с этим Иксом, и многих трудов ему будет стоить спасти звездное небо.

До вечера Левочкин обдумывал сюжет, все более убеждаясь, что ничего подобного в кино не было. Даже американцы не додумались создать блокбастер на подобную тему, а уж они-то на фантазии горазды. Где уж нашим! За ужином Левочкин не выдержал и поделился мыслями со своей благоверной. Та тоже пришла в полное умиление.

— Я же сказала — кино! — повторила она, всплеснув руками.

Но когда Левочкин выложил все свои соображения, на него вдруг накатила непонятная грусть. Поначалу он не мог понять ее подоплеку, но потом пришла ясность — отчего она.

— Да разве наши режиссеры такую тему осилят? — сказал он таким тоном, что ответ был очевиден.

— Да ну, что ты! — тут же всплеснула полными ручками жена. — Ни за что! Уж ты-то их знаешь!

— А главное, что обидно, — еще более углубил свои опасения Левочкин, — они же только себя любят. Предположим, поставит картину Авдюнин. Что-то получится, все-таки заслуженный деятель. Так ведь он, подлец, все себе припишет. Они же все такие, режиссеры. Будет перед публикой выступать и говорить, что эту идею сам выносил. Уж ты поверь мне, нет у этих прохиндеев совести.

— Да какая там совесть! — вскидывала пухлые ручки к круглому личику с маленьким вздернутым носиком супруга.

— И что получится? — уже возмущенно говорил Левочкин. — Выходит, я подарю всемирную славу этому Авдюнину? За что это? А? Уж лучше я этот сюжет при себе оставлю. Пошли они все, трепачи, подальше!

— Да с чего это ты будешь им дарить? — поддержала жена. — Не стоят они того, родной. Я вон тоже секатор дала соседке, а теперь он совсем плохо работает. Проволоку, что ли, она перекусывала. Нет, нет, не давай никому. И даже не думай!

Уже много дней прошло с того разговора, но Левочкин нисколько не раскаивается в своем решении. Он и так был доволен жизнью, а теперь еще прибавилось удовольствия. Теперь перед сном в ясную погоду он любит смотреть на звезды. Они всем скопом подмигивают ему, словно были заодно с ним. Левочкину становилось весело от мысли, что есть у него удивительный сюжет, но его никто не узнает. Какое могло быть кино! Но Левочкин и прежде недолюбливал режиссеров, потому что не сомневался — каждый из них стал бы из звезд ковать монеты, если бы это было ему возможно. И чего ждать от них? Только ж о себе думают! А от искусства должна проистекать большая и общая польза — души повинны облагораживаться.

Но где уж им подняться до такой высоты понимания! Вот потому никто так и не увидит великий фильм, который прокручивает Левочкин перед мысленным взором в досужие вечера в одиночестве, попивая маленькими глотками домашнее вино.

Белка

Иногда природа, бывая, знать, в добром настроении, устраивает такие погожие дни, что начинаешь верить, будто рай не придуман проповедниками, а на самом деле существует и находится не где-то на седьмом небе, а конкретно на земле. Ну, почему бы нет? Что же вокруг, коли дух захватывает от красоты? Разве ж не рай? Какое еще нужно научное доказательство, если душа наполняется от зримого благолепия умилением и радостью? Так что очень возможно, что располагается рай на земле, места ему другого нет в холодном космосе. Но видим мы его не всегда, а при особом состоянии духа.

Если такие погожие дни выпадают летом, то вроде бы так и положено, на то оно и красное, а то в самую слякотную пору, когда осень уже на исходе, а зима никак не определится, выдастся день такого солнечного покоя, что душа наполняется не только умилением, но и веселыми надеждами.

В семьдесят лет возраст дает о себе знать, но в это утро Илья Борисович Хлынов поднялся в состоянии непривычной душевной бодрости, даже мурлыкал какой-то легкий мотивчик под душем, а после чашечки растворимого кофе с охотой вышел на прогулку, решиться на которую всегда стоило усилий. Клетки организма предпочитают покой — так объяснял свою неповоротливую лень Илья Борисович.

На улице было свежо и сухо, мерзлая земля лежала без снега и, казалось, стыдилась своей наготы. Илья Борисович сочувственно подумал, что великой роженице совестно выглядеть бесплодной, потому хочется прикрыться снежной простыней.

Мысли в голову приходили игривые, да и во всем теле бродило какое-то егозливое нетерпение. При мысли о том, что сегодня будет то же, что и вчера, Илья Борисович даже возмутился, как настоящий бунтовщик, ему явно хотелось каких-то перемен.

И Илья Борисович сообразил, чего ему не хватало. «Давненько я не захаживал! — внутренне воскликнул Хлынов. — Года три, так уж точно».

До киностудии, его прежнего места работы, было близко, пройти через парк Челюскинцев, по дорожкам которого он как раз прогуливался, и там еще метров двести, всего ничего. С ней, с киностудией, была связана чуть ли не вся жизнь Хлынова, проработал сорок лет пиротехником. Немалый срок!

Одет он был вполне прилично для нынешнего пенсионера, костюмчик хоть и поношенный, однако не протерт в локтях, рубашка свежая, правда, заметно застиранная, но это ровным счетом никакого значения не имело. Да и едва ли придется снимать пальто, теперь на киностудии и гардероба-то нет, не по средствам такая роскошь, если даже пиротехнический цех, по слухам, закрыли. Многого не понимают нынешние начальники, особенно в киноискусстве. Кинематограф без взрывов — слыханное ли дело! Ну, да бог с ними! Зато пальтишко вполне сносное, не последней моды фасон, но креп еще тот, износу неподатлив. Так что не зазорно в гости заявиться, глянуть, как студия поживает.

Шагал по длинной и ровной сосновой аллее, которая в это время дня была пустынна, только возле одной скамейки стояли четверо парней с бутылками

пива в руках и громко смеялись. Илья Борисович шел и чувствовал, как в душе его нарастает торжественность, то есть происходит еще большее воспарение духа, словно идет он в церковь и уже слышит небесный гул колоколов.

При виде знакомого здания сердце как-то неприятно колтыхнулось и сбилось с ритма, Илья Борисович остановился, чтобы отдышаться, и сделал вид, что загляделся на одну из машин, что стояли вдоль стены. Потом осторожно пошагал дальше, тяжеловато поднялся по ступенькам крыльца — когда-то взбегал! — и в дверях вынужден был отступить, потому что навстречу выскочил Оськин.

— Какие люди! — воскликнул этот суетливый в движениях человек, воровато поглядел по сторонам и подхватил Илью Борисовича под руку.

Тому ничего другого не оставалось, как покориться настойчивости Оськина и спуститься с крыльца. Не устраивать же вольную борьбу! Перед киностудией был разбит палисадник с большой цветочной клумбой посередине, теперь перекопанной, в комьях черной земли, а вдоль выложенных плитками дорожек стояли деревья, под ними располагались скамейки. Оськин отвел Илью Борисовича к самой дальней, усадил и таинственно сказал:

— Разговор есть.

Снова зыркнув по сторонам нахальными глазами, Оськин попросил:

— Не ходи туда.

Как звали Оськина, Илья Борисович не знал и прежде, да и едва ли кто-то называл по имени этого вороватого с виду, верткого, с колючим взглядом и с маленьким скулистым лицом человечка. Роста он был тоже маленького, невозможно худ, приделай хвост да рожки — и гримировать не надо, готов персонаж.

— Чего это «не ходи»? — спросил Илья Борисович, неприязненно посмотрев на Оськина.

Ему не понравилось, что Оськин взял над ним некое покровительство, и досада брала, что пошел за ним из открытых уже дверей. Не к нему направлялся Илья Борисович.

— Тебе там делать нечего, — ответил Оськин и махнул рукой в сторону студии. — Там теперь умных людей нет, одни дураки. Захожу я к Мишину. Он же моим ассистентом был, а теперь — заместитель директора. Мать вашу! Начальник. Я ему говорю: «Давай снимем кино». А он мне что? Мастера, мол, без дела сидят, заслуженные и народные… Для них, мол, денег нет. Куда, мол, рыло суешь? Ты меня понял?

— А чего предложил? — спросил Илья Борисович.

— Кто?

— Ну ты, ты.

Помнится, Оськин был оператором документального кино, снимал хронику, праздники разные да парады. Но запомнил его Илья Борисович не по работе, а по коридорным встречам. Уж обязательно остановит и начнет молотить языком, а точнее — строчить, как безотказный пулемет. Послушать его, так выходило, что вокруг одни подлецы копошатся, порядочному человеку не пройти. И нет у них другой заботы, как только насолить Оськину, ногу подставить или сподличать за спиной.

— Что предложил-то, спрашиваю, — Илье Борисовичу хотелось поставить Оськина на место, потому что ничего путного тот придумать не мог и, несомненно, пристал к Мишкину с глупостью.

— Кино снять предложил, — Оськин не торопился раскрывать свой замысел. — Для тебя работа была бы. Я помню, как ты закладывал заряды. Не забыл, как на «Пламени» чуть не угрохал режиссера и оператора? Молодец! Я иногда думаю, что не случайно это произошло. А? Дело прошлое, признайся.

— А не пошел бы ты! — глухо проговорил Илья Борисович и стал подниматься.

Но Оськин по-кошачьи цепко ухватился за локоть, усадил его на скамью и сказал:

— Не надо никогда суетиться. У меня к тебе дело. Профессию-то не забыл?

— Говори скорей, да пойду, — не ответил на вопрос Илья Борисович и соврал: — Меня ждут.

— Никто тебя не ждет, — не клюнул на мякину Оськин. — Тут никто никого не ждет. Я Мишкину чего говорю? Давай кино сниму. Тема классная. Про плакаты. Понимаешь? Я собираю плакаты. Еще довоенные есть. Интересное дело! Можно по ним историю проследить. Понял меня? А Мишкин слушать не стал. И тогда у меня новый замысел возник. Прямо там, у него в кабинете. Слушай сюда.

— Ну, говори, говори.

— Мы с тобой можем большое дело провернуть. Ты же пиротехником был.

— Ну, был.

— У вас на складе этого добра навалом хранилось.

— Какого добра?

— Взрывчатки.

— Ну, так что тебе?

— Я нашего человека знаю. Если не украдет, то ты меня прости — никакой он не наш человек, а немец. Я к чему? Не усек? Ты когда родился? Не в годы оккупации? Не во вражеском тылу?

— Да что ты плетешь?

— Значит, не от немца. Так и запишем. А раз ты не немец, то не мог… Нет, не мог?

— Чего не мог?

— Припрятать для себя. Ты меня понял? Кто проверял, какие заряды делал. Положено двести граммов, а ты заложил на пять граммов меньше. Там пять, тут десять, усушка, утруска, туды-сюды, а в сумме — ого? Ты меня понял?

— Да у нас такой учет был!

— Знаю, знаю, был учет, а все равно утекало. Не может такого быть, чтобы наш человек сидел на бочке с порохом и себе в карман не отсыпал. Ты мне даже не говори! Я насквозь вижу. О, глаза-то забегали! А, Илья Борисович? Но запомни: Оськин друга не выдаст. Сколько ты динамита припрятал, я не спрашиваю. Нам много не надо. Я так прикинул, что можно и малым обойтись. Значит, слушай сюда. Мы с тобой такой фейерверк устроим, что мир ахнет. Я это все на видеокамеру сниму и отошлю прямиком в Америку. Каналы есть, все будет в лучшем виде.

— Что ты болтаешь? — не понимал Илья Борисович. — Какую ахинею тут несешь?

— Не болтаю, — подмигнул Оськин. — Понял меня? Я хочу, чтобы к чертовой матери взлетел этот сарай. Киностудия! Да кому нужно наше кино? Есть американские фильмы. Чего еще надо? Лучше не сделают эти мишкины. Нечего и рыпаться. Давай, Борисыч, продадимся американцам с потрохами. За этот взрыв сколько запросим? Прикинь мозгами. Они сенсацию любят. Денег у них много.

— Да пошел ты!

Илья Борисович прибавил непривычное для него ругательное слово, поднялся и ринулся вперед с таким отчаянием, словно спасался от беса. Так он на

киностудию и не зашел, опомнился уже в парке. «Да что же это такое? — думал он, остановившись, опустив руки и голову. — Ведь с каким настроением шел. Испоганил, гад! Да я-то чего уши распустил? Я-то чего слушал пройдоху старого? Ведь бред нес. Да не в этом дело! Не глупость меня взбесила. При чем тут Америка! Меня не слова омрачили. Он сам, Оськин, испугал. Сколько же в нем ненависти-то! Ведь взорвал бы. Всех вокруг покосил бы, дай в руки автомат. А я думал — рай-то на земле. Но в раю Оськины не водятся».

И такая печаль охватила Илью Борисовича, что он физически почувствовал, как душа скукожилась и потускнела. Так разрисованный воздушный шарик, лопнув, выпустит воздух и валяется жалкой, уже никому не нужной резинкой. Илье Борисовичу стало так печально, что он задумался о смерти, в ней одной находя успокоение. «Может, уже пора. Неуютно как-то, скверно. Разве можно жить с такими людьми. Глаза бы не видели!»

И тут он почувствовал сильный и упругий толчок в плечо. Поначалу даже не понял, что это такое. Затем увидел белку на ветке соседней сосны. Она перепрыгивала с дерева на дерево, с одной стороны аллеи на другую, и воспользовалась для этого стоявшим в неподвижности человеком. Теперь с ветки сосны смотрела живыми бусинками на Илью Борисовича, словно приглашая его в свой гармоничный мир. Мол, посмотри, посмотри, какой у меня пушистый хвост, какие острые ушки, какая вся я красивая, веселая, ловкая. Жить так хорошо, так весело! А сегодня особенно. Так много солнца. Деревья такие ласковые. Ну же, улыбнись!

Она прыгнула на другую ветку, покачалась, словно показывая, как славно играть, махнула хвостом и понеслась по своим неотложным делам, оставив в душе Ильи Борисовича растущую радость. «Милая ты моя! — мысленно воскликнул Илья Борисович, чувствуя, как слезы щиплют глаза. — Родненькая! Какая же ты умница! Как я мог из-за какого-то Оськина заныть? Да если я и нужен был на этом свете только для того, чтобы тебе в нужный момент подставить плечо, то уже не напрасно прожил».

И эта мысль Илье Борисовичу очень понравилась, потому что принесла успокоение.

На крыльце

Никакого другого определения и прийти не может в голову при виде Семена Хаустова, кроме как — красавец. Уж больно импозантный мужчина Семен, прямо картинный какой-то, и стать всегда держит, словно позирует невидимому художнику.

Вот он стоит на мраморной площадке крыльца киностудии, отстранившись от дверей настолько, чтобы не мешать входящим и выходящим, но и не на таком удалении, чтобы его не заметили. Руки он сцепил на животе, правую ногу выдвинул вперед, гривастую голову откинул назад и всем своим видом вопиет: хорош я, до чего хорош! И прозвище-то у него — Красавец, но почему-то с ударением на последнем слоге.

Выражение лица его всегда несколько снисходительное и с хитринкой, словно он один чего-то знает, о чем остальные не догадываются, и ему утешительно, что люди в таком неведении живут. Мимо протекает жидкой цепочкой незначительный для него студийный люд, в основном чиновный, и Хаустов молча кивает на приветствия, но в разговор не вступает, не имея интереса.

Но вот его глаза сузились, и в них появился соколиный блеск, это он приметил вышедшего из метро седовласого господина, который важно зашагал

в сторону киностудии по выложенной плитками дорожке. Когда он одолел ступеньки крыльца и тоже оказался на площадке, Хаустов обратился к нему, приветственно и, конечно, величаво подняв правую руку:

— Всяких благ, Василий Васильевич!

И тому ничего не оставалось, как устремиться к Хаустову с протянутой для рукопожатия рукой и радостной улыбкой на лице. Когда-то Василий Васильевич был парторгом студии, а теперь заведовал реквизитным складом и держался своего места, потому что давало оно прибавку к пенсии, что позволяло жить сносно одинокому бобылю.

— Что происходит? — доверительно проговорил Хаустов. — Слов моих нет, Василий Васильевич!

— Вы насчет чего? — осторожно спросил Василий Васильевич.

— Это и осмыслить-то невозможно, что творится с людьми! — произнес со сдержанным пафосом Хаустов. — Ведь каждый только и думает, как кусок пожирней урвать. А оттого — разброд. Оттого — бесовщина. А прежде? Ведь под музыку, под марши ходили строем. Порядок был. Надо бы насчет революции подумать. Вы согласны со мной, Василий Васильевич?

— Хе-хе-хе! — рассыпал мелкий смешок бывший парторг и глянул по сторонам, нет ли поблизости начальства. — Большой вы шутник!

Каким-то ловким образом он сложил ладонь в трубочку и вытянул ее из лапы Хаустова.

— Спешу, — с вороватой улыбкой бросил он и устремился рысцой к спасительной двери, думая про себя, что на студии всегда болтали непотребные вещи и к порядку этот киношный народ никогда не привести.

И снова перед глазами Хаустова мелькали скучные для него люди, но он был спокоен, как подлинный ловец, и не ошибся в удаче. Из дверей студии вышел главный редактор, да, к своему несчастью, остановился и посмотрел по сторонам. Он почему-то всегда выглядел испуганным, хотя был и рослым, и крепким на вид. Даже в разговоре, утверждая что-то, опасливо поглядывал на собеседника и явно готов был тут же отказаться от своих слов.

— Господин Сырников! — обратился к нему Семен Хаустов. — Могу я к вам обратиться?

— Да, пожалуйста! — по-лошадиному длинное лицо Сырникова от нехорошего предчувствия еще более вытянулось.

Этого человека, Хаустова, он встречал в коридорах киностудии не раз, но так и не удосужился узнать, в какой он должности.

— Снимали мы как-то очерк о дояре, — начал благодушно Хаустов, когда Сырников приблизился к нему. — Это уже давно было... Обычно в колхозах за коровами ходили женщины, а тут мужик на такую работу пошел и бросил ради нее теплое место продавца. Надо было подать этот факт как смелый почин, как пример для подражания. Но я был любопытен и решил выведать истинные мотивы поступка. Я не мог понять одного: какая корысть двигала им. Продавцом он больше зарабатывал. Не помню уже, как звали того человека, но объяснение не забыл. Захотел, оказывается, этот лох уловить «шевеление мозговых извилин животных». Можете представить? В деревне для его познавательной работы наиболее доступны были коровы, лошадей в те времена подчистую вывели, собаки любомудра не занимали, не ладил он с ними, все норовили за пятку укусить. Ему почему-то казалось, что коровы больше всего думают, и потому для его исследований наиболее пригодны… Жив он или нет? Вот бы спросить, если жив, уловил он «шевеление мозгов»? Я как увижу корову, так вспоминаю этого чудака. Каких только людей не встретишь!

— Любопытно, — пожевал нижнюю губу Сырников и не нашелся, что еще сказать.

— Вот и я говорю, — живо подхватил Хаустов. — Представьте кадры. Широкий луг, который полого спускается к огромному озеру. Луг усеян цветами, самыми разными. А на озере то и дело плещется рыба, беспрерывно выскакивают серебристые плотвички и плюхаются в воду, образуя расширяющиеся круги на ее зеркальной глади. На пестром, как персидский ковер, лугу стоят в большой задумчивости коровы и смотрят на озеро. И зрителю страстно хочется узнать, о чем они думают. Как вам сюжет?

— Любопытно, — повторил Сырников и сделал виноватое лицо. — Вы уж простите, я очень спешу, вызвали в министерство.

— Понятное дело, — радушно согласился Хаустов. — Не буду задерживать. Но как-нибудь загляну к вам кабинет. Позволите?

— Конечно, конечно, — быстро покивал Сырников и скатился с крыльца, словно его пихнули в шею.

Следующей жертвой стала молодая актриса Баринова, которая снялась пока что в эпизоде, но так полюбила кино, что не представляла без себя дальнейшее существование кинематографа. Приближаясь к киностудии, она каждый раз испытывала сильное волнение, потому что ей казалось, что именно в этот день ей предложат главную роль.

— Я вас приветствую! — своим приятным, густым и раскатистым голосом обратился к ней Семен Хаустов. — Видел на экране. Превосходно!

Кто этот человек, Баринова не знала, но по виду представлял он собой важную персону, а это означало одно: от него может зависеть ее артистическая судьба. Она подлетела к Хаустову и вытянулась в струнку, острый носик от любопытства обострился сильнее, а круглые глазки еще более сошлись в переносице.

— Вот я вам приведу пример, — снисходительно и благодушно зарокотал грудным голосом Семен Хаустов. — Представьте себе, что перед вами поле.

Он плавно повел рукой, и Баринова тут же представила поле, отчего стала очень серьезной. Хаустов обозначил рукой некую черту.

— И это поле пересекает тропа, делит пополам. Представили? На левой стороне «цветы — необычайной красоты». А правая заросла чертополохом и всякой другой дрянью. Какая сторона вас больше привлекает?

— Ну, понятно же, — пожала плечами Баринова, даже немножко обиделась.

— Пойдете цветочки рвать?

— А что?

— Да ничего, ничего. Просто вас никто не предупредит, что цветочная половина поля заминирована.

— Да? А как быть?

— Можно пойти по тропе, по исхоженной, досконально проверенной множеством ног дорожке. Но она не ведет к славе.

— Что же остается?…

— Тернии. Только тернии! К славе ведут одни тернии. Вот так, голубушка. Ну, бегите. Вас ждут.

Бедная Баринова неделю мучилась над разгадкой приведенного Хаустовым примера и все гадала, какой за этим кроется намек. На что она должна согласиться? Потом узнала, что Хаустов никакой не режиссер, и презрительно фыркнула.

Через несколько минут после ухода Бариновой Хаустов пережил лучшие минуты за этот день. На поклевку двигалась такая рыбина, что не сразу глазам поверил. Не какая-то плотвичка и не осетр даже, а настоящий кит. По дорожке

приближался знаменитый артист. Это был такой популярный человек, что его без сомнения узнавали даже грудные дети и радостно лепетали, приветственно мельтеша руками. О таком везении Хаустов и не помышлял.

Артист шел бодро, хотя ему было уже изрядно за семьдесят. И вообще держался он молодцом, по ступенькам взбежал, весело поглядывая по сторонам и всем своим видом показывая, что человек он простецкий при всей своей знаменитости. Однако пришлось несколько удивиться, когда незнакомый господин подхватил его под руку и отвел от двери.

— На два слова, Петрович, — по-свойски обратился к нему Хаустов. — Давно вам хотел рассказать, да все не выпадало случая. Много лет назад мой друг похоронил жену. Она умерла двадцати двух лет. Оба знали, что она обречена. Просила его, умоляла — не женись. Ты, мол, привыкнешь ко мне, полюбишь меня, и я буду твоим горем. А он женился. И почему? Он верил, что любовью спасет. Чуда не случилось. Но она была счастлива с ним. Понимаете? Целых два года была счастлива. Вы поняли?

— Интересная тема, — заметил популярный артист, мучительно вспоминая, где он видел этого человека.

Он не сомневался, что перед ним режиссер, потому что никто другой не позволил бы такого панибратства с ним. Возможно, снимался у него, однако напрочь забыл, когда и в какой картине. Тут подбежала суетливая женщина, которой было, видимо, поручено встретить знаменитость, затараторила, что смена уже идет и надо бежать в павильон. Народный любимец с сожалением пожал плечами, виновато улыбнулся, горячо пожал руку Хаустову и поспешил рысцой за энергичной женщиной. Поднимаясь по лестнице, он все гадал, кто же это был.

— Провал в памяти, — пожаловался он спутнице. — Никак не вспомню, кто это. Ну, там внизу…

— С кем говорили?

— Это же известный режиссер, по-моему.

— Красавец? — удивилась женщина. — С чего это вдруг? Он работает осветителем.

Посмотрев на часы, Хаустов решил, что хватит ему прохлаждаться, а пора идти домой. Жил он недалеко и потому направился дворами пешком, несуетно думая о кино и о своей работе.

Конечно, не каждый день это стояние на крыльце и охота на собеседников повторялись, но время от времени что-то накапливалось в душе, и тогда появлялась неодолимая потребность с кем-нибудь пообщаться. И, видимо, происходило это оттого, что Хаустова иногда охватывало чувство превосходства над всеми, кто работал в кино, потому что они не понимали главного, а он это хорошо освоил.

Что главное в киноискусстве? Кого угодно спроси, не ответит.

Каждый будет, конечно, чего-то лепетать, но главной сути не раскроет. Без сценария, без режиссуры, без оператора, а тем более — артиста, естественно, фильма не слепишь. И все-таки не они в кино — главное. А есть нечто важней всех вместе взятых, без чего, как говорится, «кина не будет».

Жена Хаустова, невысокая сдобная женщина, хлопотала в кухне и явно ждала мужа.

— Чего задержался? — спросила она ласковым голосом, потому что обожала супруга.

— Да Петровича встретил.

Жена не догадывалась, о ком речь, и он назвал фамилию.

— Артист тот? — умильно сложила она руки на груди.

— Ну, пожали руки, поговорили. Все-таки старые знакомые.

— Уж так он мне нравится!

— Ничего мужик, — снисходительно согласился Хаустов, садясь за стол, на котором уже дымились щи. — Артисты — народ хороший. Режиссерам — не чета. Те выпендриваются. А эти пашут.

— Ты у меня мог бы любого из них заменить, — уверенно заявила жена.

— Образования не хватает. Куда я со своим техникумом!?

— А я считаю, что ты и без образования умный.

— Кое-какие понятия, конечно, имею. Все-таки двадцать лет в искусстве. Вот скажи, что главное в кинематографе?

— Ты что, Сеня? Мне-то откуда знать?

— А главное в кино — свет. Коли света нет, в темноте и кадра не снимешь. Один Феллини это понимал. Он говорил — «Свет в кино — это все». Да чего там далеко ходить за доказательством! Из того же знаменитого артиста можно сделать монстра, если высветить лицо, скажем, снизу. Вот что главное — свет. Но мало кто это понимает. Ну да ладно. Давай, жена, ужинать.

Хорошо было Семену Хаустову сидеть за кухонным столом под обожающим взглядом жены и хлебать вкусные щи. После проведенных бесед его душа успокоилась, а мысли как-то уж очень удобно улеглись в сознании, отчего Семену стало предельно ясно, что без чувства причастности к великому пониманию и щи хлебать скучно.

Последний атлант

Когда-то Михаил Яковлевич Берковский чувствовал себя на киностудии значительным человеком, и надо признать, не без оснований, от него и на самом деле во многом зависело, какая картина запустится в производство, а какому сценарию суждено уйти в архив. Михаил Яковлевич был правой рукой главного редактора, известного писателя, но человека мягкотелого и уж очень нерешительного.

В советское время на производство картин деньги выделяла Москва, и все зависело от тамошнего киношного начальства. Обычно сценарии на утверждение возил Михаил Яковлевич. И все проходило гладко, потому что товарищ Берковский был своим человеком в Госкино и всегда безошибочно знал, какой товар нужен на текущий момент. Сомнительную литературу он не повезет, это уж увольте. Должность редактора по тем временам считалась весьма ответственной, особенно в кино, важнейшем из искусств.

Так обстояло дело до перестройки, будь она неладна. Огромная страна еще благодушно покоилась, подобно отдыхающей медведице, и не чувствовала, что над ее тушей уже занесен разделочный топор лихого мясника. Когда начались невероятные перемены, Михаил Яковлевич пережил великие потрясения, и в пьяном бреду ему не снилось, а тут в реальности дожил до такой поры, когда в кино стали обходиться без редакторов.

Слыханное ли дело! Лепили картины кому как вздумается, были бы деньги. А для искусства это смерти подобно. По твердому убеждению Михаила Яковлевича, творческие люди представляют собой стихийное явление, они чаще всего сами не понимают, что творят, и потому ими нужно руководить, для их же выгоды, между прочим. Говорят, скульптор отсекает лишнее из каменной глыбы, и возникает произведение искусства. То же самое делает редактор, по сути дела.

Произошло затмение мозгов, иначе никак не объяснить ту вседозволенность, которая пришла в кино. Михаила Яковлевича отправили на пенсию, и он от обиды зарекся переступать порог студии когда-либо в жизни.

Прошло пять лет, о нем напрочь забыли. Михаил Яковлевич летом жил на даче, зимой гостил то у сына в Гродно, то у дочери в Петербурге, после смер-

ти жены неуютно чувствуя себя в собственной квартире. Этой зимой Михаил Яковлевич был вынужден приехать в Минск. Племянник, которого прописал в свое время у себя, уехал в Германию на стажировку, он преподавал в институте иностранных языков. Не пустовать же квартире.

Где-то в душе еще долго теплилась надежда, что на студии вспомнят о нем и позовут, потому что без таких специалистов толковые фильмы делать нельзя, хотя бы по той причине, что кино — дело коллективное, без редактора каждый потянет воз на себя, как лебедь, рак да щука, и дело развалится. К тому же, по слухам, редакторов в штате восстановили.

Но телефон молчал, как будто кинофабрика провалилась сквозь землю и место ее заросло бурьяном. Михаил Яковлевич решил не то чтобы напомнить о себе, а скорее показаться нынешним обитателям киностудии и продемонстрировать свое спокойствие, свое достоинство независимого человека, да заодно навестить старых знакомых, если кто еще остался на плаву.

Ехать надо было на трамвае, потом еще на автобусе три остановки. Пока добирался, многое вспомнилось из прошлого. Когда вышел из автобуса и увидел до боли знакомое здание студии, то на миг показалось Михаилу Яковлевичу, что ничего не изменилось в мире. Ему даже весело стало. Он стоял на автобусной остановке среди толпы, чтобы его не заметил кто-нибудь из старых знакомых, и все смотрел на трехэтажное здание с невысоким широким крыльцом.

Как и в прошлые времена, вдоль фасада стояли легковые машины, только теперь было много иномарок, как и прежде, входили и выходили из дверей люди, но не таким оживленным потоком, видать, иссяк киношный люд, поубавился. Михаил Яковлевич смотрел на окна второго этажа, за одним из которых просидел тридцать лет, но как-то не мог сразу определить — за которым. Два угловых окна принадлежали кабинету главного редактора. В той просторной комнате проходили заседания редакционной коллегии и художественного совета. Его кабинет был через две комнаты. Значит…

Но внимание Михаила Яковлевича снова привлекли угловые окна, и почему-то вспомнилось, как проходили там заседания, и так отчетливо все это предстало в памяти, аж сердце защемило.

Не было таких вопросов, которые Михаил Яковлевич не решил бы с блеском. Помнится, был случай. Литературный сценарий благополучно прошел через все инстанции, потому что всех устраивал. А потом режиссер написал по нему режиссерский сценарий и все перевернул с ног на голову, решил показать свою гениальность. Директор киностудии прочитал и чуть со стула не свалился. Выход один — закрыть. А как? Надо же найти формулировочку. Уж больно режиссер строптивый!

— На стадии проб, — подсказал Михаил Яковлевич. — Не подходит актриса, к примеру. Повод?

Директор все понял, но развел руками.

— Так ведь худсовет!

— Направление дать, — скромно посоветовал Михаил Яковлевич. — Ведущую мысль подбросить. Никто себе не враг.

Если нет подходящей актрисы, то и нечего затевать съемки — это же всем ясно. Ничего не подозревающий режиссер после долгих поисков нашел в одном из областных театров хорошую исполнительницу. Не хотел снимать примелькавшиеся на экране лица. А эта никогда не снималась в кино.

Михаил Яковлевич потирал руки. В кабинете главного редактора уселась многочисленная и солидная публика. Она должна была вынести вердикт — справится молодая актриса с возложенной на нее задачей или нет.

— Нам предстоит решить, — заявил председательствующий, директор студии, — соглашаться или не соглашаться с предложенной кандидатурой на главную роль. Кинопробы вы все видели. Кто первым желает взять слово? Прошу...

В зале — тишина. Председатель собрания не намекнул, надо ли обрушиться на актрису или существует мнение одобрить. Неопределенность смущает присутствующих. Тишина излишне затягивается. Но вот кашляет в кулак один из режиссеров, Василий Пушков, дородный, мясистый и нахальный. Он первый понял ситуацию, для этого достаточно было ему переглянуться с Михаилом Яковлевичем. Все одновременно поворачивают лица в его сторону. Он сидит, развалившись в кресле и закинув ногу на ногу.

— Я долго думал после просмотра, — говорит он и смотрит в пол, словно голова отяжелела от созревших мыслей, потом живо обращается к режиссеру: — Ты прости, Олег. Я буду говорить честно. Только не обижайся на меня.

Тут же он переводит взгляд на директора киностудии, улавливает в его лице одобрение и уже отважно режет правду-матку, за которую не пожалеет живота:

— Я ничего не понял, братцы.

Изумленно разводит руками, изобразив на лице полное недоумение, и с мукой произносит:

— Не лучше ли пригласить с улицы любую девицу?

И пошла плясать губерния, как говаривали классики. Не успел закончить первый оратор, как вскакивает ершистый, весь какой-то издерганный, нервный субъект с бегающими глазами, словно они у него механические, не подвластные, тоже режиссер, и начинает выкрикивать вопросы:

— Кто мы? Зачем мы? Чего хотим?

Потом принимается с пылом отвечать на свои вопросы:

— Мы художники. Мы совесть. И это надо помнить всегда. От нас так много зависит. Об этой ответственности мы часто забываем.

Он говорит долго и страстно. На него жутковато смотреть, так он страдает, так мучается, словно некий яростный огонь пожирает беднягу изнутри. Но когда он, изможденный, садится на стул, никто не может вспомнить, о чем он только что говорил.

А вот пружинно упруго подскочил маленький сморщенный человечек, закатил глаза, словно читал с потолка, и ровным голосом проговорил без запятых и точек ровно пятнадцать минут, похвалив автора за то, что тот затронул важную тему, и выразив сострадание по тому поводу, что актриса ни с какой стороны не подходит для роли.

— Люди так себя не ведут, — перечислял оратор. — Так не говорят. Так не работают. Она вся искусственная. А нам нужна правда.

Михаил Яковлевич видел лица членов худсовета, и по тому, как они были сосредоточенны, как непроницаемы становились глаза, гадать о результате обсуждения не приходилось. Это же, видимо, почувствовал режиссер и сделал отчаянную попытку спасти положение. Он вскочил и запальчиво заявил:

— Или играет эта актриса, или я ухожу с картины.

— Только без ультиматумов, — поморщился директор. — С худсоветом надо считаться.

Он был доволен обсуждением. Теперь у него был козырь — против общего мнения не попрешь, а потому производство фильма придется приостановить на неопределенное время и продолжить поиски актрисы.

— Я нашел исполнительницу, — заявил режиссер. — Другую искать не намерен.

Поднялся и покинул художественный совет. Думал, остановят. Не остановили. Картину поставили на консервацию, группа постепенно разбежалась, и уже не было смысла продолжать производство. Благо не так много средств было потрачено. Списали те небольшие расходы и облегченно вздохнули.

Кстати сказать, и прежде, и после этот режиссер — фамилию называть просто лень — шедевров не делал. Но дело не в нем, а в самой сути — редактор потому нужен, что убивает уродство в зародыше. Вот его подлинное предназначение. Так мыслил Михаил Яковлевич.

За те полчаса, которые простоял на автобусной остановке Михаил Яковлевич, из его знакомых никто не прошел. Выходили и заходили в двери студии новые для Берковского люди, в основном молодые, стремительные — куда спешат? — и веселые, что больше всего раздражало. Чему радовались? Довели кино до ручки и веселятся. По телевидению гонят такие картины, что смотреть тошно. Что уж там содержание! Но и по профессии все плохо, операторы снимают дурно, актеры играют без души, палят из пистолетов и автоматов с выпученными глазами, и вся работа, режиссера как бы и нет… Какие они кинодеятели? Киноделатели они, мать их за ногу!

Теперь понятно, почему они забыли о нем, почему он им не нужен. Эти люди не нуждаются в профессионалах, потому что сами дилетанты. Появись среди них Берковский, и они почувствуют себя ущербными, жалкими, увидят собственное ничтожество. Вот в чем дело! Вот почему молчит домашний телефон.

Плюнув в сердцах в сторону когда-то родной, а теперь оккупированной чужаками киностудии, Михаил Яковлевич пошел по улице прочь, чтобы ходьбой несколько успокоить себя. Душа его трепетала, как красное полотнище на ветру, державный символ ушедшей в историю страны.

По улице мимо длинной и пестрой магазинной витрины шел невысокий худосочный человек в длинном плаще и шляпе, с непроницаемым выражением лица. В его поступи не было общей суетливости, а чувствовалась неколебимая державность. Самолюбие этого человека тешило сознание того, что никто из этих обывателей и не догадывается, кто это идет. А ведь он, Михаил Берковский, один из лучших редакторов ушедшего в прошлое великого государства с его могучим кинематографом. Да что там редактор! Михаил Яковлевич чувствовал в эти минуты всем существом своим и всеми фибрами души, что великая эпоха осталась только в нем, и более того — подобно сверхзвезде она сжалась до размеров его сердца.

Он шел и думал о себе, что по улице шагает последний из атлантов, а вокруг суетятся карлики.

Да так бы и прожил до конца своих дней Михаил Яковлевич с утешительным сознанием своей правоты — а что еще нужно для спокойной старости? — но тому помешала лихая для него случайность. К бровке тротуара прямо-таки в десяти шагах от него прижалась иномарка, из которой в радужном настроении выпорхнула ладненькая собой женщина и легко, будто невесомо, устремилась в сторону киностудии, но вынуждена была сбиться со своего летучего шага, потому что перед ней оказался Михаил Яковлевич. Это была та самая периферийная актрисочка, неизвестностью которой воспользовался когда-то редактор Берковский, чтобы закрыть неугодный руководству сценарий. Теперь она была при всех мыслимых и немыслимых званиях, и что куда важней — любима публикой.

Она, должно быть, привыкла, что люди расступаются перед ней, изумленные случайной встречей, а тут какой-то тип возник на пути каменным изваянием, и пришлось обойти его с любезной улыбкой на лице, под которой

спряталась досада. С Михаилом Яковлевичем она была незнакома и не узнала, конечно, человека, который когда-то чуть было не обломал юной актрисе неокрепшие крылышки.

Она упорхнула мимо, оставив после себя запах дорогих духов. А Михаил Яковлевич стоял и все думал о том, как взгляд актрисы скользнул по нему, будто и был-то он всего-навсего досадной помехой. Да как же так? Он же был. Да еще как был!

Но уже прежнего, минутной давности убеждения в своей значимости Михаил Яковлевич не чувствовал. И оттого, должно быть, расхотелось думать о прошлом, а точнее — тешить себя воспоминаниями. Кто его знает, какую еще козу подсунет лукавый бес!

Счастливцы

В просторной комнате за столом под портретом Ленина сидел худой, с узким лобастым лицом человек, которого за глаза называли Кощеем. Прозвище это пришлось ему настолько впору, что потеряло нарицательный оттенок, словно стояло в ряду имен — Кузьма, Касьян, Корней…

Приставной стол, впритык к начальственному, занимал всю середину комнаты, за ним уместилось пятнадцать человек. Вдоль стен стояли еще стулья. И не хватило их, занесли из приемной несколько… Тогда только уселись члены расширенного худсовета, общим числом более тридцати душ. Каждый из них обязан был высказаться, а коротко говорить никто не любил. Так что посиделки предстояли долгие.

О художественных советах киностудии можно было бы написать оду, они того стоили, но получилось бы несправедливо по отношению ко всем другим заседаниям, совещаниям и собраниям, что тогда бытовали сплошь и рядом. К тому же и в поэтической форме не объяснить, почему люди так много обсуждали и совещались, когда решение зависело от одного главного начальника.

На этот раз обсуждали режиссерский сценарий Александра Матецкого, которого друзья, видимо, за малый рост называли Сашок. Виновник столь многолюдного заседания походил на взъерошенного воробья. Непокорные волосы торчали во все стороны. Сашок ладонью приглаживал их, и конечно же, напрасно. Давно же убедился — торчать будут, но нет, снова и снова придавливал их ладонью.

Картина находилась уже в запуске, готов был режиссерский сценарий. Литературный как-то проскочил в Москве. И даже было непонятно — как. Вещь-то была странная. Она и пересказу-то не поддавалась. Одни эмоции. Герой просыпается утром и ложится спать поздним вечером, прожив обычный день. Вот и весь сюжет.

Но за этот день герой несколько раз меняется в зависимости от ситуации или настроения. Этим самым автор утверждал, что святой может стать палачом, скупой щедрым, врун правдолюбцем... Всего, мол, в нас намешано. Не ахти какая свежая мысль, но очень забавно, смешно, а порой вдруг с трагическими нотками были выписаны сцены. В конце же, к вечеру, события достигали прямо-таки серьезного накала, герой задумал убить женщину, которую утром любил.

Как выяснилось потом, в Москве сценарий пробил учитель Матецкого, с авторитетом которого тогда считались, к дорогому товарищу Брежневу был вхож человек. Но московские чиновники директору студии намекнули, что было бы разумно закрыть эту затею на стадии режиссерского сценария на

месте, то есть у себя в республике. Директор намек передал Кощею, а сам уехал за границу в какой-то представительной делегации.

Так что Кощей знал, чем кончится худсовет, и знали об этом ему подвластные редакторы, но остальные ни о чем не догадывались. А надо признать, что студийная творческая братия тогда была совестливой, еще были молодыми и дерзкими, за десять лет не отошли от первой «оттепели» и радовались тому, что возможен будет такой фильм. Кощей слушал похвальные речи благосклонно, кивая и соглашаясь. Потом попросил высказаться одного из редакторов, завсегдатая его кабинета. Редкие белесые волосы этого типа были прилизаны, щеки блестели от тщательного бритья, а костюм сидел без единой морщинки, будто был выглажен прямо на теле. Безукоризненно опрятный внешне, этот человек был изрядным прохвостом и фамилию даже носил какую-то подозрительную — Кошачкин. Он неожиданно для всех прошелся по сценарию катком. Творческая братия возмутилась. Но Кощей дал слово другому редактору. Потом третьему. И в заключение сам сказал:

— Мнения разделились. Большинство за то, чтобы сценарий в таком виде не принимать.

— Как большинство? — охнуло большинство.

— Почитаете протокол, убедитесь. Каждый делал какие-то замечания.

— Это естественно! — кричали творцы.

— Вот пусть режиссер и учтет их. Картину поставим на консервацию.

Тут вскочил Сашок Матецкий. Маленький, щуплый, невзрачный и потому жалкий. Невозможно было смотреть ему в глаза, заполненные непониманием и болью.

— Позвольте мне слово, — произнес он и закашлялся.

Терпеливо выждав, пока Сашок корчился в кашле, Кощей улыбнулся и развел над столом длинные худые руки.

— Заседание закончилось, — сказал он отеческим тоном.

Люди стали подниматься со стульев. Кто-то ворчал, кто-то молча хмурился, кто-то откровенно посмеивался.

И тогда Сашок заплакал. Он не хотел того, крепился, аж лицо перекосилось от натуги, но слезы сами текли из его огромных серых глаз. Он стоял, как ребенок, беспомощный и растерянный, не понимая, что ему делать дальше, куда идти, где та дверь… Люди испуганно обходили его, делая вид, что не замечают слез. Художник Ипатов догадался, сгреб его своей сильной лапой, прижал к плечу и вывел из кабинета.

Когда осталась в комнате одна редакторская рать, Кощей сказал, мотнув головой осуждающе:

— Еще не хватало — слезы пускать.

— Москва слезам не верит, — сказал Кошачкин.

— Вот уж к месту пришлись слова, — довольно хохотнул Кощей и погладил кончиками пальцев огромный лоб. — Мы редакторы. Мы на государственной службе.

Ему было приятно думать о том, что московское начальство будет довольно им и проникнется еще большим доверием, потому что Кощей понимает и никогда не забывает интересы партии. На таких людях, как он, и держится великая страна, прямиком идущая в светлое будущее.

А творцы в мастерской Ипатова устроили разрядку с малым количеством закуски и обилием водки. После третьей рюмки Сашка расслабился и стал вспоминать о своем детстве. Он бегал в кино, которое любил до умопомрачения, и всякий раз выходил из зрительного зала больным. Он воспринимал то, что видел на экране, острее и болезненней, чем действительность. Но в деревню редко при-

возили фильмы, особенно в распутицу. Киномеханик иногда неделями крутил одну и ту же картину, чтобы нагонять запланированное число сеансов.

Тогда Сашка мысленно стал сам придумывать фильмы, которые хотел бы увидеть. Эта привычка осталась с ним и потом, когда он повзрослел. Однажды родился этот замысел. Ради него он трижды поступал во ВГИК, и наконец-то, мастер заметил его, взял под свое крыло. Ему скоро сорок лет, а он все не женат и боится заводить семью. Она может помешать осуществить замысел, ради которого жил все эти годы.

Друзья по застолью как могли успокаивали парня, но никто всерьез не сочувствовал. Не прошла одна затея, надо придумать новую. Уж так водится в кино, и ничего тут не поделаешь. Сашок мотал головой и не соглашался. Назавтра студия узнала, что Матецкий оказался в психушке.

— Как вовремя мы закрыли картину, — сказал Кощей.

— Я сразу догадался — больной человек, — подхватил прилизанный Кошачкин. — Сами же видели — расплакался.

В больнице Сашка пробыл около месяца, потом вернулся на студию и вел себя вполне разумно. Только часто появлялась на его лице блуждающая улыбка, и при этом Сашок становился бесподобно рассеянным. И еще проявилось одно чудачество. Однажды в одной из монтажных комнат, воспользовавшись отсутствием работницы, Сашка стал клеить куски пленки, выброшенные за ненадобностью в корзину. Когда его застали за этим занятием, он стеснительно улыбнулся и сказал:

— Гениальный фильм получается.

Этот случай повторился еще несколько раз, и снова Сашка попал в психдиспансер. Он то выписывался, то снова лечился, и так прошли годы. Кощей чувствовал себя уверенно и спокойно, но тут наступили беспокойные времена, пошла перестройка, которая кончилась тем, что великая страна развалилась. Кощей оказался не у дел, более того — теперь в него не бросал камни разве ленивый. Еще вчера перед ним трепетали, а теперь те же люди оказались такими отважными, что в лицо бросали обвинения и чуть ли не требовали суда. Словом, душитель. Вот, мол, пример — Матецкий. Загубленный талант.

Еще однажды Кощей радостно воспрянул. Это когда гекачеписты затеяли свое дело. Что ни говори, а был он бойцом — Кощей. И партбилет не порвал, как собратья по партии, не сжег при людях, а спрятал, говорят, в тайнике. Вдруг понадобится. И вот вроде бы дождался! Но путчисты, как их обозначили — хотя черт поймет, кто они были! — потерпели крах, и в голове Кощея какое-то случилось смещение. Одним из явных признаков этого было то, что он навещал без предупреждения всех бывших партийных боссов и требовал ответить, как могло так случиться, что все рухнуло в одночасье. А то на улице подходил к милиционерам и строго спрашивал:

— Как вы допустили? Отвечать!

Кончилось тем, что Кощея поместили на обследование в ту же самую психушку, в которой очередной раз находился Сашок Матецкий. Однажды они встретились в коридоре и обрадовались друг другу, как родные братья после долгой разлуки. Сашок знал тут все уголки и отвел Кощея в укромное место в углу бетонного забора, где находились скамейка, окруженная кустами. Тут никто не мог помешать им, и они устраивали беседы. Оказывается, у обоих так много накопилось мыслей, что они в разговоре перебивали друг друга. Случалось, ночью выбирались из палат и сходились, чтобы облегчить души.

Над головой висят звезды, открывая непостижимую бездну, от которой кружится голова. И такой же глубины достигали образы, которые волновали собеседников.

— Ах, какое кино! — умильно говорил Кощей, откидываясь на спинку сиденья и поглаживая узкой ладонью высокий лоб. — Какая мощь!

— Он настолько любил ее, — страдая, говорил Сашок, — что решил убить. Человек не видел никакого другого выхода, как только зарезать кухонным ножом женщину, которую мог потерять. Мертвая не уйдет к другому.

— Потрясающая мысль! — прикрывал глаза Кощей, словно жмурился от вкусной ягоды. — Ах, какая мысль! Ведь что интересно? Мы губим то, что любим.

— Вы правы, — приходил в неистовый восторг Сашок. — Вы удивительно точно определили суть! Любовь — самое эгоистическое чувство, потому оно не может быть добрым.

— И еще что важно, — подхватывал мысль Кощей и выставлял указательный палец, как пику. — Мы не только губим то, что любим, но сами сгораем в любви. Разве твой герой может жить дальше, убив любимую? Да нет же… Нет! И еще раз нет! О, как все это мощно! Шекспир!

Кощей возводил взгляд к звездам, и ему казалось, что он постиг некую главную истину, без которой жил прежде, и оттого его прежняя жизнь была скучна и неразумна. Но то же самое чувство владело и Сашком. Вот что роднило двух этих людей, что делало их нужными друг другу и приносило радость общения.

Со стороны глянуть — сидят взъерошенный воробей и старый облезлый ворон. Но они-то видели себя не с чужого боку, а изнутри, со стороны души, оттого были счастливы и, расставаясь, уже через минуту мечтали о новой встрече.

Артист Прокин

Съемки фильма подходили к завершению. Иван Прокин должен был отработать последнюю сцену, в которой его им персонаж погибал от пули бандита. И не было бы в этом факте ничего особенного, если бы этот Прокин не был костью в горле для режиссера ленты Акима Антрохина. Прокин раздражал именитого мастера до такой степени, что невозможно было выразить словами, потому что не было их в русском языке, казалось бы, столь богатом по части ругательств. Вечером, за чашечкой обязательного кофе, Аким Антрохин с большой задумчивостью сказал:

— Пережить бы завтрашний день!

Он был в гостиничном номере второго режиссера Вероники Глушковой, которую называл своей правой рукой, но исключительно для посторонних ушей, наедине для нее были запасены и другие определения. Одно нельзя не упомянуть — «эхо мое». Это обращение из уст своего кумира Вероника воспринимала с душевным трепетом, находя в нем глубокий и точный смысл. Эта женщина сорока с небольшим лет напоминала вечный двигатель. Во всем мире никто не знал, когда отдыхала это рыжая пантера, готовая ради своего обожаемого Акима принять смертную муку. Она так и заявляла:

— Я умру за него.

При этом выражение лица Вероники точно соответствовало словам, а в глазах появлялся тот стальной блеск, что свойственен людям одержимым, по-нынешнему говоря — упертым.

Она была незамужней и бездетной, оттого в ее упругом теле скопилось много неистраченной энергии. Эту особенность всякий мужчина тут же замечал и начинал делать круги вокруг нее, искать подходы и осыпать комплиментами заманчивую даму, но вся неукротимая душа Вероники пылала страстью к Антро-

хину, который, в отличие от нее, был и отцом, и женат, однако это не имело ни малейшего значения для любящей женщины. Она обожала его, а благодарный Аким Антрохин делил с Вероникой постель, едва оказываясь в стороне от дома.

Но не в этом заключалась главная суть отношений, а в том, что Вероника понимала Акима как никто. Насколько это важно и нужно для гения, козлу понятно. Правда, в том, что Антрохин гений, не сомневались только сам режиссер и Вероника, что их еще больше сближало.

— Сразу после съемки отправлю его к чертям собачьим! — заявила Вероника. — Ненавижу этого Прокина! Сколько он твоих нервов истрепал, бездарь! Как мы в нем ошиблись!

— Конь о четырех ногах и то спотыкается, — вздохнул Антрохин, давая тем понять, что не так-то просто быть режиссером кино, это тебе не табуретки сколачивать.

Изумительная по своей понятливости Вероника села на край кровати, закинула ногу на ногу и чуть поправила короткую юбку.

— Знаешь, Аким? — произнесла она с возникшим волнением. — Я не устаю удивляться тебе. А ведь ты потрясающе решил образ Лехи!

Она выдержала паузу, прищурив глаза и этим подчеркнув проникновенную задумчивость. Антрохин даже дыхание затаил, чтобы не упустить ни единого слова.

— Ты создал потрясный тип! Это здорово, Аким! Я горжусь тобой. Какой-то Прокин, и такой образ! Я поняла тебя. Ты заставил этого Прокина раскрыться. Ему даже играть не нужно было такого примитива!

Пригубив остывающий кофе, Антрохин подумал, что и в самом деле сценарный персонаж Леха и актеришка Прокин в каком-то роде близнецы, они являются полными ничтожествами, а показать на экране богопротивную никчемность мало кому удавалось. Может быть, впервые в кино появится образ, олицетворяющий человека, которому и родиться-то не стоило. А мало таких вокруг нас? Пусть увидят себя и содрогнутся — зачем живу!? Не это ли задача высокого искусства?

— Он должен умереть, — сказал Антрохин, сделав глоток кофе, после чего откинулся на спинку стула и покосился на круглые смуглые колени Вероники.

— Завтра его пристрелят, — заметила его взгляд Вероника и отозвалась осевшим, грудным голосом, погладив ладонью колено.

— Ты не поняла, — с мудрым терпением улыбнулся Антрохин.

Вероника моментально сосредоточилась, жизнь очередной раз напомнила ей, что нельзя расслабляться, когда рядом гений.

— Он должен так сыграть момент смерти, чтобы я поверил, — сказал Антрохин. — Понимаешь? Он должен умереть.

Последнее слово он произнес по слогам, подчеркивая глубинный смысл своей мысли.

— Я понимаю.

— Пустая жизнь пустого человека, и вдруг...

— И вдруг, — как эхо повторила Вероника.

— Мы видим смерть. Это должно быть сыграно так достоверно, чтобы зритель вздрогнул. Я хочу снять смерть так, как никто и никогда не снимал. Я хочу потрясти зрителя этим кадром.

— О, как я понимаю тебя!

Высокие чувства переполнили все существо влюбленной женщины, сердце воспылало нежностью к избраннику, и Вероника выдохнула, смущенно опуская голову:

— Иди ко мне.

Сам Антрохин не очень понимал, чего он хочет, какую такую смерть собрался показать на экране, но какое-то восторженное чувство приподняло его и оставило в невесомости, словно океанские волны подхватили, подбросили вверх парусник, и он понесся по воздуху в манящую солнечную даль.

Потом, уже в постели, утихнув и отдышавшись, Антрохин неожиданно для себя засмеялся.

— Что, Акимушка? — проворковала Вероника и поцеловала голое плечо возлюбленного.

— Смешно получилось. Я говорю: «Он должен умереть». А ты отвечаешь: «Завтра его пристрелят». А?

Вероника вспомнила разговор и засмеялась, но в этот миг пришла ей в голову странная мысль, так птичка случайно залетает в форточку.

— Послушал бы кто со стороны, — продолжал Аким, — решил бы, что мы готовим смертоубийство. Смешно! О, если бы снять саму смерть крупным планом! Этого еще не было. В кино умирают картинно, до омерзения фальшиво. Не хочу!

— Умри Прокин ради этого кадра, остался бы в памяти людей, — сказала Вероника, не забывая о мысли, что залетела в голову и затаилась в темном уголке мозга. — А так проживет без толку. Еще в актеры пошел, придурок!

— Ну, ты скажешь! — хохотнул Антрохин. — Умереть ради кадра! А с другой стороны...

И не договорил. Эти два человека — неизвестный актер Иван Прокин и титулованный режиссер Аким Антрохин — поначалу очень даже ладили между собой, чуть ли не в друзьях ходили, а уж за рюмочкой сиживали не раз, и так согласно при этом беседовали, что иначе и не подумать — единомышленники. Антрохин так и говорил:

— Я собрал команду единомышленников — это главное.

Конечно, он немного лукавил, не в характере Акима было считать кого-то равным себе, но одно дело говорить вслух ради общего трудового настроения, другое — думать, что человек он исключительный, еще не понятый обывателем гений. Прокина он вытащил из периферийного театра, увидев на своем столе среди множества других его фотографию — удивительно простодушное лицо с наивной улыбкой на губах, что свойственна детям и юродивым. Тут же в его голове промелькнула пронзительная мысль о том, что он потрясет сердца зрителей образом Лехи в исполнении провинциала.

По замыслу автора сценария, Леха представлял собой милейшего человека, который и мухи не обидел за свою жизнь, а только тем и занимался, что приносил добро людям, будучи пасечником. В описании Лехи автор не пожалел патоки, и тип получился сладким до приторности. В руках среднего режиссера на экране возник бы этакий плакатный герой, малоубедительный и мало кому интересный. Но Аким Антрохин узрел в бескровном, как амеба, персонаже трагический образ, когда увидел у себя на столе фотографию Прокина.

— Князь Мышкин, — проговорил Аким, откинувшись на спинку стула.

Вероника, принесшая фотографии из актерского отдела и занятая готовкой кофе, так и замерла, даже сделала стойку, как охотничья собака, в одной руке ложка, в другой чашка и полусогнутое над низким столиком крепкое упругое тело.

— Наш Леха — это князь Лев Николаевич Мышкин! — проговорил, уставясь в окно, Аким, и глаза его прищурились, делая взгляд прямо-таки мудрым и пророческим.

— Гениально! — выдохнула Вероника Глушкова, ничего пока еще не поняв, и выключила кипящий чайник.

— Можешь представить, что случайным выстрелом убивают князя Мышкина, добрейшего и умнейшего человека?

— Боже! — только и могла выдохнуть Вероника и схватилась за высокую грудь, под которой таилось сердце, как под курганом.

Дело в том, что молодой пасечник Леха возвращался из детского садика, порадовав малышню свежим медом, и как раз переходил шоссе, когда вдруг накатили какие-то иномарки и началась бандитская разборка. Автоматная очередь прошила грудь Лехи, не оставив никакой надежды на продолжение жизни. Так погиб невинный человек.

— Не будет никакой автоматной очереди, — наполнялся вдохновением Аким Антрохин, как шар теплым воздухом. — Будет случайная пуля. Одна пуля! И нет человека! Нет князя Мышкина с его мыслями, с его великой душой. И мы не услышали этих мыслей! Не увидели глубины его души!

Ноги не удержали Веронику, она опустилась в кресло и замерла, боясь дышать.

— Как это у тебя получается? — Вероника уставилась на своего кумира круглыми от изумления глазами. — Ты из ничего делаешь золото. Аким, ты великий режиссер. Я обожаю тебя!

Актеру Прокину было интересно слушать режиссера Антрохина, когда тот стал рассуждать о князе Мышкине, о нелепой смерти и о том, что судьба неразборчива и беспощадна к невинным созданиям природы.

Но как только начались съемки, Прокин начал приставать к режиссеру с претензиями. Ему надоело изображать на лице бескорыстную доброту, то есть глупо улыбаться.

— Что мне играть? — спрашивал он недовольным голосом. — Когда я говорю избитые истины, кто мне поверит, что я князь Мышкин? Как можно лепить Мышкина из таких фраз: «Дети, мед полезен для здоровья», «Пасека — это фабрика меда», «Без меда не может быть счастливого детства». Тьфу!

— В этом вся суть! — кричал режиссер Антрохин. — Он говорит: «Пчела — друг человека». Вроде плакатная фраза. Но как он говорит!

И режиссер начинал махать руками и корчить гримасы, как будто из этих телодвижений Прокин мог что-то для себя прояснить. Видя, что никакого Мышкина не получается, режиссер возненавидел Прокина в один миг и навсегда.

— Играй тупицу, — заявил он. — Это тебе ближе. Ты не артист! И никогда им не будешь.

На эти обидные слова Прокин ответил весьма странно, он только улыбнулся, если можно назвать улыбкой то, как он скривил губы. Ни слова не сказал, а только смотрел с усмешливой миной на лице, и Антрохин вконец возненавидел актеришку, прочитав в его глазах презрение к себе. Да и уходил Прокин с таким видом, словно сразил противника на дуэли. Дрянь! Ничтожество!

Теперь в голове режиссера металась, как мощная птица в клетке, новая идея. Из природного добряка Лехи он решил вылепить образ никчемного человека, которому и родиться-то не надо было.

— Потрясающе! — громко шептала Вероника, и сердце ее сладко замирало.

— Его убьют в бандитской разборке, даже не заметив. Никто не обратит внимания на его смерть. Вот что важно!

— И только дети будут ждать дядю с медом, — проникновенно прошептала Вероника, подхваченная вдохновением шефа, как бурным течением реки.

— Никакого меда! — завопил неистовый Антрохин. — Он не пасечник. Он никто. Он жил как тень. В его жизни ничего не происходит. Все дни похожи, как копейки друг на друга. И единственное событие — смерть.

Новая трактовка образа и послужила причиной того разговора, который случился между Антрохиным и Вероникой накануне последней съемки, после которой Прокин совершенно не будет нужен.

— Действительно, было бы идеально, если бы неудавшийся актер Прокин согласился умереть по-настоящему ради одного кадра, — шутливо говорил режиссер, поднявшись с постели и одеваясь. — Но я не смогу его убедить в том, что он и родился-то единственно для того, чтобы с пользой для кино умереть.

Вероника посмеялась его шутке. Но возникшая в голове мысль уже не могла таиться, как насиженный цыпленок, и вырывалась на волю.

— Знаешь? — сказала уже одетая Вероника, поправляя перед зеркалом густые и жесткие волосы, стриженные под котелок. — Все можно в наше время.

Режиссер раскатисто рассмеялся и отпил остывший кофе.

— Уж не собралась ли ты укокошить бедного Прокина? — спросил он и изобразил выстрел из пистолета, вытянув указательный палец.

— Место съемки вполне подходит для этого. Рядом с дорогой густой ельник. Там кто угодно может спрятаться.

— Не горячишься, Вероника?

— В группе есть человек. Рабочий. Биография та еще. Трижды сидел. Мне сказали, денег ради пойдет на все. Мать родную продаст с выгодой.

— Кто такой?

— Вот этого тебе не надо знать. И как зовут, и как фамилия. Намекает, не новичок в этом деле.

— Сам намекал?

— И это не важно. Ты думай о кино.

От неожиданного предложения женщины Антрохин почувствовал слабость в коленях, потому что хорошо знал — у Вероники с юмором плохо, зато деловая хватка безупречна. Антрохин опустился на стул и смотрел на Веронику, распахнув глаза и открыв рот. Она развела руками, повела плечом, мол, что тут такого.

— Будут греметь холостые автоматные очереди, паника, беготня, крики. Леха прячется за машиной у обочины. Так же будет? Прижимается спиной к колесу, смотрит перед собой. Крупный план. И тут из ельника одиночный винтовочный выстрел. Никто и не услышит.

Оставив в покое непокорные волосы, Вероника игриво улыбнулась, показывая тем, что ее слова можно тут же забыть. Мало ли чего говорится при обсуждении будущей съемки! Иногда такие глупости мелют творческие работники, что уши вянут. Но порой самая большая нелепость наталкивает на верное и неожиданное решение.

Эта женщина знала своего кумира. И сам кумир понимал, как она хорошо его знает. Забросила мимоходом мысль, словно камушек в чужой огород кинула, отряхнула ручки от пыли и красит губки помадой. А в голове Акима Антрохина начинает твориться черт знает что. Именно этот господин — тьфу! тьфу! тьфу! — один только и знает, какая суматоха поднялась в голове режиссера. Ему вдруг увиделся огромный зрительный зал. Он забит до отказа. Сотни людей застыли, затаив дыхание. А на огромном, как парус, экране — лицо Прокина. И люди видят, как смерть одолевает жизнь на этом лице. Неповторимый миг! Правда в ее подлинной сути! И до сознания зрителей вдруг доходит, что перед ними на самом деле умер человек, который только что был жив. Это потрясение. Такого еще не было в кино…

Но как объяснить следователям, что Прокин погиб непредвиденно? На студии был случай, когда артист во время съемки пробегал между взрывами,

подготовленными пиротехником, — имитация артиллерийского обстрела. И вдруг упал. Оказалось, что щепка от дерева угодила ему в висок острым концом. Смерть наступила моментально. Как эта щепка откололась? Поди выясни. Пиротехник, конечно, не пострадал, потому что заряды были заложены согласно всем инструкциям. Щепка, скорее всего, была в песке.

На этот раз бандиты будут стрелять холостыми. Но могла произойти ошибка, и один патрон оказался боевым? Возможно такое? Но дальше думать о последствиях Антрохин не захотел, это не творческая задача. Он так и сказал Веронике:

— Я вижу кадр. Я его сделаю. Но группа должна обеспечить возможности.

Конечно, Вероника тут же поняла, кто должен обеспечить. А то, как это обеспечение будет достигнуто, Антрохина не интересовало. Но у Вероники и мысли не было втягивать любимого человека в столь щекотливое мероприятие. Волос с его головы не должен упасть. Женщина, которая готова умереть ради своего кумира, не может его подвести.

— Ты вовремя крикни «Мотор!», — несуетливо сказала Вероника. — А уж остальное оставь мне. Я ничего не говорила, ты ничего не знаешь.

К ночи у себя в номере Аким Антрохин долго не мог уснуть, уже и капли валерьянки выпил, уже и теплый душ принял, но будто мыши скребли на сердце, отгоняя сон. Да что же это такое — творческие муки? Если бы кто знал, сколько душевных сил забирают они! Художник идет на каждодневный подвиг ради того, чтобы донести свои мысли, свои чувства, свое видение мира людям, которые в этом нуждаются, как в хлебе насущном. Недаром кто-то сказал: искусство требует жертв. Настоящий художник берет на себя такую нравственную ношу, что простому человеку непосильно. И одна ему награда — творческая удача.

При этом в голову Акиму Антрохину почему-то не приходило, что за «каторжный» труд ему кое-что и платят. О том, что жизнь Прокина чего-то стоит и самому актеру безусловно дорога, Антрохин не размышлял, потому что дело было не в этих сантиментах, а в творческом результате. Результат — вот ради чего живет художник. И важно еще, что все он делает не ради себя, а ради им боготворимого искусства.

Потом он уснул и спал крепко, без сновидений, а утром на свежую голову понял, что Вероника никогда не пойдет на такой поступок, и весь вчерашний разговор смешон, нелеп и объясним только одним — раздражением. Довел все-таки Прокин до белого каления. Этак и с ума сойти можно! Но всему есть предел.

Съемки проходили организованно, изображающие бандитов артисты разыгрались вовсю, радуясь возможности пострелять из автоматов и пистолетов. Дело дошло и до крупного плана умирающего Лехи. Прокин устроился прямо на асфальте у заднего колеса джипа и ждал, пока режиссер обратит на него внимание. Он даже сказал проходившей рядом Веронике, что уже устал сидеть. Но она не обратила на него никакого внимания.

Сегодня Вероника была удивительно собранна и спокойна. Аким Антрохин только теперь заметил, что весь день она сторонилась его, а прежде всегда была под рукой. Достаточно было ему глазом повести, как она тут же оказывалась перед ним. Он подумал, что Вероника и впрямь могла все устроить, как обещала. Еще не поздно остановить съемки. Но с другой стороны, Вероника все обдумала и уж его-то, Антрохина, по крайней мере под статью не поведет. Это исключено. Режиссер разговаривал с оператором, когда услышал недовольный голос Прокина:

— Эй, гений задрипанный, долго я буду сидеть?

Антрохин аж побледнел от ярости, чем вызвал недоумение оператора.

— Бери его крупно, — выговорил он так, словно приговор объявил.

Когда уже все было готово, когда гримерша еще раз поправила тон на лице Прокина, режиссер решительно дал отмашку:

— Мотор!

Трескотня автоматов, крики, беготня, взрыв гранаты, пламя, дым, трупы… Оператор трансфокатором с общего плана переходит на лицо Прокина. Прокин дергается в кадре от пули и умирает. Вдруг оператор отбегает от камеры, установленной на штативе, и вскрикивает испуганно:

— Он умер!

Никто ничего не понимает. Естественно умер, потому что так положено по сценарию.

— Он умер на самом деле, — прерывающимся голосом говорит оператор. — Подойдите к нему кто-нибудь. Он мертв!

И показывает обеими руками на Прокина, который весь сник, тряпично согнулся, уронив голову на грудь. Первой подбежала хлопушка и дико завизжала. Девчонка семнадцати лет испугалась так, что ее потом еле привели в чувство. Знаменитый артист, игравший главного бандита, обнял ее и стал гладить по голове. Только это помогло, потому что крошка была влюблена в этого красавца по самые уши.

Сам режиссер Аким Антрохин находился ближе всех к Прокину. И уж лучше Антрохина никто не видел, как умирал Прокин. Так сыграть не сумел бы никто. Нельзя изобразить эти судороги лицевых мышц, эту бледность… А как посинел нос, как он обострился! Это уже не игра, это правда.

Съемки были связаны с трюками, и на площадке дежурила «скорая». Подбежали врачи, обнаружили в обмякшем теле Прокина еле уловимые признаки жизни и быстренько увезли в город, во всю силу включив сирену.

В этот вечер Аким Антрохин по обыкновению постучал в номер Вероники, но никто не ответил. Куда она могла уйти? Директор фильма уехал на киностудию, чтобы доложить о случившемся, и пока не звонил. Антрохин лег в постель не раздеваясь и лежал под одним пледом, чтобы тут же вскочить и кинуться на зов, если даст о себе знать Вероника. Но телефон молчал. Куда она запропастилась? Аким Антрохин не стал запирать дверь, опасаясь, что ненароком задремлет, а Вероника не осмелится постучать. Он хотел видеть ее после всего пережитого, прижаться к ней, почувствовать, как она его любит.

Опасения оказались не напрасными, Антрохин уснул. Неведомо, сколько прошло времени. Но очнулся он, почувствовав, что кто-то на него дышит, и этот кто-то была не Вероника. Антрохин дотянулся рукой до выключателя настольной лампы и при свете увидел над собой лицо склонившегося Прокина.

— Не ори, — спокойно проговорил ночной гость, отошел назад и сел в кресло. — Значит, я не артист и никогда им не буду? А ну, говори!

Как и что случилось на съемочной площадке, Аким Антрохин так никогда и не узнает. Зачем было ему говорить? Это, в первую очередь, оказалось не в интересах Вероники, да Прокин не хотел вмешивать в эту историю третьего человека, «киллера». Пусть для всех останется так — никто никакого выстрела не готовил, а всех разыграл артист, чтобы доказать, какой он классный лицедей.

На деле киллером должен был стать помощник осветителя, который носил незатейливую фамилию — Елькин, но был действительно человеком крученой судьбы и сложного характера. Люди робели под его тяжелым взглядом, а смотрел он сумрачно, как матерый волк. И только перед Вероникой лицо его принимало умильное выражение, а глаза маслянисто блестели. Когда он приближался, мурашки начинали бегать по спине Вероники, она всем телом чувствовала его животное вожделение и прямо пугалась. Он не скрывал своей страсти и говорил прямо:

— Не трахну, помру.

Вот к этому Елькину и обратилась Вероника. Она путано — все-таки дело непривычное — толковала, что от него требуется, а он долго ничего не понимал. Тогда она объяснила без обиняков, и он ответил так же четко:

— Ноу проблем.

— А из чего это самое сделать, найдешь?

— Ноу проблем. Мое условие — до и после.

— Что до и после? — растерялась Вероника, только теперь вспомнив, что за такую услугу надо платить.

— Догадаться нетрудно, — вежливо ответил Елькин.

Пришлось пойти в лесок, благо места тут были красоты невероятной и мало обжитые. Первое условие — «до» — Вероника выполнила. Вернулись оттуда врозь, разными дорогами. Елькин тут же направился в конец деревни, где на постое жил Прокин. Елькин пришел не с пустыми руками, а с бутылкой самогона, все рассказал и предложил выпить за долгую жизнь. Но Прокин пить отказался, однако чрезвычайно обрадовался обстоятельству. Он сказал:

— Прежде разыграю этого Акима, а уж потом устроим сабантуй.

Вероника своими глазами видела, как Елькин притаился в кустах с карабином, взятым напрокат у знакомого охотника, да и потом «киллер» передал ей пустую гильзу, которую Вероника тут же выбросила в траву. Да и не могло у нее возникнуть сомнения, после того как она оказалась рядом с врачами «скорой помощи», поднимавшими на носилки тряпичное тело Прокина.

По этой причине в то самое время, когда Антрохин хлопал глазами перед Прокиным и никак не мог сообразить, снится ему кошмарный сон или впрямь пришло возмездие, Вероника пришла на условленное место, чтобы выполнить соглашение по пункту «после». Елькин молча повел ее в темноте за руку. Вероника поднялась на сеновал с Елькиным и не без охоты со своей стороны.

Ей даже не хотелось думать, почему так покорно согласилась она, уважающая себя дама, идти на какой-то сеновал с мужиком, почему весь день только и думала, как снова встретится с этим рабочим, который не моргнув глазом убил человека, пусть даже это был всего-навсего какой-то Прокин.

Потом она прямиком и поспешно побежала в гостиницу, чтобы успокоить впечатлительного Акима. Уже наверно места себе не находит. Ее удивили голоса за дверью его номера. Она осторожно приоткрыла дверь и увидела пьяных до невозможности Антрохина и Прокина. Они стояли друг против друга в полном умилении.

— Ты гений! — уверял Антрохин.

— Ты тоже ничего! — ударял кулаком в грудь режиссера Прокин. — Могешь!

Еще вчера Вероника тут же и забежала да причастилась бы к светлой водочке, а потом самозабвенно говорила бы об искусстве кино, в котором есть подлинные чародеи вроде Акима. Но сегодня ей что-то не захотелось выступать, она отступила от двери, выбежала на улицу, и понесло ее вперед, будто ветром кораблик. Вероника очень надеялась, что Елькин все еще на сеновале. Похоже, он там и ночует.

Эко он ее разыграл! Ну, погоди, пройдоха! Она пробыла с этим обманщиком до утра и проснулась с непривычной для нее мыслью, что жизнь все-таки покруче и заманчивей кино. Режиссеру Антрохину свое отсутствие Вероника объяснила тем, что ездила с директором фильма в город по поводу несчастного случая на съемочной площадке. Потом очень удивилась тому, что Прокин жив.



НИКОЛАЙ НАМЕСТНИКОВ

Криницы мама — глубина

* * *

За окнами — дожди и Покрова.
Страничка от Матфея не дочитана.
Выстукивают ходики слова:
«Не я ли, Боже?» —
и ответ Учителя.

А клены по-осеннему шумят.
А ветры по-осеннему неистовы...

...Дай руку.
Мы вступаем в листопад —
как в исповедь.

* * *

Сентябрь яблоками выспел,
потек росою по стволам.
И наступает в грешных мыслях
осенней трезвости пора.

Пора той ясности особой,
когда упруго и остро
дрожит кинжальный лист осоки,
как будто вечное перо.

И тишина кругом такая,
что слышно, как издалека
курлычет, к югу улетая,
твоя осенняя строка.

* * *

По лестнице лезешь, как в небо, —
все выше и выше,
Ногой осторожной нагретой касаешься кровли,

У самого дома на ветках качаются вишни
и брызжут в лицо забродившею солнечной кровью.

Еще две-три жменьки скворцами не склеванных ягод.
Еще две-три ветки —
и собрана летняя подать.
Ну, разве сумел бы какой-нибудь сумрачный Яхве
вот эти бездонные ведра до края наполнить?

Подпертые жердью, деревья черны и сутулы.
И руки узнали сутулости этой причину.
Дурманящим соком измазаны щеки и скулы,
а солнце смеется и жарит вспотевшую спину.

Будь здраво, светило,
за вишни в закате багряном!
И как бы отцы преподобные ни были хмуры, —
тебе лишь молюсь,
навсегда оставаясь упрямым
потомком язычников двинско-днепровской культуры.

* * *

В лесной деревушке, где майский дождь
весь день молотил о ставни,
старуха ела крапивный борщ,
над миской склоняясь устало.

Сквозняк шевелил занавесок бязь,
тени гонял по стенам.
Ела с достоинством,
не торопясь,
я бы сказал — степенно.

И, кажется,
проплывали века
в глазах ее, полных сини,
покуда ложку ко рту рука
медленно подносила.

В поле за речкой мокли грачи,
грустные,
как на постриг.
Борщ был пахучим, упрел в печи,
но абсолютно постным.

Она сидела бочком у стола,
вся скособочившись как-то,
и жижку цедила,
как годы пила,
не проливая ни капли.

И только когда рассыпался гром,
вздрагивала пугливо...
А вдоль забора —
не пропадем! —
густо росла крапива.

Криница

Усталый брех собаки тощей,
дымок вечерний.
Благочестиво стежку топчет
старик с вечерни.
С соседом на меже сойдется
у чахлой сливы.
Посмотрит —
даже у колодца
растет крапива.

Деревня тихо вымирает,
в погосты ляжет.

...Пусть нет звонницы,
но криница
всю правду скажет.

* * *

Дождь плутал и пропал в пустоте переулка.
Задымился асфальта сырой антрацит.
Мимо труб водосточных, по-майскому гулких,
к остановке трамвайной девчонка летит.

И, нагнув подбородок породистый, точно
неприметную ниточку с лацкана сдув,
ждет ее Мефистофель в крахмальной сорочке
там, где старый трамвай пьет из лужи весну.

...Ветер с мокрых каштанов срывал пирамидки
и гонял по дороге, как стайку утят.
А по городу плыли трамваи, улыбки
и бумажных корабликов штук пятьдесят...

А девчонка летела по солнечным лужам,
невесомая, словно от облака тень,
чтоб успеть не продать — подарить свою душу,
потому что — весна, потому что — сирень.

* * *

Дождями небеса просеяны,
чтобы омытые,
для всех,
запахли яблоки осенние —
на молодость,
на первый грех.

И вспыхнут клены, словно ярмарки,
когда по улице пройдет
девчонка,
что надкусит яблоко
и быстро глазками стрельнет.

Горячей бусинкой нанижется
на память добрую не вдруг.
И долго за спиною слышится
летящих каблучочков стук...

А ты, шальной, бредешь по городу,
как переходишь реку вброд.
И вспоминается про бороду,
про седину и про ребро...

* * *

Плывет сентябрь к золотому устью.
От осени трезвеет голова.
Чем старше мы —
тем горше наши чувства,
но взвешенней поступки и слова.

Не оттого ли синий холод неба,
в твоей беспечной растворясь крови,
не оставляет места в ней для гнева,
а только для надежды и любви...





ЮРИЙ ПЕЛЮШОНОК

Папа этого не заслужил

Рассказ

1

За окнами идет снег. В зимних сумерках соседние корпуса больницы едва различимы и смазаны, как будто акварельный пейзаж забыли под дождем. Хотя сравнение с акварелью не совсем удачно. Все представлено одним тоскливым тоном. Серая каляка-маляка заоконного пейзажа с косыми стенами и размытыми окнами принадлежит явно кисти детсадовца. В детском саду — какую краску дитя схватить успело, такой и малюет, пока краску не отнимут другие, им тоже хочется рисовать.

Я сижу за столом в ординаторской, передо мной — стопка историй болезней. Возле настольной лампы тепло и уютно. С утра сделав обход палат, осмотрев вновь поступивших, выписав тех, у кого сроки пребывания в терапии перевалили за двадцать один день, я свозил больного на консультацию в Онкоцентр, по возвращении исписал бесчисленное количество бумаг, так что время на истории болезней нашлось только теперь, на дежурстве.

Больница наша старая, еще царских времен. Раньше здесь была ночлежка, и бездомный люд, скоротав в ней ночь, мог с утра продолжать бродяжничать с новыми, как говорится, силами. После революции ночлежный дом был передан под больницу. И здесь появилась возможность не только провести ночь, но и бесплатно подлечиться. А в наше время, правильнее будет сказать, провести не одну, а двадцать одну койконочь. Именно такой срок, по предписанию Министерства здравоохранения, необходим терапевтическому больному, чтобы полностью выздороветь. Если же больной выздоравливает быстрее и покидает койку до положенного срока, то в конце квартала врачу и медсестрам выплачивается денежная премия за процент сэкономленных койкомест. И вот уже между отделениями идет соцсоревнование за скорейшую выписку больных, получение переходящих вымпелов и премиальных.

Сумма премиальных настолько мизерна, а запах их настолько подозрителен, что я не смог сдержать своего обычного желания поерничать и на первом же профсоюзном собрании заявил, что отказываюсь от этих денег, пусть бухгалтерия автоматически перечисляет их в фонд все равно чего, Мира, например. После собрания ко мне подошла старшая сестра второй терапии, бывшая фронтовичка, которую в больнице все уважали за прямоту. Зажав в зубах сплющенную гильзу беломорины, она сказала, щуря глаз от дыма: «Я понимаю, доктор, вам деньги в тягость, но этот почин может быть подхвачен, тогда всех обязуют сдавать премиальные в Фонд Мира, а для моих медсестричек каждая копейка — деньги». Я с ней почему-то сразу же согласился.

Для меня копейка тоже деньги. Подрабатываю где и как могу. Каждую третью ночь на «скорой помощи», плюс беру дежурства в приемном покое.

Как-то летом в период отпусков я отработал в больнице двадцать семь ночей в течение одного месяца. Так уж получилось, не хватало терапевтов. Денег мне, правда, за это не заплатили, не был оформлен на полторы ставки. Я долго не мог понять, почему говорят про полторы, когда отработал я целых три. «У нас не рабовладельческий строй, — отвечали в бухгалтерии. — Что будет, если об этом узнает профсоюз?» Насчет строя я спорить не стал, а вот лицемерная ссылка на профсоюз мне тогда не понравилась.

В пачке осталась последняя история. Я быстро заполняю в ней дневник утреннего обхода: «Жал. на боли. в верхн. /3 жив., отсут. аппет. Общее сост. уд., жив. пальп. мягкий бол. в эпигастр. Назн. леч. прод.». Складываю истории обратно в папки с номерами палат. На сегодня — все. На часах — без пяти девять, скоро придет на ночное дежурство сменный врач, а я — домой. И в этот момент раздается телефонный звонок. «Доктор, срочно подойдите, тут... в общем... сами все поймете. Восьмиместный люкс».

Восьмиместный люкс — это третья палата, лечащий врач Митрофанова. Нахожу нужную историю болезни в папке наблюдаемых больных. Читаю запись сегодняшнего осмотра, понимаю, что состояние крайне тяжелое и, вероятно, эту ночь больной не переживет. Сделаны все анализы и консультации узких специалистов, даже утренние анализы крови и мочи уже подклеены. Митрофанова — старый дипломат. На обложке истории болезни в верхнем правом углу поставлена едва заметная точка. Посторонний не обратил бы на нее внимания. И напрасно. Это условный сигнал, это предостережение, что мы имеем дело с бывшим пациентом Четвертого управления. С началом горбачевской перестройки привилегированные больницы решено было закрыть. Не все, конечно. Но некоторых партийных руководителей второго эшелона, в основном пенсионеров, передали нам. Вынужденные идти в народ, они были озлоблены и чувствовали себя преданными. От них в любой момент можно было ожидать жалоб, причем жалоб на самом высоком уровне; телефонные связи у них остались прежние.

Время моего дежурства закончилось, и можно было бы передать больного следующему дежурному врачу, но случай деликатный, боюсь, что девочка-интерн, которая должна меня сменить, здесь не справится. Я беру историю, выхожу из ординаторской. В коридоре возле третьей палаты толпятся больные — плохой знак. Рядом с койкой больного стоят две дамы, по одежде — родственницы. Как можно по одежде определить родственные связи? Да очень просто. Если кто-то в семье имеет доступ к спецраспределителю, то все члены данного клана упакованы будь-будь. Про себя отмечаю: дама, что одета в нутриевую шубу и держит шапку в руках, — поскромнее, с ней, вроде, неприятностей быть не должно. И хоть я психолог никудышный, мне кажется, что она разведена, муж ее с самого начала женился не на ней, а на сановном папе, а как достиг какого-то положения — бросил ее. Допускаю, что она — хоть слегка — познала изнанку жизни, то есть жизни большинства. Вторая дама живет с фасада. И хоть выглядит она моложе, в ней ощущаются замашки старшей сестры. Муж ее не бросил, это видно не только по обручальному кольцу, которое из-за дюжины других не сразу и определишь. Муж ее не бросил, это видно... по чем, я затрудняюсь объяснить. Скажем так, это просто видно. Одета она с размахом. В просвете полураспахнутой дубленки ворсится платье из ангоры, на голове пышная шапка из чернобурки. В самой этой зверушке заложена природная агрессивность. Помню — в краеведческом музее два экспоната: «Лисица рыжая» и тут же приписано: «обыкновенная», а рядом «Лиса чернобурая», без добавлений. «Рыжая» — жалкое существо с перебитой лапой. «Чернобурая» — стройная красавица со взглядом, устремленным вдаль, и такой гордой осанкой, как будто ей добавили лишнюю пару шейных позвонков, когда набивали чучело.

— Вы доктор? — смотрит на меня сквозь ворсинки меха дама в чернобурке.

— Да, к вашим услугам.

— Мне ни к чему ваши услуги, его лучше спасайте! — указывает дама на койку и почему-то добавляет: — Наш папа этого не заслужил!

Я склоняюсь над больным, пытаюсь нащупать пульс. Его рука холодна и безжизненна. Грудная клетка судорожно вбирает воздух. Нитевидный пульс с длительными провалами. Принимая во внимание основной диагноз, жить больному осталось от силы полчаса.

— Делайте что-нибудь! — требует Чернобурка.

В нескольких словах характеризую безнадежность состояния больного, при этом мягко намекаю на то, что покой для умирающего важнее бессмысленых и мучительных попыток реанимации.

— Делайте что-нибудь, — с металлом в голосе повторяет Чернобурка.

Мои попытки взывать к милосердию не помогают. Подаю условный знак медсестре. Та едва заметно кивает мне в ответ. Что ж, умереть спокойно этому человеку сегодня не удастся, родные не дадут.

— Принесите сфигмоманометр Рива-Ротчи, — командую я. Проще сказать: «тонометр», но не тот эффект.

Чернобурка молчит, переваривая сказанное, затем кивает головой и отходит в сторону, давая проход медсестре.

— Срочно в палату портативный кардиограф, — продолжаю я шаманить.

Снятие кардиограммы у больного особенно эффективно действует на его родственников. Это дает им ощущение того, что все средства были испробованы и при любом исходе претензий к врачу обычно не возникает. У медиков есть довольно циничная поговорка: «Больному сделали ЭКГ — не помогло».

— Может, лучше капельницу? — спрашивает медсестра. Ей не хочется без толку тащить тяжелый кардиограф.

— И капельницу тоже, — быстро отвечаю я, не дав Чернобурке взорваться.

Сестра выходит из палаты. Чернобурка провожает ее хищным взглядом, затем переводит взгляд на меня, но не найдя на мне ничего, к чему можно было бы придраться, вдруг указывает на кровать:

— Почему наш папа лежит на грязных простынях? Папа этого не заслужил!

Больничные простыни — это отдельная глава. По ним можно запросто писать летопись больницы. Стираные-перестираные, с пятнами человеческих страданий всех оттенков и мастей, они не списываются годами и продолжают служить по второму, третьему сроку. После первых стирок приобретя стабильно серый цвет, вновь выданные, — они ничем не отличаются от сданных в стирку. Палатные острословы шутят по этому поводу набившим оскомину анекдотом: «Сегодня смена белья: первый этаж меняется со вторым, третий с четвертым».

Простыня под «папой» такая старая, что уже пошла бахромой, и он напоминает папуасского вождя на погребальном ложе. Я подыскиваю слова для дипломатичного ответа, как бы это помягче объяснить Чернобурке проблему простыней. Не могу же я ей ответить, как отвечает наша сестра-хозяйка: «Нет! Не было! И не будет!» Но Чернобурке уже некогда слушать про простыни. «Немедленно звоните в реанимацию, при мне звоните!» — командует она. Любая моя попытка объяснить ей, что реанимация больному не поможет, обернется завтра таким бумерангом жалоб, что, стоя после того на коврах в различных кабинетах, мне придется долго мямлить извинения.

Мы идем с ней в ординаторскую, там по внутреннему телефону я связываюсь с реанимационным отделением и, признаться, не знаю, что говорить. На мою невнятную просьбу прийти в кардиологию посмотреть больного в коме в реанимации отвечают вопросом:

— Сколько больному лет?

Тихо как могу называю возраст.

Но хитрая Чернобурка все слышит.

— Разве возраст имеет значение? — вспыхивает она.

Прикрыв трубку рукой, я вру, что, мол, возраст важен для правильного расчета дозы препарата. В трубке тем временем слышны хлесткие удары шашек о доску, пауза, победный возглас: «Беру за фук», затем снова вопрос ко мне:

— Твой больной хаукает?

— Не понял, — смущаюсь я.

— Больной хаукает?

— Опять не понял, — прижимаю я плотнее трубку к уху.

— Ну, челюстью больной двигает?

— Да-да, двигает, — доходит до меня смысл вопроса.

— Так чего ж ты нам голову дуришь, дай человеку спокойно умереть.

В трубке короткие гудки. Несколько секунд я стою возле стола, не зная, что делать. Чернобурка смотрит на меня в упор. С серьезным видом я продолжаю держать трубку возле уха. «Да-да, понимаю, — бубню я, — да-да». В конце уточняю: «Значит, доза удваивается?» — и быстро жму на рычаг телефона.

— Мне продиктовали очень интересную схему. Пойдемте скорее, возможно, еще есть надежда.

— А сами они разве не придут? — не сводит с меня глаз Чернобурка и одновременно тянется рукой к телефону. — Дайте-ка мне трубку.

— Сами они заняты реанимацией какого-то пострадавшего в стычке с хулиганами милицейского начальника, важна каждая секунда, — бормочу я явную ахинею, при этом двигаюсь в сторону от телефона, стараясь увлечь Чернобурку за собой. Тактика птицы, уводящей хищника от гнезда.

— Они обещали прийти, как только закончат, — продолжаю я врать. И вдруг по-пионерски добавляю: — Честное слово.

— Если с папой что-нибудь случится, я переверну всю вашу больницу! — Чернобурка движется вслед за мной.

Мы возвращаемся в палату. «Папа» лежит спокойно и уже не двигает челюстью. «Не хаукает», — отмечаю я про себя только что усвоенный симптом.

В течение последующих тридцати минут мы с сестрой снимаем ЭКГ, ставим капельницу. Работаем по системе Станиславского, то есть сами верим в успех.

Сегодня со мной по кардиологии дежурит Валентина, медсестра во всегда накрахмаленном до хруста белом халате и элегантно подколотой «невидимками» миниатюрной шапочке, каких в больнице не выдают. Если бы мне нужно было нарисовать агитплакат: «Ты записался донором?!», я выбрал бы Валентину. Со своей внешностью она запросто могла бы быть эмблемой всего нашего бесплатного здравоохранения. Кроме огромного опыта работы она обладает еще и приобретенным на практике бесценным чутьем, чего следует опасаться, а что можно проигнорировать. И хоть лишнего она не сделает, мне всегда дежурится спокойнее, когда она рядом.

После безуспешных попыток заставить «папу» дышать решаемся, наконец, сказать родственникам правду. «Больной в состоянии клинической смерти», — сообщаю я, хотя клиническая уже давно перешла в биологическую. Как ни странно, но слово «смерть» не вызывает у родственников каких-либо эмоций. Фраза: «Кое-кто за это ответит», — единственная реакция Чернобурки. Дама в нутрии, всхлипнув, принимается чистить папину тумбочку. Молча и даже как бы торжественно она вынимает продукты и складывает их в сумку. Мне, признаться, непонятно, за что «кое-кто» должен отвечать, если старик-сердечник, перенесший несколько инфарктов, умер своей смертью.

В палату, прихрамывая, заходит санитарка тетя Зина. Невысокого роста, плотно сбитая, крепкая старуха, она туговата на ухо и поэтому говорит довольно громко. Как жнея в поле, выпрямившись, чтобы разогнуть уставшую спину, она обращается сразу ко всем, подперев руками бока:

— Ну-у! Куды его!? В клизьменную!?

В ее вопросе содержится уже и ответ. На секунду становится тихо. Так тихо, что слышно, как тетя Зина закатывает рукава халата. На кистях ее рук синеют старые наколки: на левой — «Шестой Гвардейский», на правой — полукруг солнца с надписью «Север».

— Что значит в клизменную? — делает большие глаза Чернобурка.

Я не даю трагедии разыграться:

— Дело в том, что наличие морга на территории больницы плохо действует на пациентов, поэтому решением горздравотдела создано единое, так сказать, учреждение данного типа на базе клинической больницы на краю города. Оттуда приезжает специальная машина и забирает умершего для, — слово «вскрытие» я произносить не хочу и стараюсь найти ему замену, — для дальнейшего... для дальнейших... — мысли мои путаются, а подходящее слово никак на ум не приходит, — в общем, сами понимаете, — делаю я неопределенный жест рукой.

— Что значит в клизменную? — повторяет Чернобурка. — Наш папа!..

— Понимаю! — перехватываю я иниациативу. — Ваш папа этого не заслужил! Но клизменная — это на самом деле не такая уж и клизменная. Под неблагозвучным названием скрывается обыкновенная процедурная. В ней, правда, иногда ставят эти... ну, клизмы, но, уверяю вас, редко.

— Очень редко, — приходит мне на помощь медсестра и с выражением скорби на лице кивает в такт словам.

— Вот видите, — указываю я на сестру, — редко.

Чернобурка молчит, лишь грудь ее вздымается от возмущения. Но проходит минута, и она понемногу начинает успокаиваться.

— Редко, да метко, — вдруг вставляет тетя Зина.

Вот уж от кого не ожидал...

В глазах у Чернобурки моментально вспыхивает потушенный мною было с таким трудом огонь:

— Я вам такую жалобу накатаю — сами в клизменной ляжете! Наш папа заслужил, чтобы лежать спокойно в этой кровати, пока его не заберут!

— Так куды его!? — снова кричит тетя Зина.

Через открытую дверь в палату уже пропихивают металлическую каталку.

— Поймите нас правильно, — говорю я елейным голосом. — Папа в палате не один, и пока он тут лежит, остальные больные не могут занять своих коек. Они и так весь вечер ожидают в коридоре.

— Это не моя проблема, — отвечает Чернобурка. — Когда папу заберет машина, пусть тогда и заходят.

«Когда папу заберет машина» — неплохо сказано. В этой семье, привыкшей к безотказной всегда готовой служебной машине, никак не могут понять, что машина, которую я имею в виду, может приехать только к утру, а может вообще не приехать. Все зависит от настроения санитаров и количества выпитого ими в рейсе «бармалея».

Внезапно грохот падения металлической каталки прерывает мои мысли. Пришедший из самовольной отлучки в город больной Филимонов, опрокинув неожиданное препятствие, стоит у входа в палату, озирается и пытается сориентироваться. Филимонов сильно пьян. Пробует перебраться через упавшую каталку. Лезет неуклюже, как собака по забору. Хватаясь за кровати, он

добирается до середины палаты. Останавливается. Его определенно поражает количество белых халатов и незнакомых людей вокруг. Он думал прийти незамеченным, а тут «такия манцы». Решив, что это, должно быть, миражи, он пробует пройти сквозь даму в нутрии, но отшатнувшись от ее взгляда, теряет равновесие и летит через спинку кровати на койку рядом с «папой».

— А ну вас усех к матери... — дальнейшие слова Филимонова растворяются в густом храпе.

«Это подарок судьбы», — мелькает в голове мысль, и я тут же обращаюсь к Чернобурке:

— Решайте: или оставляем вашего папу здесь в компании с... — я киваю на Филимонова, который, чмокая губами во сне, положил уже случайно руку на «папу», — или перевозим вашего папу в процедурную.

— Какая мерзость, — брезгливо морщится Чернобурка. — Это что, лечебное учреждение или горьковская ночлежка?

Хочу сказать, что это и то и другое, но получается несколько иначе:

— Конечно неприятно, — качаю я головой, — что рядом с койкой вашего папы находится койка Филимонова, но что я могу поделать, если закреплена она за ним по Конституции. Каждый в нашей стране имеет право на бесплатное здравоохранение. А выписать Филимонова за нарушение больничного режима я могу только с утра. Ну, не драться же мне с ним сейчас.

В голове у Чернобурки, видимо, встает картина драки врача с пьяным Филимоновым на соседней с папой койке. Это делает ее сговорчивее.

— Ну что?! Грузить — и в клизьменную!? — подводит итог дебатам тетя Зина.

Я молча сматываю провода честно отслужившего кардиографа. Забрав капельницу, из палаты выходит Валентина, за ней Чернобурка, и замыкает шествие дама в нутрии с раздутой сумкой в руке.

— Принесла их нелегкая, — смотрит им вслед тетя Зина. — Неделю к больному ни одна зараза не появлялась. А теперь: папа не заслужил того, папа не заслужил этого. Тьфу! — плюет она на пол.

— Тетя Зина, не разводите антисанитарию.

— Ладно, подотру, — машет она рукой.

Упаковав кардиограф, я иду вслед за всеми в ординаторскую. Нужно написать постмортальный диагноз.

В ординаторской Валентина пытается дозвониться до морга. Чернобурка с дамой в нутрии сидят рядышком на диване и о чем-то спокойно беседуют. Слово «дача» несколько раз проскакивает в их диалоге. Стараясь не обращать на себя внимания, я, как вышколенный официант в хорошем ресторане, деловито и быстро собираю нужные бумаги. Сажусь к столу, раскрываю историю болезни, на минуту задумываюсь, как лучше сформулировать диагноз. Конечно, хорошо бы позвонить Митрофановой и спросить диагноз у нее. Но Митрофановой сегодня не окажется дома, это железно, а завтра на пятиминутке она с большими от удивления глазами будет слушать «новость», что ее больной умер. Мне таких глаз никогда не сделать.

Тем временем Валентине удается дозвониться, она пытается что-то говорить, затем со словами «какая-то ахинея» протягивает мне трубку.

— Сколько у вас тел? — хрипит трубка.

— Одно, — отвечаю.

— Мы за одним не поедем.

— А где ж я вам еще возьму?

— Мы за одним не поедем. Нужно два.

— Необходимо еще одно мертвое тело, — поворачиваюсь я к Валентине.

— Что значит еще одно тело? — поднимается с места Чернобурка. — Наш папа...

— Не заслужил, — вторит ей встрепенувшаяся дама в нутрии.

— Наш папа заслужил, чтобы его провожали в последний путь на артиллерийском лафете, — Чернобурка медленно движется через ординаторскую по направлению к столу. — По крайней мере, должна быть выделена специальная машина! — чеканит она каждое слово, постепенно повышая голос. — Машина, которая повезет его одного. Я вам повторяю: одного! А не в компании с каким-нибудь мертвым алкашом!

Подойдя вплотную к столу, она вырывает у меня трубку.

— Алло! Вы что, не понимаете, кто умер?! Ветеран партии умер!

Секунду спустя:

— Куда пошла?

— Куда-куда пошла? — переспрашивает она, оседая на стул.

— Какие подонки! — роняет она трубку.

Набрав в легкие побольше воздуха, для этого даже привстав со стула, она начинает кричать, что папа всю жизнь положил за таких вот «подонков», чтобы они могли спокойно трудиться, лечиться, ездить в санатории, летать в космос! При этом она почему-то грозит мне кулаком: «Я их дождусь, я их принципиально дождусь. Где у вас комната ожидания?»

Комнаты ожидания у нас нет, и посетители обычно ждут или на улице, или на лестничной клетке. Но в случае с «папиными» родственниками это лишний повод для жалоб, и я оставляю их на время в ординаторской. Нужно срочно что-то решать с транспортировкой тела. Но как и чем заманить санитаров? В голове мелькает сотня планов, и вдруг один из них, отделившись от остальных, сначала показавшись мне несерьезным, созревает и становится единственно возможным.

Мы выходим с Валентиной из ординаторской и быстро идем по коридору в сестринскую, где есть другой телефон. Вкратце объясняю ей свой план: мы позвоним санитарам, что, мол, в соседней с нами Второй клинической имеется пара покойников. За двумя санитары уж точно поедут, а так как мы у них на пути, то вначале заскочат к нам, а после того, как заберут у нас «папу», мы им и скажем, что нам только что звонили из Второй, просили к ним не приезжать, ошибка, мол, перепутали. Санитарам ничего не останется, как с «нашим папой» вернуться в морг.

В сестринской, набрав номер морга, я говорю голосом Деда Мороза на утреннике в доме управления. Мне почему-то кажется, что старый санитар должен говорить именно так:

— Кхе, кхе. Это морг? Это из Второй больницы вас беспокоют. У нас тут два тела мертвые, хорошо б забрать.

— Вторая клиническая? — переспрашивают. — Два покойника?

— Вроде два, — бубню я, — мое дело маленькое.

— Ладно, приедем, только сначала в Третью заскочим, это по пути. Там у них какой-то начальник зажмурился. В общем, готовь, дед, спирт.

— Спирту нальем, это как положено, — кладу я трубку.

— Ну что? — спрашивает сестра.

— Только что вам был предложен отрывок из бессмертной пьесы «Мертвые души» в современной обработке. Считайте, что «папа» уж в морге.

Валентина качает головой:

— Вы, доктор, не туда учиться пошли.

Театрально кланяюсь. Не догадываюсь, что события этого вечера еще ой как далеки от развязки.

2

В ожидании санитаров я продолжаю оставаться в отделении в качестве дежурного врача. Пришедшую меня сменить девочку-интерна я прячу этажом ниже в ординаторской пульмонологии. Она понимает, что ей лучше не показываться, пока «папу» не заберут.

Моей штабквартирой на время становится сестринская. Раз за разом я захожу туда, заполняю результаты обхода наблюдаемых больных, делаю записи в листках назначений. Не знаю, по какой причине, но под наблюдение дежурного врача оставлена сегодня больная Сироткина.

Ветеран всех терапевтических отделений Сироткина в течение нескольких лет регулярно лечится в нашей больнице. В начале каждого года она появляется в кардиологии, через четыре месяца ее можно встретить в гастроэнтерологии, осенью — в пульмонологии, в следующем году круг повторяется снова. Определенного диагноза у Сироткиной нет. Вернее, он есть, но это как раз тот диагноз, который ставится в случаях, когда врачу диагноз не ясен. «Нейроциркуляторная дистония» — тому название. Может, нервишки пошаливают, а может, что-то серьезное, но пока невидимое. В зависимости от того, кто из врачей в последний раз консультировал больную, диагноз может быть слегка изменен. Если запись делал терапевт, то слово «нейро» заменяется на «вегето», зато пренебрежительно написанному невропатологом слову «циркуляторная» возвращается его исконный смысл «сосудистая»; емкое слово «дистония» остается без изменений. К тому же у терапевта, в отличие от невропатолога, всегда имеется под рукой тонометр, и после измерения давления к диагнозу гордо добавляется еще и тип дистонии. В результате конечный диагноз Сироткиной звучит так: «Вегетососудистая дистония по гипотоническому типу». Узкие специалисты ничего к диагнозу добавить не могут и дипломатично пишут: «НЦД». Лаборатория ни в одном из анализов отклонений не находит. Что же касается рентгена, который для того и существует, чтобы позволить своими глазами увидеть то, что от глаз скрыто, в случае с Сироткиной и здесь прокол. «Видимой патологии не обнаружено», — пишет рентгенолог. Запись восхищает своей юридической неуязвимостью. В ней и оттенок исследования, и вывод, не грозящий никакими последствиями.

Я смотрю на Сироткину, она заметно похудела за то время, что отсутствовала в больнице. И хоть вчера после обхода доцент Волков сказал: «Да она здоровее нас всех», — она определенно не симулянт. А с чего б ей быть? В армию ей идти не надо. Да и по внешнему виду ясно, что она страдает. Высохшая, нервная, по ночам не спит, ходит по отделению, хотя психических отклонений не обнаружено. Листаю историю болезни. Диагноза как не было, так и нет: «Вегетососудистая...» и т. д. Воистину счастлив тот больной, у которого есть диагноз. Измерив давление и дописав в листке назначений снотворное, я возвращаюсь в сестринскую.

Возле дверей меня встречает Валентина. Она передает требование Чернобурки выдать на руки «папину» историю болезни. Ей хочется убедиться, все ли в порядке и не было ли какого вредительства.

— Пусть убедится, — разрешаю я выдать историю. — Хоть занятие у человека появится, поищет знакомые буквы.

В криминалистике есть такое понятие: когда надписи нельзя разобрать, это называется «врачебный почерк». В истории болезни «папы» как минимум с десяток его образцов, и ни один не читаем. Люди, далекие от медицины, легче поймут египетские иероглифы, чем надписи на кипе желтых, склеенных между собой без всякой, на посторонний взгляд, последовательности листов.

— Кроме того, нужно срочно чтото решать с санитарами, — продолжает Валентина, — не могут же «папины» родственницы вечно сидеть в ординаторской. Сейчас им историю подавай, через час они захотят позвонить министру здравоохранения...

— А ты незаметно отключи телефон, — советую я.

— Доктор, — серьезно говорит Валентина, — я одна долго с ними не продержусь, да и вам рано или поздно придется возвращаться в ординаторскую. Позвоним санитарам еще раз. Только сейчас я буду с ними разговаривать, — предупреждает она.

Не знаю, что в данном случае сказала бы железная леди Маргарет Тэтчер. Валентина, набрав номер морга, с английской лаконичностью произносит: «Ты, ханыга, собираешься из Третьей тело забирать, или мне патрульно-милицейскую машину просить!?»

Выслушав ответ и положив трубку, она многозначительно смотрит на меня:

— Они поехали сначала во Вторую, им там кто-то спирт пообещал.

— Вот заразы, — отвечаю и ничего добавить не могу. Никак не научусь я с этим контингентом разговаривать. Строят из себя невесть что, как будто мы не общее дело делаем. Ладно, подождем.

Валентина передает мне историю болезни Филимонова. Пока есть время, нужно оформить выписку за нарушение больничного режима.

— Завтра как раз двадцать первый день будет, это он дембель отмечал, пьянь гидролизная, — фыркает Валентина.

Открываю первую страницу. «Поступил с жалобами на затрудненное дыхание...» Припоминаю, я в тот вечер дежурил по приемному отделению. Свой недуг он описывал мне как «что-то свища в грудях». Листаю историю. Двадцать дней прошло. В последнем дневнике рукой лечащего врача записано: «Жалоб нет».

Эх, Филимонов, Филимонов, бедная твоя жена. Встретил ее как-то на лестничной клетке. Стоит истуканчиком, нос длинный, глаза в кучку, маленькая, худенькая, смахивает на пингвина. Но не на того, антарктического, откормленного, в блестящем черном фраке, мешающего своим нахальным любопытством работе полярников, а того голодного, уже безучастного ко всему, который сидит за решеткой в секции «яйцекладущие». Хоть яиц в неволе не кладет. Да и пингвином это замурзанное существо можно назвать с большим трудом. Вместо белой манишки на худом грязно-желтом пузе, которое не следует путать с брюшком, топорщатся слипшиеся перья. В глазах застывшая воронья просьба. Часами, забыв про корыто с водой, имитирующее ледяной антарктический прибой, смотрит на посетителей такое яйцекладущее в надежде получить кусочек булки, которую бросать ему опять же низя-а-а.

«Вы уж подольше подержите моего Филимонова, докторчик, подольше его не выпускайте», — говорила она мне. То же самое она повторяла любому, проходившему мимо в белом халате.

На последней странице истории болезни Филимонова я ставлю дату выписки. Кто бы подсказал мне сейчас, что делать? Выписать его за нарушение больничного режима — это значит, что ему не оплатят бюллютень. Но и не выписать тоже нельзя. Ладно, возьму грех на душу.

— Знаешь, Валя, нет во мне характера, — говорю сестре. — Напишу, что Филимонов отсутствовал вечером в отделении, а про то, что пьяный пришел, упоминать не буду.

Валентина смотрит в окно. Молчит. Даже со спины я могу разглядеть ее презрительную мину. Проходит минута. Она меняет тему:

— Вот я все думаю, догадаются они своего «папу» на личной машине перевезти или нет. Она ведь здесь, под окнами во дворе.

— Десять к одному, что не догадаются, — отрываюсь я от истории. — А даже если и догадаются, то я не позволю, мы же все-таки лечебное учреждение и должны обеспечить своих покойников транспортом. Однако, чего так долго санитары не едут, — начинаю я нервничать.

3

Санитары появляются внезапно, как привидения. Возникнув из ничего, из теней, из полумрака в конце коридора, злые и хищные, как только что расконвоированные урки, задевая по дороге нянечек и сестер, они идут к ординаторской. Я встречаю их на полпути.

— Фуфырь спирта готовь, командир, — сразу же звучит ультиматум.

Подойдя вплотную ко мне, они ощупывают меня бегающими глазами. Ясно, что без «фуфыря» они просто развернутся и уйдут. И наплевать им на то, что здесь произойдет. Конечно, с утра наш главврач свяжется с моргом, их, возможно, пожурят, машина снова приедет, «папу» заберут, но до этого будет скандал, и крайним в этом скандале буду я.

Мы стоим посреди коридора, тускло освещенного настольными лампами на сестринских постах. Две-три нянечки, замерев у стен, с пугливым любопытством наблюдают за развитием событий. Из клизменной в ожидании «боя быков» вышла тетя Зина.

— Тетя Зина, выручайте, — обращаюсь я к ней, зная, что у нее всегда имеется в запасе бутылка спирта.

— Чего? — переспрашивает глуховатая тетя Зина, но тут же уловив, о чем идет речь, делает характерный жест, ударяя одной рукой по локтевому сгибу другой.

— А во им!

На мгновение она замирает, будто отлитая из бронзы. Сжатый кулак устремлен вверх.

Какая монументальность, невольно отмечаю я. Это фигура, которой веришь сразу, как веришь сразу исполинской статуе Свободы в Нью-Йорке. «Свобода!» — говорит она. И ты понимаешь, что в Америке, судя по размерам статуи, со свободой все должно быть о’кей.

Еще одна женщина-монумент, которой веришь сразу, — это тетя Зина. И я верю: спирта не будет.

Из дверей ординаторской появляется пушистая шапка из чернобурки. Окинув взглядом санитаров и встретившись с их волчьими глазами, шапка, моментально оценив ситуацию, не выходя из-за двери, обращается ко мне:

— Что происходит?

— Вот, товарищи из морга приехали, тело забрать, — указываю я на санитаров.

Сейчас Чернобурка должна такое устроить... Сейчас такое начнется... Весь вечер она копила на них злобу. Но происходит то, чего я никак не мог предположить. Умная Чернобурка набрасывается не на санитаров, а на меня, мгновенно переадресовав свой гнев.

— Почему вы бездельничаете? Немедленно организуйте транспортировку тела. Ишь, стоит, как истукан, — кивает она в мою сторону, как бы ища поддержки у санитаров.

Санитары, окончательно обнаглев, начинают открыто требовать спирт. При этом спекулируют тем, что лифт не работает, а им «облом» тащить тело с третьего этажа вниз по ступенькам.

— Обеспечьте же народ спиртом! — выходит из себя Чернобурка. Я, признаться, сбит с толку таким мощным альянсом партии с народом и несколько секунд ничего не могу сообразить. Но срабатывает защитная реакция, и, довольно быстро оценив ситуацию и возможные последствия, делаю знак санитарам, чтобы следовали за мной. Сам иду по коридору к выходу и, признаться, еще не знаю, куда их поведу и где достану спирт. Одно я знаю твердо: из отделения их нужно уводить. На лестничной клетке говорю им, чтобы спускались к машине и ждали там.

— Спирт будет, я обещаю.

— И чтоб полный фуфырь, — уточняет один.

— И чтоб не метиловый, — с подозрением смотрит другой.

— Заказ принят, — пропускаю я их вперед и спускаюсь вслед по лестнице.

На улице санитары сразу же залезают в машину погреться. Я направляюсь к хирургическому корпусу, но, пройдя несколько метров, понимаю, что уже поздно, хирурги давно спят. Спят, между прочим, с сестрами. При такой жизни разве может быть лишний спирт? А вот терапевты с сестрами не спят, желчно смотрю я на темные окна хирургического корпуса. Это здание построено недавно, но и новым его не назовешь. Архитектор спланировал и привязал его к местности в полной гармонии со столетней ночлежкой, не нарушая, так сказать, исторически сложившегося ансамбля. Нужно отдать должное архитектору, сумел он уловить дух той эпохи, и после того, как ночлежку и новый хирургический корпус покрасили одним цветом, оба здания стали неразличимы.

Тем временем мороз дает о себе знать, и я потихоньку начинаю мерзнуть в своем белом халатике. Смотрю на небо, как бы ища совета. Надо мной одиноким фонарем горит луна. Тускло, из-за городских огней, светят звезды. Отчетливо виден лишь Марс. Марс — плохой советчик. Человеку, худо-бедно зарабатывающему себе на хлеб, лучше Марс не тревожить. Он озаряет своими лучами глобальные перемены, и не в лучшую сторону. Я возвращаюсь на Землю. Остается последняя надежда. Далеко в морозном воздухе мерцают огни гастроэнтерологии. Расположено это отделение в покосившемся от старости не то трех не то четырехэтажном здании. До революции там была ямщицкая. Расстояние до нее от ночлежки, то есть терапевтического корпуса, — метров триста. «И почему сразу нельзя было сделать ночлежку и ямщицкую в одном месте? Развели классовое общество», — проклинаю я царские порядки. Быстро иду к гастроэнтерологии. Путь мой не освещен, и ориентироваться приходится на свет окон. А если бродячие собаки нападут? Кричи не кричи, никто не услышит.

Привлекаемые запахом продуктов, которые больные хранят в торбах за окнами, одичавшие собаки уже не первый месяц рыскают по территории больницы. Иногда от сильного ветра торбы падают, и тогда под окнами начинается вурдалачий пир с урчанием, грызней и прочими звуками, от которых у больных пропадает вера в благоприятный исход лечения. Если собакам ничего не перепадает, то они воют от голода. В любом случае их постоянное присутствие ощущается. Казалось бы, в центре города, на территории больницы, собаки должны вести себя цивилизованнее, это ж не хутор в степи.

«В случае чего — брошу им халат, пусть рвут, а сам на дерево залезу», — прикидываю я возможные варианты.

От дерева до дерева короткими перебежками добираюсь до входа в гастроэнтерологию. Дверь, естественно, закрыта. «Идиот! — кляну себя. — Нужно было вначале позвонить!» Но с другой стороны, кто это даст спирт по телефону, вообще тогда двери не откроют, а так хоть не знают, зачем пришел. Я изо всех сил барабаню в дверь. Минут через пять слышно, как гремит

чугунный, прошлого века засов с литой надписью. На пороге появляются сразу две медсестры.

— Ой, какие люди! И без охраны, — встречают они меня затасканной фразой.

— Без охраны, девочки, пока без охраны, — стряхиваю я с себя снег в коридорчике, — и чтобы дальше жить без охраны, есть у меня к вам просьба, дайте двести граммов спирта.

Сестры с изумлением переглядываются. Но проходит секунда, а вместе с ней изумление, не век же ему длиться, и они приглашают меня в процедурную. Там одна из сестер быстро достает три мензурки, другая, исчезнув на секунду, возвращается с бутылкой спирта.

— А вы, доктор, все скромника изображали, — говорит она, ножницами поддевая алюминиевую пробку.

— Не надо открывать! — останавливаю я ее. — Мне с собой.

— На вынос не даем, — подмигивает она мне, — у нас тут правила, как на конфетной фабрике, здесь — сколько влезет, а с собой — низя-а-а.

Ну что тут скажешь. Завтра на пятиминутке у главврача меня зарежут тупым скальпелем. Зарежут показательно за то, что на нашу безупречную больницу повесил жалобу. Объяснять сейчас сестрам, что больнице грозит жалоба, бесполезно. Сестры — это пролетариат здравоохранения, которому нечего терять. Жалобы на высочайшем уровне на них редко отражаются. Страдают главврач, начмед, рикошетом перепадает докторам. Объявляются выговоры, понижения в должностях, задержка категорий, снятие мифических тринадцатых зарплат. А что можно снять с медсестры? Вот так спросили бы известное своими специфическими остротами армянское радио: «Что можно снять с медсестры?» Даю сто процентов, прозвучал бы ответ: «Бэлы халат».

Я с деланым безразличием сижу в процедурной, мысль же моя лихорадочно ищет слабые точки в душах сестер, на что бы надавить. Взывать к их гордости и чувству патриотизма за нашу больницу бесполезно. Помню, как на общем собрании пожилая сестра взяла слово: «Я не знаю, есть ли в Союзе приличные больницы?» Затем, испугавшись своего откровения, добавила: «Наверное, есть». И тут же брякнула: «Но я их не видела». И уже громко, ничего не боясь: «Может, в клинике Федорова и покупают скаковых лошадей и всей больницей на них ездиют, а в нашей больнице мы сами, как кони, хуже коней, возим на себе больных, бо вторую неделю лифт не работает». Эта ее несколько сумбурная речь вызвала тогда у медсестер полное понимание.

Стоп. Мне кажется, я нашел точку. Я знаю, на что давить. Бесполезно говорить сестрам про больницу и про все наше здравоохранение, но есть у них в душах сострадание к больным и немощным. Из-за этого необъяснимого донкихотского сострадания не бросили они до сих пор работу. Хотя, с другой стороны, брось они сегодня работу, завтра куда идти? На ткацкую фабрику разве. Но будем все-таки надеяться на сострадание, которого так много в женском сердце.

С жестикуляцией и мимикой, напоминая пострадавшего от большевиков казачьего атамана Бурнаша из второй серии «Неуловимых мстителей», я принимаюсь красочно описывать им ужасы своего положения. Но, в отличие от Бурнаша, который начал свой рассказ словами: «Это было в степях Херсона, наш отряд сражался с красными...» — я начинаю с описания ситуации в кардиологии, по ходу приплетаю недавние постановления горздравотдела «О предотвращении жалоб в лечебных учреждениях» и подвожу все к тому, что если мне сегодня не удастся погасить конфликт, то завтра утром меня повесят у входа в административный корпус. Кажется, сестры меня понимают. А я все сильнее и сильнее давлю на сострадание и заканчиваю речь призывом-

мольбой: «Девочки, не дайте врачу погибнуть!» («От рук большевиков», — добавил бы дядька Бурнаш.)

В процедурной повисает пауза. Слышно, как из крана капает вода. И тишина...

— Хватит им и полбутылки, — нарушает, наконец, молчание одна из сестер и быстро переливает часть спирта в пустую емкость из-под фурацилина.

— Они просили полную, — умоляюще смотрю я на нее.

— Все будет, как в аптеке, — доливает она на глаз воды из крана.

— Но крепость будет не та, — пробую протестовать я, — не будет той горечи, что ли.

— Горечь будет, — вторая сестра подходит к шкафчику с лекарствами и, достав из оранжевой пачки две таблетки трихопола, бросает их в бутылку.

4

Как первоклассник, несущий домой отличную отметку, бегу я обратно к терапевтическому корпусу, прижимая драгоценную бутылку к груди. Как мало нужно человеку для счастья. Обеспечить народ спиртом, а партию транспортом. Поравнявшись с санитарной машиной, стучу в запотевшее стекло. Окно рывками ползет вниз.

— Где тебя носило, начальник?! У нас тут бензин почти на нуле. Ну что, принес?

— Да, но только сначала перенесите тело.

— Давай сюда бутылку, — высовывается из окна рука, — не боись, не в исполкоме, не обманут.

Я передаю им бутылку. Санитары глушат мотор, вылезают из машины и идут за мной в корпус. Мы быстро поднимаемся по лестницам, идем по коридору. У входа в клизменную прошу их подождать. В клизменной обычно проводит свободное время тетя Зина. Это ее негласный кабинет. Открываю дверь, тетя Зина сидит на кушетке и вяжет чулок, рядом с ней в такт спицам весело подпрыгивает клубок ниток.

— Готовьте тело к выносу, — говорю, — только тихо, чтобы родственники не услышали, а то вдруг уронят «папу» по дороге.

— А все готово, — постукивает спицами тетя Зина, — вот он: укрытый, на носилках, бери и ступай. Только, как погрузите, не забудьте простыню вернуть. Мне ее в стирку надо.

Про стирку по всему больничному городку уже не один месяц анекдоты ходят. Стирка в больнице производится порошком индийского производства. Он не пенится, не мылится и даже не растворяется в воде. Когда его засыпают в машину, он песком оседает на дно. После каждой стирки его можно собирать нетронутым и, подсушив, использовать снова. Сотни тысяч тонн этого магического средства были удачно закуплены Внешторгом в дружественной Индии. Несмотря на красивую упаковку, потребитель покупать этот стиральный порошок отказывается, и, чтобы добро не пропадало, его распределяют по больницам.

— Так куда вы хотите деть простыню? — переспрашиваю я тетю Зину.

— В стирку, — поддевает она спицей петлю.

— Зачем в стирку? Так выдавайте.

Тетя Зина на секунду отрывается от вязания, смотрит на меня, затем, оценив шутку, начинает трястись всем телом от беззвучного смеха.

— Ой, доктор... Ой, доктор... Вы прямо юмарыст...

Я приглашаю санитаров. Они неторопливо заходят в клизменную, долго осматриваются, медлят, приноравливаются и, явно переигрывая, поднимают носилки.

— Тяжелый, гад! — выпучив глаза, кряхтит один из них. — Хорошо б добавить спиртику.

— За что?! — не выдерживаю я.

— За лишний вес.

— Здесь не багажное отделение. Доплаты не будет. И давайте побыстрее, пока родственники не устроили скандал.

— Скандал — это твои проблемы, командир, — огрызаются санитары но носилки выносят.

Ну вот и все. Через пару минут можно будет сказать дамам, что их папа в машине. Они, естественно, пойдут проверять, похожа ли она на артиллерийский лафет, но это уже не по нашей части. Тело сдано с рук на руки. Я смотрю на часы и про себя отмечаю, что уже три часа как должен быть дома, а завтра рано вставать, длинный день, плюс ночное дежурство на «скорой». И в этот момент во всем отделении гаснет свет.

— Напилися чаю, — слышен из темноты голос тети Зины.

Я ощупью выбираюсь из клизменной. Все понятно, больные опять пережгли своими кипятильниками пробки. Такое случается довольно часто, когда после отбоя во всех палатах начинается подпольное кипячение чая. Кипятильники в палатах иметь запрещено, и больные используют для этой цели бритвенные лезвия. Соединив их вместе через прокладку из спичек и протянув отдельно от каждого лезвия провод к розетке, больные таким образом ухитряются нагревать воду. Рацион больничного питания, принятый еще вместе со сталинской Конституцией, с годами почти не изменился, и больной люд по возможности кормится сам, не ожидая милостей от тощей больничной кухни. Все бы ничего, но самодельные кипятильники от соприкосновения со стенками железных кружек часто дают замыкания.

Единая для всех, как говорят цыгане, «казенных домов» тюремно-больнично-армейская кружка была принята на вооружение еще в начале прошлого века, намного опередив сталинский больничный рацион. Опередила она также изобретение самодельных электрокипятильников. Для своей эпохи кружка была хороша, теперь же, как пишут в газетах о таких вещах, «время настоятельно диктует им замену». Но где найти замену, об этом никогда в газетах не пишут. Что же до казенных кружек, то всем ясно: если сегодня остановить их производство, то завтра доброй половине населения не из чего будет пить. К тому же не следует забывать, что производство казенных кружек отлажено годами, находится в ведении самих же казенных домов и государству почти ничего не стоит. Выпускаемое количество более или менее покрывает спрос, хотя качество, особенно в последнее время, явно упало. Не знаю, как при царе, но эмаль на современных кружках легко откалывается, создавая угрозу замыкания. По этому поводу я и высказался как-то на расширенном совещании у главврача, призывая найти замену опасным кружкам.

Учитывая то, что на днях в стране была объявлена гласность, собрание тут же зашумело. Заговорили все и сразу. Казенные кружки стали последней каплей, переполнившей чашу врачебного терпения.

— Мы отказываемся оперировать тупыми скальпелями, — гудели хирурги. — Если нельзя обеспечить персонал острым инструментарием, пригласите точильщика с педальным точилом, наконец.

— Скоро со строек алебастр начнем таскать, — жаловались на частое отсутствие гипса травматологи.

— Лекарств нет, — возмущалось ожоговое отделение, — смазываем больных постным маслом.

— Мы своих уже давно добрым словом лечим, — скромно им в ответ улыбались терапевты.

— Товарищи! — резко встал со своего места парторг больницы. — Кому не ясно положение в стране?

В комнате мгновенно стало тихо. Прослыть политически неграмотным никому не хотелось. Политически неграмотные посылались от больницы на политучебу. А кому охота таскаться по вечерам после работы в библиотеку партшколы, писать рефераты по трудам Маркса или, еще хуже — Энгельса, который дня в жизни не работал и, совсем одурев от безделья, умствуя по поводу и без, решил, что труд создал человека.

Совещание у главврача закончилось в тот день монологом парторга. Он рубил ладонью воздух, сам себе задавая вопросы и сам же на них отвечая.

— Лекарств нет? Тут все ясно!

— Постельного белья нет? Тоже ясно!

— Оборудование устарело? Это — ясно!

— Больница требует реконструкции? Давно всем ясно!

В заключение он обвел присутствовавших взглядом:

— Кому что не ясно?

Все молчали. Всем все было ясно. Все понимали, что положение в стране, как обычно, тяжелое. Мне стало стыдно, что при такой беде я заикнулся про кружки. Мой зав. отделением сказал мне тогда после собрания: «Ты, дружок, на крючке, тебе лучше не высовываться, если хочешь добиться своей мечты». А мечта у меня одна — после отработки положенного по распределению срока и получения хорошей характеристики хочу я устроиться судовым врачом на загранрейсы. Мир посмотрю, а заодно поправлю свое финансовое положение. Куплю магнитофон, да что магнитофон — штаны себе куплю приличные, куртку «Аляску». Но для этого нужно не высовываться, и главное — избегать жалоб.

5

Был трудный день. Я сделал все что мог. И жалоб вроде удалось избежать, и Чернобурка вроде успокоилась, а тут так некстати пропало электричество. Держась за стену, пробираюсь вдоль коридора, выхожу на лестничную площадку и медленно начинаю спускаться вниз к электрощиту, расположенному на первом этаже. В полной тьме на площадке второго этажа натыкаюсь на что-то, лежащее на полу. Что-то мягкое. Иногда больные в темноте коридорных закоулков, по выражению тети Зины, «амуры крутют». Но чтоб на полу? Посреди лестничной площадки! Меня это возмущает. Легонько шевеля ногой это что-то, шепотом спрашиваю: «Кто здесь?» В ответ — молчание. Предмет явно неодушевленный, видимо, тюк с бельем или матрас. Хотя с чего б ему тут быть? Пытаясь переступить это «что-то», делаю большой шаг в темноту, снова чувствую под ногой каменный пол, спускаюсь дальше. Нахожу электрощит. Благо в кармане халата оказываются спички. Как это я о них раньше не вспомнил?

Сам-то я некурящий, но... «Спички, мыло, керосин — должны всегда быть в запасе», — говорила моя бабушка, пережившая революцию и две войны. Не знаю, или под влиянием бабушки, или по привычке, спички я таскаю в карманах с детства. Спичечный коробок, когда-то незаменимый при ловле жуков, с годами стал незаменим для хранения заначки. Сама спичка — чудо-материал. Ею можно

выудить пару капель клея из засохшей бутылочки, чтобы подклеить анализ. Спичка помогает при заборе анализа на «яйца глист», и опять же — коробок.

Я жгу спичку за спичкой, нахожу перегоревшую пробку, соединяю два полюса полоской из алюминиевой крышечки от пенициллиновой бутылочки, найденной мною тут же на лестничной клетке. Получилось приспособление, именуемое в народе «жучок». Я осторожно вставляю «жучок» обратно в электрощит. Моментально загорается свет. И крик! «Не иначе, кого-то током убило», — мелькает в голове. Крик где-то совсем рядом, этажом выше. Как описать этот крик? Сказать «душераздирающий» будет неправдой. Хотя крик явно между жизнью и смертью. В литературе есть выражение: «Крик простреленной навылет волчицы». Опять не то. Для такого крика нужно иметь хотя бы здоровье. А здесь скорее: «Крик волчицы, которую долго мучали, не кормили, а уж потом подстрелили».

Я стою на ватных ногах. Картины в моей голове рисуются такие, что я невольно понимаю: скоро меня обеспечат казенной кружкой.

Мысли обрывает цоканье каблучков. Кто-то спускается вниз.

— Вы здесь, доктор? Ой, как хорошо, что я вас нашла, — появляется на лестничной площадке сестра пульмонологического отделения.

— Скажите правду, что случилось, — прошу я. Сам стою, опершись на всякий случай на стенку.

— Да ничего страшного, — машет рукой сестра, — просто больная Сироткина в темноте наткнулась на мертвое тело. Санитары его на лестничной клетке оставили и пошли на перекур. Всего-то делов. А тут свет зажегся. Она в крик. Вы ж понимаете, какая барыня.

— Но почему!? Почему больные в ночное время у вас разгуливают по этажам? — с упреком говорю я. Нервы мои измотаны до предела. Понимаю, что не прав, но не могу сдержаться. Тут же сгоряча назначаю Сироткиной полбутылки валерьянки.

— Валерьянки нет, — отвечает сестра, — есть микстура Маркова и микстура Кватера.

— Дайте Кватера, то же самое, но звучит для женского уха надежнее. И передайте Валентине из кардиологии, чтобы немедленно спускалась вниз. Нужно перенести тело в машину, пока родственники не спохватились. И пальто мое пусть захватит, — кричу я вслед цокающим каблучкам, звук которых где-то наверху обрывается дверным хлопком.

Еще одного выхода на мороз в халате я не переживу. Холода не переношу после армии. Вот где мерзли так мерзли. Причем все. Мой приятель сибиряк, по фамилии Морозов, слег, несмотря на медвежье здоровье, с воспалением легких. А первогодок, бедолага узбек, покрылся прыщами да и помер. От чего? Никто так и не понял. «От тоски по ностальгии», — выразил общую мысль сержант Хабибулин.

Я медленно поднимаюсь по лестнице. На площадке второго этажа нахожу носилки с «папой». На какие-либо эмоции у меня нет сил. В голове вяло текут, слипаясь, мысли: «Нужно найти санитаров... Сироткиной же не забыть записать консультацию психиатра. Глядишь, и диагноз у нее появится».

Присев рядом с носилками, я машинально поправляю на покойном съехавшую простыню.

Валентина появляется довольно быстро.

— Мы что с вами, доктор, на войне? — говорит она, отдавая мне пальто. — Кроме нас, что, носилки больше уже некому таскать?

— Некому, — надеваю я пальто.

Мы беремся за ручки и на счет три поднимаем «папу». Действительно тяжелый, санитары были правы. Осторожно спускаемся по лестнице. От

усталости у меня дрожат руки. Валентина не показывает вида. Позади себя я только слышу ее прерывистое дыхание и матерный шепот.

В вестибюле пытаюсь ногой толкнуть входную дверь. Дверь не поддается. Она, вот уж не везет так не везет, заперта на ключ. Весь вечер где-то отсутствовавшая гардеробщица появилась, закрыла дверь и снова куда-то исчезла.

— Нет, я этого не переживу, — прислоняюсь я лбом к двери. — Где ее леший носит? Никогда ее на месте нет. Никогда!

— Может, все-таки поставим носилки на пол? — предлагает Валентина и, подойдя к фанерной перегородке гардероба, громко говорит: — Анна Михайловна! Анна Михайловна! Нам ключи нужны.

В гардеробе слышится возня, медленно отворяется окошко выдачи одежды, и в нем появляется заспанное лицо с красным отпечатком пуговицы на щеке.

— Чего выносите? Случайно, не казенное имущество? — смотрит лицо вниз и тут же, отпрянув, крестится. — Ой, батюшки, покойник. А чего же вы, доктор, тогда его несете?

— Хотите помочь? — кивком приглашаю я ее.

— Ой, нет! — машет она руками. — Я покойников ужас как боюсь.

— Он теперь вам всю ночь сниться будет, — делаю я страшные глаза.

— Да Господь с вами, — трижды крестится Анна Михайловна и, стараясь больше вниз не смотреть, протягивает ключи.

Мы выносим «папу» из корпуса. На улице со времени моей прошлой вылазки еще больше похолодало. Откуда-то налетевший колючий ветер гоняет над сугробами ледяную крупу, закручивая ее то здесь, то там вихрями. С «папы» моментально слетает простыня и, мелькнув надутым парусом, уносится в темноту. Искать ее бесполезно. Мы, не останавливаясь, несем носилки к машине. Машина закрыта. Ставим носилки рядом на снег.

— Пойду поищу санитаров, — говорю я Валентине, — а вы присмотрите за «папой», чтобы его собаки не утащили.

Описывать ответный взгляд Валентины я не стану, в этот момент в дверях корпуса появляются Чернобурка и дама в нутрии.

— Почему носилки лежат на снегу?

— Как вы смеете так обращаться с телом!

— Поднимите немедленно носилки и держите их на весу!

Из последних сил, собрав всю свою волю в кулак, я делаю глубокий вдох, считаю в уме до десяти и вдруг понимаю, что мне больше нечего говорить. Как внезапно вызванный к доске школьник, который, не выучив урока, твердит: «Я учил, но я забыл», — для того только, чтобы не стоять дураком, я вдруг принимаюсь объяснять устройство носилок. Фразами из лексикона инструктора гражданской обороны, указывая пальцем на различные части носилок, окончательно очумев за сегодняшний день, я говорю о том, что «носилки медицинские» имеют снизу «ножки откидные», которые сейчас в «откинутом положении», поэтому «тело» на снегу не лежит, «переохлаждение телу не угрожает». Держать же носилки на весу тяжело и неудобно, для этого нужны специальные «лямки носилочные», но так как их нет, то хорошо бы поставить носилки с телом в машину, на «уключины замковые». Тут ко мне возвращается логика, и я добавляю: «Но сперва, по крайней мере, следует найти санитаров, так как ключи от машины у них». При этом я понятия не имею, где их искать, и делаю несколько шагов к корпусу, затем, решив, что они, должно быть, в котельной, меняю направление.

Меня спасает тетя Зина. Высунувшись в форточку, она уточняет координаты поисков:

— Санитары в мужском туалете, перекур там у них.

— Немедленно вытряхните их оттуда! — командует снизу вверх Чернобурка.

— Что ж я, дура, по мужским туалетам шастать, снасильничают еще, — задиристо шутит тетя Зина. — Сами идите и вытряхивайте. Вас не тронут, — она затворяет форточку.

— Нет, это что-то невероятное, — ни к кому не обращаясь, говорит Чернобурка. И снова заводит речь о том, что «папа» всю жизнь положил за таких вот сволочей, чтобы они могли спокойно трудиться, лечиться, ездить в санатории, летать в космос...

— Извините, я пока в туалет схожу, — прерываю я ее монолог.

— В какой туалет? — дико смотрит она.

— В туалет за санитарами, — поясняю я и, не дождавшись ответа, иду к корпусу. За мной, покинув «папу», идет Валентина.

Туалет расположен на первом этаже, возле рентгенкабинета. В полутьме мы находим нужную дверь с огромной, как у входа в метро, буквой «М». На минуту останавливаемся. Из-за двери слышны голоса: «А я тебе говорю, спирт ценится не по тому, как ты от него кривишься, а по тому, как ты от него тащишься, по тому, как он тебя забирает. А с этого фуфыря никакого кайфа, только кривишься. И не забирает». Я резко открываю дверь. Все слышанные когда-то блатные слова автоматом слетают с языка: «Так, кенты. Быстро дернули отсюда. Тетки вызвали контору. Менты здесь будут через минуту. Рвите когти, пока вам не скрутили ласты». И хоть эта абракадабра, сказанная мною на одном дыхании, слилась в одну длинную фразу, санитары меня отлично понимают.

— Ну, спасибо, что предупредил, командир, — выскакивают они один за другим из туалета, — за нами должок, следующий раз звони, если что.

— Не забудьте покойника, он возле машины! — кричит им вслед Валентина.

— Обижаешь, мать, зачем же мы тогда приезжали, — летит в ответ.

Я устало бреду вслед за санитарами.

— Доктор, не ходите туда, они без вас разберутся, — заступает мне дорогу Валентина. — Ваше дежурство уже давно закончилось. Уходите любым путем отсюда.

Я согласно киваю. Действительно, «папа» сдан с рук на руки. Мне давно пора домой. Я отдаю Валентине халат, прошу отнести его наверх, в ординаторскую, застегиваю пальто, иду в туалет, гашу свет, открываю окно. Холодный зимний воздух, вытесняя хлорные пары, врывается внутрь. Откуда-то из-за угла, из темноты доносятся звуки упорно отказывающейся заводиться машины и крики: «Папа этого не заслужил!!!»

Эхом от хирургического корпуса отдается: «...заслужил!.. заслужил!» Я осторожно высовываю наружу голову, губы шепчут первую пришедшую на ум молитву: «Помоги мне, Господи, уйти незамеченным и пошли мне последний троллейбус».

Стараясь не шуметь, через жестяной карниз я лезу в окно, через которое три часа назад, но в обратном направлении, царапался пришедший из самохода вдрызг пьяный больной Филимонов.



АЛЕКСАНДР РОГОВОЙ

Озарение души

Рассвет иль тьма?

Тамаре

В уютном сумраке, в молчании
Наш вечер тишиной звучал.
Касался я тебя нечаянно
И, став смелее, обнимал.

Мы были частью бесконечности.
Камин как будто угасал.
Но в озареньи дух беспечности
Сучком смолистым вдруг стрелял.

Как щедро было нам отмерено
В дни расставанья теплоты!
Казалось мне — не все потеряно
И у порога пустоты.

То сном, то явью дней объятая,
Душа еще тепла пока.
И в грезах, их ночных объятиях,
Смела со мной твоя рука.

Чего мне ждать — страстей ли бремени,
Иль холод здравого ума?
Судьба решит, я — как вне времени.
А у тебя рассвет иль тьма?

Реквием

Теперь любовь нам — трын-трава.
Отпразднуем надежд рожденье
На то, что наше пробужденье
И станет мигом торжества
Свободы над закабаленьем.

Посвящение

Неумолимо время — слышу часто.
А надо ли о чем-то умолять?
Все вечное, к чему душа причастна,
Останется — нам нечего терять.

Опять откроем старую тетрадь
И вновь услышим скрип усталой двери.
Как важно неизвестность разгадать,
Наполнить новым смыслом наши цели.

Генетика не требует причин,
Жизнь продолжая; не отождествляя
Прекрасных наших женщин и мужчин,
Но вот на смелость их благословляя.

Круг небесный

Ужели я по этой мостовой
Спешил к восторгом созданному кругу,
Чтоб окунуться в новый непокой
Открытия и маеты друг другом.

Ты в круг вошла, когда своим секретом
Из сумерек я вызвал снегопад, —
Могли плутать мы сколько б захотели,
Дороги выбирая наугад,
И вопреки бескрайности метели
В глазах твоих струился звездопад.





ЭММА УСТИНОВИЧ

Такая жизнь...

Документальная повесть

Эта повесть навеяна воспоминаниями о моем отце Василии Константиновиче. Он родился 1 января 1900 года по старому стилю и умер в канун Нового года, не дожив до восьмидесятилетия несколько дней. Поехал в лес с сыном, привез внукам елку и на пороге своей хаты, которую построил, вернувшись с фронта, мгновенно ушел в мир иной.

На его долю выпали две страшных войны: Гражданская и Великая Отечественная, косвенно зацепила и Финская.

Мать говорила, что мои дедушка и бабушка по линии отца разорившиеся дворяне. Дабы не навлечь большой беды, в семье не копались в родословной. Это и без нас успешно делали органы Госбезопасности.

Но все же с родственниками моего отца мне удалось познакомиться. Короткие встречи в детстве оставили в моей памяти сильные впечатления.

У отца было четыре старших сестры и старший брат Николай Константинович. Две сестры, Анюта и Надежда, — замужние, а Ганна и Настя — старые девы.

Ганна не хотела выходить замуж за мужика и, будучи бесприданницей, предпочла остаться старой девой, воспитывая детей брата Николая, и умерла после смерти своих родителей, когда я еще не появилась на свет.

Сестру Настю отец привез к нам в Добруш, она страдала слабоумием и воспринимала мир, как малое дитя. Уходя на работу, мать моя поручала ей накормить меня и Валю и вывести на прогулку. Зимой недалеко от нашего дома дети катались с горки на кусках картона; в то время санки — роскошь для малоимущих. Мы с Валей съезжали с горки по очереди, а Настя стояла и смотрела. Я чувствовала, что ей тоже хочется спуститься с горки. Наконец она не выдержала и сказала мне: «Дай я разок спущусь!» Сорокалетняя женщина, в платке, завязанном под подбородком, села на картонку и покатилась в низ. Глаза ее светились восторгом; никогда в жизни я не видела более счастливого лица.

Мать смогла устроить ее в Дом инвалидов, там их приучали к посильному труду, сносно кормили и обеспечивали одеждой. Во время войны она пропала, родители искали, но не нашли. По-видимому, ее расстреляли немцы вместе с другими небожителями Дома инвалидов.

Тетя Анюта

Вернувшись с войны в 1945 году, отец мечтал увидеться со своими родными. Старшая сестра, Анна Константиновна, жила с сыновьями и дочерью в Городовке. Об автобусах в 1946 году понятия не имели, а попутные машины ходили

редко, пешком не доберешься. Когда по Сожу начал ходить катер, родители мои решили навестить старшую сестру отца и взяли с собой меня. Мы доехали до Гомеля поездом, а потом поплыли по Сожу до пристани Городовка.

От родителей слышала, что тетя Анюта — единственная из детей Константина Яковлевича и Екатерины Григорьевны (в девичестве Комовской), имела дворянскую грамоту. Она — первенец, и появилась на свет, когда ее родители еще окончательно не разорились. Для подтверждения дворянства и получения Грамоты в казну полагалось заплатить 300 золотых рублей; для остальных детей денег не хватило, да и дворянское звание уже не имело большого значения, надвигалась революция.

И еще я знала, что тетушка вышла замуж за безземельного шляхтича, католика, по фамилии Громыко. За приданое жены ему удалось купить крошечный клочок земли в Городовке, на берегу Сожа, где он поставил хату, обустроил скотный двор с конюшней, завел небольшой огород. Чтобы прокормить семью, ему пришлось заняться сплавом леса по Сожу и приторговывать лошадьми.

Городовка — маленький поселок, узкой полосой, над обрывом вдоль берега реки. За небольшими грядками сразу начинался лес: ни колхоза, ни предприятий — работы нет, а поэтому после революции и гражданской войны семья тети Анюты оказалась в бедственном положении. В начале 30-х годов муж ее умер от голода, и тетя Анюта осталась вдовой с тремя детьми: Томашем, Евгением и Марылей, моими двоюродными братьями и сестрой.

Я мало еще понимала сущность жизни, но запретное и поруганное слово «дворянство» рождало странные образы. Не задумываясь, я представляла сестру отца старой дамой, каких я видела в Ленинграде: в перчатках и шляпках с цветами, на которых почему-то не хватало половины лепестков.

Мы тяжело поднимались на крутой обрывистый берег. Городовка — односторонняя улица из нескольких хат.

Немцы сожгли ее дотла, но люди уже успели кое-что восстановить.

Отец печально смотрел на то место, где прежде стоял дом его сестры. Вместо просторного и светлого жилья — низенькая хатка с одним окошком. Видно, ее строили наспех: тонкие бревна едва обструганы, торопились, чтобы укрыться от непогоды и согреться.

На наши голоса из избушки выскочила маленькая, но складная рыжая девица с короткой стрижкой:

— Что хотите?

— Ты — Марыля? — спросил отец.

— Да, — смущенно ответила она.

— А где мать?

— Да, вон, на огороде окучивает картошку.

И мы по меже пошли к ней. Босая старуха в обтерханной деревенской юбке и такой же выгоревшей кофте, в сером от пыли платочке, завязанном по-крестьянски, старательно окучивала каждый кустик.

Увидев нас, она выпрямилась: высокая и прямая; лицо ее, красное от загара, выражало крайнее смущение от своего вида.

Маленькие, еще изящные ноги и руки, испачканные землей, контрастировали с красным лицом и жалкой одеждой. Однако осанка и профиль с едва заметной горбинкой носа, характерной для большинства из рода Устиновичей, придавал и ее лицу что-то орлиное.

— Вот так, Вася, здравствуй, брат; здравствуйте, Маруся и Эмма, — сказала она нам и осветила улыбкой с рядом крепких белых зубов. Обняла брата

со словами: — Мне некуда вас пригласить, все сгорело, но Томаш уже поставил дом, вот он — рядом, пойдем к нему…

Дом Томаша в наш приезд был самый красивый в Городовке: три больших окна выходили на улицу; чистый дворик, аккуратно поставленный сарай и ухоженные деревца и грядки. Внутри дома — две половины, как принято в селе. Но в кухне от печки до стены висела укрепленная под потолком на проволоке с парашютными колечками штора, не яркая, как в деревнях, а белая и легкая с тонким рисунком. Она красиво сливалась с побеленными стенами и самотканой белой скатертью, покрывавшей обеденный стол. Настенная полка с посудой, стол и табуретки — вот и вся мебель. Ведра с водой, полки для чугунков и горшков, зимний умывальник, все аккуратно расставленное и сверкавшее чистотой стояло в просторных сенях. Нам отвели место за шторой, где стояла широкая деревянная кровать, сделанная хозяином; параллельно ей — печь с лежанкой, там могли бы вместиться еще пяток детей. В гостиной — железная кровать, покрытая красивым самотканым покрывалом, с горкой белоснежных подушек; стол, стулья, тоже сделанные хозяином. Комната заполнена светом, потому что из больших окон открывался вид на Сож и его пойму, с лугом, кустарниками и вдали видневшимся лесом. Этот пейзаж завораживал, хотелось сидеть в комнате и бесконечно смотреть на окрестности и небо, каждую минуту меняющее цвета и оттенки во всей своей красоте. И хотя я еще мало видела прекрасного, но поняла, что мой двоюродный брат, который чуть моложе моего отца, своего дяди, — большой эстет, его ухоженное жилище в пастельных мягких тонах запомнилось мне на всю жизнь.

Как сообщили тетя Анюта и Томаш, Женя, другой мой двоюродный брат, только что женился и обитал пока на чердаке. Сруб для своего дома уже поставил в конце огорода у самого леса. Пока нам показывали сруб, Женя с женой спустились с чердака, он сильно хромал, какая-то травма или болезнь детства сделали его инвалидом, но не лишила его способности трудиться: он сам, как и брат, создавал свое гнездо.

В застолье время прошло быстро; племянники, немного моложе меня, очень красивые и милые дети, мальчик и совсем маленькая девочка, мне улыбались, и я им — тоже, подружиться не успели. Легли спать, усталые с дороги, утром встали, позавтракали, попрощались и собрались идти — пятнадцать километров пешком. Томаш работал в рыболовецкой артели, жилось им нелегко, но он постарался отправить нас на подводе, которая шла в Чечерск, где мы намеревались посетить тетю Надю.

Больше я никогда не видела ни тетю Анюту, ни своих братьев, ни сестру Марылю, судьбу которой повторила и я, живя в разводе и воспитывая единственное дитя.

Они не писали отцу писем, и он не писал. Может, шляхетская гордость не позволяла общаться с нами из-за матери моей, по-пролетарски излишне бесцеремонной; а скорее всего, тяжелые ежедневные заботы о выживании в условиях нелегкой жизни. Не знаю. Отцу не сообщили даже о смерти сестры.

Однажды в учительской музучилища, где я работала, вели разговоры об ужасном происшествии: в котловане на стройке нашли труп почти обнаженной девушки, очень красивой. Мне стало жутко, и я не могла долго успокоиться. Прошло время, я гостила в Прибалтике у своих двоюродных братьев, Петра Николаевича и Владимира Николаевича Устиновичей, сыновей моего дяди. Они сообщили мне о страшной трагедии в семье Томаша. Его дочь убили бандиты. Уехала из Городовки в Гомель, устроилась на работу и познакомилась с красивым молодым человеком, а когда узнала его друзей — поняла, что попала в банду, собиравшуюся ограбить какой-то объект и убить охрану,

сообщила в милицию, и всю эту банду накрыли. Ей пришлось бросить работу и уехать в Городовку; но что делать молодой красивой девушке в маленьком глухом поселке? Через полгода она не выдержала и вернулась в Гомель, где ее выследили и убили. Каково было Томашу и его сыну, офицеру, служившему в Германии, узнать об этом? Сын упрекал отца за то, что тот не сообщил ему, он мог бы найти ей работу в части. Но судьба определила все иначе. Не выдержав смерти любимой дочери, Томаш умер.

Приехав домой, я рассказала отцу эту историю, он внешне принял спокойно, но как будто ушел в себя. Эта трагедия сильно подействовала на него.

Надёжа

Тетя Надя и в детстве, и в девичестве, и в зрелости отличалась исключительным характером: своенравная, упрямая, она всегда добивалась того, чего хотела, подчас подавляя волю других. В ней наиболее ярко отражались черты, присущие предкам.

Родители хотели выдать ее замуж за человека своего круга, небогатого, но хорошо воспитанного. И тетя Надя имела шанс; нашелся такой кавалер: католик, бедный шляхтич, но имел свой двор и усадьбу, немного земли. Он приезжал в Макрень на своей пролетке, но Надя, завидев ее, исчезала. Так что разговор с женихом приходилось вести Константину Яковлевичу и Екатерине Григорьевне. Оказалось, Надя влюбилась в мужика, красивого парня из соседней деревни. Увидев Надю в Макрене, он зачастил туда на вечерки, и она легко завела дружбу с макреньской голытьбой, чтобы встречаться с красавцем парнем.

Однажды шляхтич приехал — а невесты нет.

— Где Надя? — спросил он у смущенных ее родителей.

— А она на деревенских вечерках.

Жених решил сам выяснить причину такого поведения невесты. Явился в хату, провонявшую потом от немытых парней и девок, надушенный, элегантный, с хлыстиком в руках, как ангел во плоти, но публика демонстративно отвернулась: загремел гармоник с бубном и вылетели частушки:

В хату к нам явился пан,
Пахне чымсь яго жупан…
Ох-ох-ох-ох,
И собака сразу сдох.

Пан ответил: «Вы, вонючие голодранцы, что вы из себя представляете? У кого из вас найдется хоть один золотой, я сниму свой перстень и отдам ему». Он стянул лайковую перчатку и показал золотой перстень с печаткой. Хлопцы и девки сникли. Где им, нищим, взять золотой?

Надя не замедлила с ответом: «У меня есть!» Тогда почему-то деревенские девушки, демонстрируя свою материальную состоятельность, на вечерки надевали несколько юбок. Чем больше юбок, тем богаче невеста. Надя элегантно отворачивала одну юбку за другой, перекидывая на руку, пока не вытянула из кармана золотой и протянула шляхтичу. Пан побледнел, но перстень снял и подал Наде, повернулся и вышел. Утром он прикатил к Устиновичам и рассказал о поведении невесты. Константин Яковлевич позвал дочь и строго приказал: «Надя, отдай немедленно кольцо». Она улыбнулась, побежала в другую комнату и принесла перстень. Шляхтич надел его на палец, откланялся и уехал. Больше жених не появлялся. Надя добилась своего, ее

выдали замуж за любимого красавца Филиппа Евстратенко. Они всю жизнь горячо любили друг друга, муж ласково называл ее «моя Надёжа».

За приданое тете Наде с мужем поставили дом и скотный двор. Почти весь свой небольшой участок земли по инициативе тетушки засадили садом. Хозяйство и этот сад стали единственным источником существования большой семьи. Даже в самые тяжелые годы лихолетья, когда каждое садовое дерево облагалось налогом, она не позволила срубить ни одного, хоть весь доход от продажи яблок уходил на налог. Несмотря на то, что она вышла замуж за мужика, к советской власти относилась отрицательно, просто ненавидела коммунистов, считая, что они убили царя и его семью. В деревне Евстратенки были единственными единоличниками, до конца жизни не признавая колхоза. Детям тетка запрещала вступать в пионеры и комсомол. Когда закрылась церковь, у себя в доме собирала сельских баб и вела за попа службу. В красном углу висело несколько старинных икон и лежал целый арсенал религиозных книг; Библия, Евангелие, Псалтырь — всегда под рукой. Трактовала все посвоему, как сектантка. Даже когда открылась церковь, не ходила туда, а молилась дома. Старшая дочь не выдержала материнского гнета, вышла замуж за коммуниста, бригадира, вступила в колхоз. И другая дочь, бухгалтер, ушла из семьи, вышла замуж за интеллигентного инженера сельхозтехники.

Сыновья — главная забота и любовь тети Нади, всей ее жизни. Но когда началась война, она сама проводила любимого старшего сына на фронт, где он и погиб, защищая родину.

Все дети и внуки тети Нади отличаются редкой красотой, трудолюбием и исключительной честностью.

Я несколько раз гостила у нее, встречалась с красавицами — сестрами Дусей и Марусей, с братом Виктором, но большой дружбы не получилось. Может, по моей вине, но я их всех вспоминаю тепло и с удовольствием. Брата Виктора уже нет в живых. Последний раз я видела его на похоронах нашего двоюродного брата Саши в Гомеле. Классические черты лица, высокий лоб, осанка, ни единой морщинки на лице. Обижался на мать, что не позволила ему сделать карьеру, пришлось целую жизнь чинить швейные машинки. Мне казалось, что он проживет еще много лет. А он вышел на пенсию и вскоре умер. По своей энергетике — не в мать. Тетя Надя прожила восемьдесят лет и умерла на ходу, села в машину сына и мгновенно отошла в мир иной, точно так же, как и мой отец — восьмидесяти лет и на ходу.

Николай Константинович

Со старшим братом Николаем у отца на всю жизнь сохранились самые теплые отношения. Братскую любовь и уважение друг к другу не могли уничтожить даже их жены, ненавидевшие друг друга. Этому была причина: отец мой прижил сына сестре супруги брата, но не женился. Бабушка Екатерина Григорьевна не позволила ему, взяла, умирая, клятву: не жениться на гулящей девке. На такой тонкой ниточке находились отношения между женами братьев. Но эта ниточка оказалась настолько прочной, что не оборвалась. Семьи постоянно общались и дружили.

Я несколько раз бывала у дяди. Два его сына, Владимир и Александр, офицеры, защищали родину и имели боевые награды; младший сын, Петр, работал председателем колхоза в Литве, а потом директором военного завода, но дядя Николай относился критически к власти, особенно к местной; по-видимому, в основе этой неприязни были какие-то исторические корни.

Макренцы говорили, когда красавцы офицеры с семьями приезжали к родителям: «До революции в офицерах ходили и теперь ходят».

Но дядя вступил в колхоз и был в нем самым ответственным и добросовестным работником. Хата у дяди ничем не отличалась от деревенской, только, может быть, более древними иконами да большим кованым сундуком, в котором вместе с ценными вещами хранились книги.

Дядя — человек верующий, но в церковь не ходил, начинал свой день с молитвы в красном углу, где лежали Библия и Псалтырь в кожаных переплетах. Бережно хранил и читал книги Л. Н. Толстого. По разговорам я поняла, что он по мировоззрению и образу жизни — толстовец, хотя однажды показывал какие-то запрещенные книги авторов, мне не известных.

Дядя — очень гостеприимный человек, весь светился от радости, когда появлялся родственник, и даже неприветливая его жена вынужденно ставила на стол самое вкусное, что было в доме.

Мне он говорил, когда я в командировке навестила его по просьбе отца: «Передай от меня привет и скажи брату: «Пусть приедет ко мне. Я ему козу подарю, у него же коровы нет, а детки его еще малолетки. И кожушок для него берегу. Пусть приедет!» Отец поехал и привез козу Шурку, которая, может быть, помогла моим младшим братьям выжить в голодные времена.

Дядя окончил церковно-приходскую школу блестяще, но продолжить образование не смог из-за бедности и хозяйственных забот, навалившихся на него как на старшего. Он не сквернословил, не курил, говорил образно, с шутками и прибаутками. Пословицы и поговорки сыпались из него, как из мешка. Но выпить любил, наверное, потому, что долго ходил в холостяках. Выпивка его и погубила, умирал тяжело от рака желудка.

С сыновьями дяди, двоюродными братьями, меня всегда связывали хорошие отношения. Володя, его старший сын, начал свой трудовой путь в Добруше, где мои родители помогли ему определиться в ученики машиниста на бумажной фабрике. Ко мне он относился очень тепло. Я еще не могла застегнуть на своем пальтишке пуговицы, а он уже трудился в цехе фабрики. Отправляя на прогулку, застегивал мне пальто и проверял, правильно ли я оделась. Володя чаще работал в ночные смены, поэтому кормил меня супом. Ответственный и добросовестный, он быстро овладел своей профессией, стал специалистом, хорошо зарабатывал и женился на сироте, которая родила ему дочь. Назвали ее Ниной. Вскоре брата забрали в Красную Армию, воевал и стал офицером.

Владимир Николаевич проявлял заботу обо мне до самой старости. Я часто гостила у него в Прибалтике, где он служил, а после в Москве. Сыновья его Владимир и Александр — офицеры. Старший сын, капитан первого ранга, подводник, облучился и умер, но брат находил в себе силы жить в труде и заботах о других людях.

С Александром Николаевичем встречалась часто; он, как и отец, был щедрым и отзывчивым человеком. Из рядовых в годы войны вышел в офицеры и после служил до самой пенсии в самых тяжелых точках. Только к концу жизни вернулся на родину. Дочь его Лариса, талантливый инженер-химик, работала с мужем в Шатуре, в Подмосковье, была убита. Это подорвало его силы, он вскоре умер, а вслед за ним — и его жена, потерявшая от горя рассудок.

С Петром Николаевичем мы почти одногодки; нас связывала большая дружба. Он избежал угона в Германию благодаря своей сноровке и уму. От этой доли спас и себя, и молодую красавицу жену брата Володи. Не побоялись залезть по пояс в болото, куда немцы не решались сунуться. Им пришлось сидеть сутки. Это после отразилось на здоровье обоих. Он всегда ока-

зывал мне помощь и словом, и делом, приезжал в Гомель на своей «Волге», удивляя соседей, а меня поднимал в их глазах.

С братом Николаем Николаевичем я познакомилась в старости, когда он гостил у своего старшего брата Володи. Судьба Николая оторвала его от родины, его угнали немцы в Германию, жизнь складывалась тяжело. Встретил девушку-татарку, женился и всю жизнь в основном прожил в Нижнем Новгороде со своей семьей. Работал на заводе почти до самой смерти.

Ни лишения, ни испытания, выпавшие на долю детей моего дяди Николая, не уничтожили в них личности; они все оставались верными своей родине, честными и ответственными людьми.

Беседа с отцом о дворянстве

Однажды я сказала отцу: «Что за дворяне твои родители? Дедушка пахал землю, надорвался и помер, бабушка света белого не видела в работе, отчего заболела и умерла раньше времени; ни образования, ни специальности какой-либо не дали».

— Да, это так. Пахать землю, трудиться — не оскорбление для дворянина. Торговать, обманывать людей — считалось позором. Сам граф Толстой землю пахал, крестьян учил и находил в этом удовольствие. Моя мать — столбовая дворянка. Екатерина Григорьевна Комовская (в девичестве) сама клала печи, лечила людей и домашних животных, сама легчала поросят и могла выполнить любую работу крестьянки со знаком плюс.

Ты, что же, считаешь, что если столбовой дворянин, занесенный в Москве в столбцы, получал деревню на прокормление, то лежать мог на печи, обжираться и наращивать брюхо? Нет. Дворяне — военное сословие. Во времена набегов кочевников в средние века он обязан был защищать крестьян, организовывать оборону, а потому строил укрепления, где б чернь могла укрыться от врага с детьми и скотом. Каждый дворянин ставил крепость; в центре находился двор. Все жители деревни находились под защитой от нападавших. От слова «двор» и название сословия «дворянство». По первому призыву князя или царя дворянин должен являться на коне во всем военном облачении с тремя холопами в кольчугах и латах, с рогатинами и тоже на конях. Если дворянин не способен предстать в Москве раз в год в таком облачении, значит, непригоден, и его вычеркивали из столбцов, а деревню отдавали другому, более энергичному.

Кроме главной задачи — защиты населения от врагов, дворянин выполнял ряд административных функций. В одном лице — организатор общественной жизни деревни, судья, сборщик налогов, лекарь и ветеринар. И часто дворянин был повязан кровно со своими крестьянами. Потому что имел право первой брачной ночи, и вся деревня считалась его кровной родней, детьми.

У дворянина в помощниках был один писарь да староста — просто и ненакладно для трудового люда.

А когда дворянство развратилось и стало истязать своих подопечных, сама жизнь смахнула все сословие, как мусор.

— А вот дядя Николай рассказывал мне, что ваши двоюродные и троюродные братья и сестры получили образование, специальности, а до революции среди них были даже кавалергарды, — не сдавалась я.

— Да, наша родня: Комовские, Дробуш-Дробушевские, Малиновские, Василевские, Запольские, Плискачевские больше преуспели в жизни — они образованные, знаменитые люди; а над Устиновичами какой-то тяжелый рок

навис. Хотя и среди Устиновичей с Петровских времен известны храбрецы, живые и энергичные люди.

А все началось с Якова, моего деда. Мать его умерла при родах. Отец же, горячо любивший свою жену, впал в отчаяние; нашел кормилицу, окрестил, дал сыну имя Яков, передал в управление свою небольшую деревеньку брату, оставил дитя на его попечение и уехал на войну. На какую — не знаю. Весь XIX век — войны. Где он воевал — не знаю, но сразу ушел из жизни вслед за женой, погиб геройски. А Яков рос, как сорняк, никому не нужный, в людской, среди дворни и крестьян. Чужая тетка, жена дяди, оказалась особой лютой. Впрочем, входить в барские покои и дружить с двоюродными братьями и сестрами не запрещалось. Когда барским детям наняли гувернеров, Якова не обучали. Он сам тихонько входил в покой, где проходили занятия, и слушал. От природы одаренный, самостоятельно научился читать, писать и считать. А научившись главному, проявил большой интерес к книгам.

В образованности обошел своих братьев. Однако положение сироты и полной нищеты в доме дяди заставило его решать свои проблемы далеко не дворянскими методами. Поднабравшись ума-разума в людской, он, еще не достигший совершеннолетия, обратился к дяде с просьбой: разрешить ему поставить постоялый двор на Екатеринской дороге, где недалеко находилось его имение. От этой просьбы дядю чуть не хватил удар: «Яков, хоть ты и сирота, однако ж — дворянин, а честь для нас дороже всего». Племянник был неумолим. Дядя поглядел на него, на его крестьянскую одежду, на лапти, у бедного юнца даже сапог не было, — и махнул рукой…

Лес свой, мужики помогли, и скоро на Екатеринской дороге появился просторный светлый постоялый двор.

Трудно юнцу одному поднимать такое хозяйство, но справился, в кухне не зря все детские годы болтался, сам готовил, сам подавал, пока всерьез на ноги не встал; моднейшую одежду купил, лошадей, конечно, завел и, к удивлению дяди, именьице прикупил. Приглянулась ему девушка из мелкопоместных, и решил жениться. За невестой приданое давали, тоже небольшое имение. Женился, начал богатеть. Пять сыновей-молодцев было у моего деда Якова. Ермил и мой отец Константин — младшие. Старшие хорошее воспитание и образование получили, гимназию окончили. Один мой дядя на Кавказе лесничим был, а два — офицеры. Для младших сыновей дядя решил подкупить земли, чтоб хорошими помощниками жили, вблизи родителей.

Но дед просчитался, времена менялись, по всей стране волна крестьянских восстаний прокатилась. В Белоруссии — Кастуся Калиновского. Помещики землю продавали и уезжали за границу, а он, наоборот, по бросовой цене купил отменные луга и землю у деревни Макрень. Сам же дед — из Шиловичей, а далекие предки откуда-то возле Литвы.

Оглядел дед Яков свою покупку — красота: река Чечера — рядом, с горы вид превосходный — и решил обосноваться здесь. Собрал всех сыновей, чтобы перегнать стадо коров и табун лошадей, а их 200 голов и столько же буренок.

Въехали в деревню: сам Яков, пять сыновей на отменных лошадях — впереди, погонщики — сзади стада и табун, а деревня как вымерла. Глядь, на краю села — банька и возле, вдоль дороги, выстраиваются в ряд совершенно нагие мужики: рожи — злые, наглые, усмехаются, разбойники.

Дед Яков побелел как полотно и сказал сыновьям: «Здесь нам добра не будет». Как в воду глядел. И посыпались беды: за год дед Яков лишился и табуна лошадей первоклассных, и стада коров. Весь скот полег — мужики потравили. Обнищал дед Яков. Хорошо, что старших сыновей в люди вывел, их владения остались за пределами Макрени.

Так и остался жить в бедности мой дед с младшими сыновьями Ермилом и Константином. Хорошего образования они не получили, в отличие от старших братьев, но толк в земле и хозяйстве знали.

Вошли в мужской возраст и решили жениться. У всех Устиновичей — слабость к женскому полу, это их и сгубило окончательно.

Отцу моему полюбилась Катя, дочь столбового дворянина, адмирала Российского императорского флота Комовского. Звание броское, почетное, а деревенька — одна и двенадцать дочерей. А на жалование, даже адмиральское, такую ораву не то что в свет, в Петербург вывезти, но даже одеть-обуть — проблема. Вот и осталась младшенькая, Катенька, в деревне. Хоть красавица, да кто ее в селе видит? На каком-то семейном празднике разглядел ее мой отец Костя и прикипел сердцем. Посватался — отказ. Катенька женихов ждала более состоятельных, да отец мой не смирился, навещал своенравную красавицу и ждал. Постоянными посещениями женихов разгонял. Решил, как и дед, укрепить свое материальное положение, тем более что дядя его пренебрег условностями, занимался успешно торговлей и племяннику обещал помочь. Очень скоро он скопил нужную сумму денег на роскошную свадьбу, на новый дом и хозяйство. Время шло, а у Катеньки женихов ни богатых, ни столичных — нет; Катенька почти бесприданница, адмирал за ней давал всего 10 десятин земли. Пришлось Екатерине Григорьевне Комовской, столбовой дворянке, выйти замуж за Устиновича Константина Яковлевича, дворянина с сомнительным состоянием и сомнительными занятиями.

Дед Яков выделил ему надел для скромного ведения хозяйства, уже слабый и больной, составил завещание, по которому сыну Константину отдавал всю оставшуюся у него землю и хозяйство, при условии, что тот будет заботиться о двух сестрах, старых девах, до конца их жизни. Это завещание и стало потом яблоком раздора между братьями Константином и Ермилом. Мать моя, Екатерина Григорьевна, как только вышла замуж, сразу потребовала от мужа прекратить занятие торговлей, позорящее звание дворянина. Он обещал и сдержал слово. Единственным источником жизни стали земля и хозяйство, где работала вся семья, батраков не держали.

Ермил влюбился в макреньскую красавицу Марию, мужичку редкой красоты, и фигурой, и лицом, но в ней угадывалось нечто хищное и злое. Хоть крестьянка, а самолюбие и гордость — сатанинские, претензии — непомерные. Всех хлопцев Макрени и окрестных деревень с ума свела; не избежал этой участи и скромный дворянский сын Ермил. Дед и бабушка, когда узнали, что он собирается жениться на мужичке, — в ужас пришли. И дело не в том, что она — бесприданница, они сами, хотя и дворяне, а бедняки, жили ниже уровня богача-крестьянина, а в том, что у нее — другое воспитание, другой круг общения, даже речь другая. В нашей семье все говорили на русском литературном языке, а в Макрени — на местном диалекте. И это не главное; за внешней красотой этой Марии скрывалась холодная, расчетливая и жадная ко всему душа, полная ненависти к своей будущей родне.

Но уговоры дедушки и бабушки не помогли, Ермил настоял и женился на Марии. Земельные наделы и усадьбы у братьев рядом, а потому баню поставили общую. Моя мать, бывало, истопит баню, а первой норовила помыться Мария. И такая жадная, все старалась побольше на себя воды вылить, чтобы нам не осталось. Мама моя часто баню топила и для мытья, и для стирки. Глядь, а Мария уже там — на себя воду ведрами льет.

Эта Мария, жена моего дяди Ермила, нашу семью и разорила, и погубила. После смерти дедушки и бабушки отношения между братьями окончательно расстроились. Стала Мария приглашать к себе в гости сестер мужа, старых дев:

гостинца им в праздники, платочки подарит, пирогом вкусным угостит, а потом и вовсе к себе жить переманила; завела шашни с чечерским судьей Галиновским, и на тебе — от имени Ермила заявление в суд на передел собственности и земли. Ужас, такого никогда в родах дворянских не бывало. У дворянина главное достоинство — честь. А если случалось оскорбление — дуэль, что бывало крайне редко, воспитание не позволяло. С детства прививались теплые, родственные чувства, вплоть до самопожертвования. А тут — заявление в суд от родного брата. Позор. Это даже в купеческих и крестьянских семьях — редкость. Пришлось моему отцу Константину Яковлевичу таскаться в суд. А судья Галиновский, любовник Марии, — редкий прохиндей — тянул дело и тянул деньги с моих родителей. Пока у них были золотые, судья не выносил окончательного вердикта, а как золотые кончились, он по решению суда всю землю, принадлежавшую Константину по завещанию, передал в собственность Ермила. Пункт завещания деда с условием: содержать двух незамужних сестер до конца их жизни и решил вопрос в пользу Ермила — земля и имущество Константина перешли в собственность брата.

Опозоренный в глазах родственников Ермил не выдержал и повесился в бане. Сестры, уразумевшие, какую шутку сыграла с ними невестка, и более ей не нужные, от отчаяния умерли одна за другой. Мария особенно не горевала, мылась в той же бане и бегала на свидания к судье, человеку женатому и семейному. Заигрывать с крестьянами в судах становилось модным. Галиновский, решая семейные распри, стал на сторону крестьянки не бескорыстно: он укреплял свое судейское положение. Но крестьяне все равно его ненавидели и выражали свое отношение весьма своеобразно. Рассказывали в деревне смешной случай.

Судья Галиновский

Дорога из Макрени в Чечерск шла в обход имения судьи. А если через него напрямую, то можно срезать три километра. Вот два макреньских мужика и пошли через барскую усадьбу. Барин увидел, сошел с крыльца и стал на пути со строгим видом. Но наглые мужики и глазом не моргнули. А один, поравнявшись с судьей, вместо приветствия приподнял ногу и трижды выбухнул газы.

Судья Галиновский, знавший психологию крестьян, спокойно ответил: «Здорово у тебя получается. И сколько раз так можешь?»

— Если съем чугунок бульбы с горлачиком кислого молока, могу сорок раз.

— Я тебя угощу и бульбой, и молоком. За обедом, по моему знаку — рукой, начнешь прямо за столом.

Говорили, что жена судьи — петербургская смолянка, от тоски в провинции чахнет и болеет, а судья этим поступком решил приблизить ее к народной жизни.

Нашлась на кухне очищенная картошка, сварили к обеду, поставили в чугунке прямо на стол вместе с кувшином простокваши.

Все честь по чести. К обеду появилась супруга судьи и села за стол с мужиками. Бедная женщина уже давно привыкла к разным фокусам супруга, а мужики в их доме — не новость; их дела крестьянские разбирать — судейская работа. Ничего не подозревая, она уселась за обеденный стол: подали первое, второе, а мужики только бульбу с кислым молоком трескают, особенно один. Когда чугунок и кувшин опустели, судья взмахнул рукой, мужик-обжора встал, приподнял ногу… и тут началась канонада… Перепуганная

супруга судьи стала белой как мел и в слезах бросилась вон с криками: «Негодяй, дурак, дурак…»

Вот такая в Чечерске была судейская власть накануне революции. Кто что хотел, то и делал, каждый при своей должности.

Разорил нашу семью, не дрогнув, оставил без всяких средств к существованию.

А Мария сыновьям своим выкупила дворянские грамоты, они учились в Могилевской гимназии, потом в Петербургском университете. Летом приезжали на каникулы, с макреньцами не общались, а с нами дружили. После революции один в Петербурге жил, другой — в Москве. И при советской власти на хороших должностях были, только с детьми не везло, все какие-то трагедии.

После этого проклятого суда у родителей моих здоровье пошатнулось. Нищета хуже крестьянской. Осталось 10 десятин земли из материнского приданого, а для большой семьи — это гибель.

Дед Григорий Комовский приходился графам Чернышовым дальним родственником. Последний граф, проживавший в Чечерске, поддерживал моих родителей морально. Всегда приглашал в застолье, сажал на самое почетное место, не потому, что они, хоть и нищие, а столбовые дворяне, а потому, что они люди нравственные и честные. Это сильно раздражало вконец проворовавшуюся могилевскую знать. Но граф — человек независимый, образованный, светский, поступал как хотел.

Граф Чернышов постоянно бывал в Петербурге и предчувствовал перемены. Поэтому продал на древесину свой лес, примыкавший к Чечерску. Отец мой по символической цене, почти даром, взял в пожизненную аренду землю с пнями. Граф уехал за границу, а пни остались. Вот мой отец и корчевал эти пни до самой смерти… У нас весь двор этими пнями был завален: печи топили и баню.

От такой работы отец захворал, стали ноги распухать, как колоды. Корни — глубокие, а место — низкое, отец по колено в воде днями работал. Мать моя возненавидела его, просила не хоронить отца рядом с ней, чтоб хотя на том свете от него освободиться. Мама умерла раньше отца, уже после революции, отец похоронил ее по дворянскому обычаю, на высоком холме, почти рядом с домом. Сделали склеп в земле, могилу обложили бревнами.

Отец после смерти матери недолго жил, ноги его покрылись трофическими язвами, в которых шевелились черви. Шла революция, Гражданская война — ни врачей, ни лекарств. «Не дай бог такой смерти даже врагам моим», — говорил отец, закончив рассказы о своих предках.

Это дедовское поле, раскорчеванное, отошло после в колхоз, а теперь это, наверное, пригород Чечерска.

В восьмидесятые годы двоюродные братья показали мне в Макрени могилы дедушки и бабушки. Между ними — могилка внучки, дочери старшего брата моего отца, Николая Константиновича. В последнее посещение родового кладбища я не нашла их могил. Там теперь зона Чернобыля, макреньцы стали хоронить покойников не на своем кладбище, а прямо у опустевшей хаты дяди Николая, на его земле, и бесцеремонно разорили могилы наших предков.

Как стал кавалеристом

В свидетельстве за №11/9 об освобождении от воинской обязанности, выданном Добрушским райвоенкоматом 16 августа 1949 г., записано: «Устинович Василий Константинович, 1900 г. Призван в Красную Армию Чечер-

ским РВК в 1919 году с IV — 1919 г. по X — 1923 г. Уч. эскадрон, — кавалерист. 15.X.1923 г. Уволен в запас».

Но отец почти никогда не рассказывал о Гражданской войне, как будто стыдился чего-то; только небольшие эпизоды, где он выглядел полным дураком. «Мало ли на свете человеческой дурости», — пояснял он и замолкал.

Однажды я гостила у родителей в Добруше. Отец часто лежал в кровати, на спине, и о чем-то думал. По-видимому, его одолевали какие-то тяжелые мысли. Не выдержал и сказал: «А знаешь, Эмма, я человека убил». Что ж, отвоевать всю Отечественную войну за станковым пулеметом — не одного убьешь. Когда отец вернулся с войны, первое, что я у него спросила, когда он разматывал обмотки: «Пап, а сколько ты немцев убил?» Нас так воспитывали: немцы — убийцы, враги наши. Маргарита Алигер, любимая моя поэтесса той поры, восклицала: «Бей любого. Это он и есть…» Поэтому мой вопрос не смутил отца, он ответил: «Не считал… Падали…»

И теперь такие мучительные раздумья отца вызвали недоумение.

— Это произошло еще до Гражданской войны. А все из-за собственности.

Я давно знала, что отец мой по взглядам — монархист. Он говорил: «Раз во главе государства стоит уважаемый человек, значит, надо ему именоваться: Государь».

Мои демократические доводы и убеждения всегда отскакивали как горох от отцовского лба. И я прекращала разговор.

И теперь думала: «Монархист, а собственность ненавидит: в чем дело?»

— За что ты убил человека?

— Любил я ночное. Пасу лошадей, огонь разведу, речушка — рядом… Однажды под утро уснул у потухшего костра, проснулся от крика: «Ах ты, дворянская сволочь! Тебе своего луга мало!» Я вскочил — кони мои на чужом лугу пасутся! Ошалевший мужик с перекошенным от злобы лицом, с косой в руках мчится ко мне. Мысль мелькнула: «Срежет голову, засечет…» У меня реакция наследственная, боевая: в момент отломал от дерева дубину, откуда сила взялась, хоть подросток, но крепкий был. Мужик подбежал и замахнулся косой, а я дубиной вышиб косу из рук, тот наклонился, и дубина угодила по спине. Мужик охнул — и упал. Я его взвалил на лошадь, хлестнул коня, и тот понес его ко двору. Зачах мужик, лежал не вставая: я ему позвоночник повредил, тогда — ни врачей, ни больниц, ни денег на лечение не было — через полгода помер. На моей совести его смерть осталась. А причина — пучок чужой травы, которую кони сжевали.

— А зачем ты на Гражданскую войну пошел?

— Указ Советской власти вышел в 1919 году о создании Красной Армии и всеобщей мобилизации. Всем достигшим совершеннолетия полагалось явиться в сельсовет, на призывной пункт. Я с котомочкой пришел, нас всех переписали, построили и погнали. Так мы оказались в Смоленске, а там нас стали по родам войск разделять. Один парень, мой земляк, говорит: «Ты, Василь, скажи, что уже воевал в империалистическую, и просись в артиллерию». — «Так я ж не воевал, мне только 19 лет, и я понятия об артиллерии не имею». — «А кто проверять будет. Паспортов нет. Из артиллерии дезертировать легче».

Дошла до меня очередь.

— Устинович, воевал?

— Да, в артиллерии.

Так я попал с этим парнем в артиллерийскую часть. Меня отправили к командиру… Он жил с женой в отдельном домике. А было зимнее время. Дрова нужны. Командир мне приказал: «Езжай в лес и заготовь дров». Я запряг коня и поехал. Нарубил полные сани. Все нормально: еду… а в одном

месте лесная дорога вниз с горки спускается. Мне бы за уздцы придерживать, а я еще, дурак, хлестнул, — ну, лошадь и понеслась… Она ж — тяжеловес — артиллерийская. Чтоб орудие ноги не било, несутся, как в сражениях. Я свалился и вниз покатился; дрова — врассыпную, сани развалились, а лошадь унеслась в неизвестном направлении. Ну, и как я к командиру явлюсь?

Отыскал земляка, рассказал ему, а как стемнело, мы и дезертировали. Еле добрались до Шиловичей, зашли к моим родственникам. Они рады, накормили нас, обогрели и сказали: «Правильно, ребята, сделали. Нам с красными не по пути».

Добрался я до Макрени, а там — брат двоюродный, сын дяди Ермила, из Питера приехал. Он человек с университетским образованием, эсер, политик — толковый, говорит мне: «Ты, Василь, зря сбежал, тебя за дезертирство расстрелять могут. Пока не поздно, иди опять на призывной пункт». Во второй раз, когда по военным частям распределяли, я попросился в кавалерию. Вот так и стал кавалеристом.

С 19-го по 23-й год, как говорят, «с лошади не слезал» и стал политически зрелым бойцом.

Удод

Любовь к лошадям — особая колея в жизни отца. Как-то он сказал: «Из всех животных самое красивое — лошадь; в ней благородство и грация, в беге подобна птице, а ритмы его — высокая музыка. Можно сказать, что среди животных лошадь — аристократка».

— Так уж и аристократка, — ответила я.

— Да. Я вот расскажу тебе историю из времен Гражданской войны.

После очередной боевой операции остановились мы на привал в лесочке, на берегу реки. Почистили, отмыли лошадей, сами отмылись. Все уже почти готовы, и я сделал последние штрихи, начистив до блеска сапоги, можно с ходу на парад.

Товарищ мой поглядел на меня хитро: «Василь, ты когда-нибудь удода видел?» — «Нет». — «Вон в лесочке на полянке разгуливает, райская птица…»

Птицы у меня всегда вызывали интерес. Пошел я на полянку, и в самом деле: гуляет птица в разноцветном оперенье, на голове — корона, вся сверкает радугой. Никогда ничего подобного не видел. И главное — на меня смотрит и не улетает… Я приблизился, она вспорхнула понизу и опять села. А меня как магнитом к ней тянет. Я подошел — от нее вонь страшная, но красота ее необыкновенная эту вонь пересилила. Я все же подошел к ней, взял в руки, погладил — отпустил, она вокруг меня ходит, не улетает… Я опять на руки взял, разглядываю, глажу… Любовался, пока сигнал на сбор не услышал.

Подошел к своему коню, а конь на дыбы, ржет, не подпускает… Что такое? Опять попытался вскочить, а он меня копытом по ноге ударил. С помощью товарищей еле вскочил на коня.

А они смеются: «Что, Василь, посмотрел удода? Конь вони не терпит…»

Мучился с конем несколько дней, пока из формы вонь не выветрилась.

Шутка

Отец мой — человек не угрюмый. Любил меткое, острое словцо. Как-никак, в мужской компании почти девять лет: пять — в Гражданскую, четыре — в Отечественную. Но ругателей, сквернословов терпеть не мог. Нам,

детям, говорил: «Без шутки жить нельзя, но всегда надо знать меру; дурацкая шутка балансирует на грани трагедии».

— Ну уж трагедии, — улыбнулась я.

— А вот история из-за дурацкой шутки у меня вышла очень нехорошая.

Эскадрон — это как рота в пехоте. В походе он держит строй. У каждого свое место. Если на коне длительное время — устаешь от однообразия, хочется пойти на рысях, а то и вовсе аллюром, перейти в галоп. Со мной рядом в строю — хороший парень Сашка, отличный кавалерист, мы во втором ряду, а у него впереди кобыла, хвостом к гриве моего коня; норовистая, породистая, красивая кобыла… Вот я в момент, когда никто не видит, хлыстиком ей под хвост… Она сразу — ржать, вскидывает передние ноги и мчится как бешеная куда попало, — а за ней вскачь весь эскадрон, врассыпную. Всем весело, а хозяин кобылы страдал и сказал нам: «Ну, мерзавцы, если еще какой гад тронет мою кобылу, зарублю».

Кавалеристы — народ горячий, эмоциональный, в атаке всегда в состоянии аффекта. Но я его угрозе не придал значения. В очередном походе опять я хлыстик кобыле — под хвост… Ну и пошла метелица…

Еле-еле собрались у стана. А парень на кобылице едва живой прибыл; аж зеленый от злости, соскочил, кричит: «Ну, твари, где этот Сашка — подлец? Засеку…» Саблю из ножен выхватил — и за ним… Сашка в мгновение ока — под кровать. Хозяин кобылы так рубанул, что постель с матрацем — пополам, даже металлическую сетку рассек. А Сашка из-под кровати кричит: «Петро, Богом клянусь: не трогал я твою кобылу». Кое-как угомонились. Я крепко с шуткой перебрал, молчу, а то б и меня зарубил. Только когда немного времени прошло, я перед ними повинился. Простили. Вот тебе и шутка…

Перемены

Впечатления Отечественной войны, видно, самые тяжелые в его жизни, сгладили эпизоды Гражданской войны, и отец не вспоминал о них.

Но как-то вскользь сказал: «Я командарма Тухачевского видел. Сейчас в кино показывают всех командармов на машинах, а тогда в России автомобилей по пальцам сосчитать можно было. Конь — основное средство передвижения. Наша часть стояла в большом имении, обнесенном кирпичным забором. Объявили, что на смотр приезжает командарм Тухачевский. Меня поставили в караул к Центральному въезду. Все напряженно ждали большого начальства. За несколько минут до его приезда меня вдруг от центральных ворот перевели в караул на боковой въезд. Дорога в имение шла вдоль ограды. Я бдительно смотрю на дорогу: заклубилась пыль… Гляжу: мчится карета, запряженная цугом в три пары. В окошке кареты — командарм хорошо виден… знатный барин.

В мое время Тухачевский уже числился во врагах народа, и я не стала расспрашивать, где это происходило. По-видимому, где-то в Смоленской области. Но мне хотелось побольше знать из истории Гражданской войны, и я спросила:

— Что ты делал с 19-го по 23-й год в эскадроне?

— Воевал.

— С кем?

— С бандитами. Они по всей стране гуляли армиями. Только в 23-м году стало стихать. Вышел указ Правительства, по которому Советская власть прощала всех, кто воевал против нее, но должен добровольно явиться для

регистрации. Реабилитации не подлежали только лица, совершившие дерзкие преступления против народа. Это касалось в основном атаманов.

Командир нашего эскадрона, человек душевный, чистый — мы его любили, как отца, — умер от ран, полученных в империалистическую войну. А я был его заместителем. Меня назначили не по приказу штаба, а по воле моих боевых товарищей. После смерти командира я возглавил эскадрон. А нам как раз поручили ликвидировать последнюю банду и арестовать главаря. Атаманов всех приговаривали к расстрелу.

Я решил не подставлять своих товарищей, разузнал тайком, где в лесу базируется банда, и пошел один.

Кто-то по следу за мной пустил огромную собаку, и я вынужден был ее пристрелить. Долго плутал по лесу, но учуял дымок костра. На него и пошел и вышел к огню. Там вокруг вся банда собралась, атамана не было, где-то спрятался. Я подошел, поздоровался и сказал: «Все, ребята, кончайте хулиганить, сдавайтесь, вам ничего не будет, всех Советская власть прощает». Прочитал им указ…

Наутро вся банда сдалась, а главарь — исчез. Его не поймали. Мне ставили это в вину, но из-за моей малограмотности простили. Зато избежали кровопролития. С провалом операции надежды связать свою судьбу с армией рухнули.

К нам прислали нового командира, какого-то черта картавого. Невысокого роста, въедливый, и все на казаков орал, видно, Наполеоном себя воображал. А кавалеристы народ самолюбивый, им такое отношение не по душе.

Этот новый командир затеял какую-то аферу с лошадьми. Решил половину коней заменить, отправить на живодерню, а купить новых. Вызывает меня:

— Устинович, тебе задание: выбракуй половину лошадей, отправим на живодерню, новыми молодыми заменим. Ясен приказ?

— Ясен.

Пошел в конюшню, к каждому коню подхожу, все смотрю: и ноги, и уши, и хвосты, и гривы, и глаза… А кони, как люди, я их чувствую и понимаю, и они — меня. Сердце в комок сжалось, не могу ни одну лошадь выбраковать, на смерть послать. Час прошел, второй пошел — хожу по конюшне как шальной, ни одному коню не могу смертный приговор вынести.

Влетает в конюшню начальник:

— Устинович, выбраковал лошадей?

— Нет.

— За два часа ни одну лошадь не выбраковал? Ты что, осел, дурак, что ли?

— Да пошел ты… — и послал его на три буквы. — Это тебе не свиней выбраковывать.

— А за невыполнение приказа и за хамскую грубость пойдешь на губу на тридцать суток.

Как раз в это время вышел указ: в целях укрепления дисциплины в армии, за невыполнение приказа и оскорбление вышестоящего начальства полагалось наказание вплоть до расстрела.

Меня сразу же взяли под арест. А пока я сидел, в эскадроне произошли потрясающие события. Товарищи мои, как проведали о том, что я не отправил их лошадей на живодерню и за это понес наказание, — взбунтовались. Шутка сказать: конь для кавалериста — боевой товарищ, дороже жены. Решать судьбу коня без его хозяина — грубая ошибка. Так взбеленились, что решили убить этого новоявленного чертяку-командира.

А тот учуял и дал деру. Как ветром сдуло, дезертировал в неизвестном направлении.

Прислали нового командира. Демобилизовали половину эскадрона, и меня первого. Так с военной карьерой было покончено.

Домой, в Макрень, вернулся, захотелось новую жизнь строить. Агитбригаду с двоюродным братом создали. Но из-за происхождения макреньцы нас недолюбливали. Пошел в Чечерскую милицию работать, а потом, после смерти мамы, уехал… Она перед смертью заклинала меня: «Уезжай, сынок, отсюда; здесь добра тебе не будет». Так я в Добруше оказался и женился здесь.

В Добруше в милиции я работал успешно, несколько преступлений раскрыл. Но к началу тридцатых годов началась перетасовка кадров: потребовалось заполнять анкету и давать сведения о родне, даже дальней. В графе о родственниках за границей пришлось указать, что два двоюродных брата находятся в эмиграции во Франции.

Через несколько дней начальник милиции вызвал меня и сказал: «Устинович, увольняйся, роста тебе не будет, у тебя братья за границей».

Оскорбленный и униженный, отец уехал с женой в свою деревню Макрень, попытать счастья в крестьянской жизни. «А какое счастье в крестьянстве?» — говорил отец.

Скитания

Не найдя счастья в деревне среди своих злобствующих земляков, он под напором жены с двумя крошками-девочками опять уехал в Добруш и, пройдя курсы, пошел работать содовщиком на бумажную фабрику. Вредное производство, но платили хорошо.

В это время по стране прокатилась серия террористических актов. В Добруше отравили двадцать детей, всю ясельную группу, погиб его шестимесячный сын Ленечка, которого он очень любил.

По своему воспитанию отец отличался от добрушан, не вписывался в их среду, и всякое критически брошенное слово могло стать поводом для ареста и расправы. И он сбежал в Ленинград, где у него было много дальней родни.

Мать отыскала его через год, завербовавшись в Карелию на бумажное производство. Не успели обжиться на новом месте — началась Отечественная война.

Я смотрю на отцовскую фотографию в милицейской форме этих лет. Его форменная фуражка с дыркой от пули висела у нас в комнате на гвозде как реликвия.

Историю этой фуражки позже рассказала мать.

— Когда мы жили в Макрени, там еще хозяйничали бандиты. Однажды в деревню ворвался на тачанке преследуемый кем-то бандит. Стоя во весь рост, он гнал по деревне коня. А посредине улицы играли дети. Ваш отец мгновенно все понял, бросился наперерез, с реакцией, присущей кавалеристам, схватил коня за уздцы и остановил в двух метрах от детей, беспечно игравших на дорожке. Обезумевший бандит пальнул из нагана в его голову. Пуля пробила верх фуражки, не задев головы. Бандит спрыгнул и с невероятной скоростью побежал к лесу, скрылся в нем.

Детям повезло, что ваш отец шел в это время по улице. Спасителю достался трофей: конь с тачанкой. Пулемет с тачанкой он сдал в чечерскую милицию, а себе оставил белого коня. Успел вспахать весной свою землю, и коня у него забрали, началась коллективизация.

Из отцовских рассказов о Гражданской войне мои представления так и остались бы на уровне анекдотов о Чапаеве, Петьке, пулеметчице Анке, а мой отец — неким шутом, «красным гусаром» с шашкой в руке, если бы не один маленький эпизод из нашей послевоенной жизни.

Наказание брата

Два моих младших брата родились после Великой Отечественной войны, когда родители постарели. Витя — мой брат, добрый мальчик, большой фантазер, не всегда прилежный, получил две «двойки». Одну страницу, со злополучной «двойкой», он выдрал из дневника, а другую — стер и подделал подпись. Мать обнаружила. Я уже в свои шестнадцать лет работала в школе пионервожатой, мне бы заступиться, но я решила не вмешиваться. Мать ввела его в хату и заявила: «Вот, ты — отец, разбирайся с ним. А то мать — плохая, а отец — хороший, а сынок из дневника листы выдирает и подписи подделывает».

Витя — маленький первоклассник, стоял впереди матери, ожидая наказания, пощады не просил и ждал расправы. Сердце мое сжалось от сострадания, но подделывать подписи учителей — это уже слишком, и я подумала: отец — человек не злой, пусть в наказание пару раз хлестнет ремнем.

Отец снял с гвоздя ремень, задрал рубашонку и нехотя, вяло ударил ремнем. На спине мальчика вспыхнули розовые полоски. В следующую секунду он нанес удар со всего маху. Лицо отца изменилось: оно стало молодым, бледно-розового цвета; появилось выражение какого-то безумного упоения. Он рубил по телу сына крест-накрест, как рубят шашкой в бою на коне. По-видимому, сознание его отключилось. Весь он внешне изменился, стал молодым и уменьшился в объеме.

Я испугалась и закричала матери: «Он убьет его!» Мать в мгновение ока сориентировалась и стала вырывать сына из рук мужа. Но не тут-то было… Тогда она собрала все силы и потянула мужа к себе, малыш мгновенно нырнул под кровать. Отец очнулся, обмяк, снова стал сгорбленным и старым… и виновато смотрел вокруг… Только через несколько часов, когда на стол поставили чугунок с картошкой и миску капусты, я заглянула под кровать: Витя спал, забившись в самый угол, я разбудила его и позвала к столу…

Этот случай открыл мне что-то страшное, что прячется в каждом человеке и вырывается наружу, когда появляется безнаказанная возможность истязать и даже убивать себе подобное существо.

Не дай бог этому безумному «нечто» вырваться за пределы разума… За этим следуют войны и всякие «инквизиции».

И еще я поняла, что Гражданская война — тяжелое испытание для духа человеческого, и там трудно разделить, где «свой», где «чужой». Вот поэтому отец не любил рассказывать о боях Гражданской войны.

Отголосок Гражданской войны

Шел 1945 год. Отец только что вернулся с фронта и решил повидаться со старшей сестрой Анютой, которая с семьей жила в маленьком поселке Городовка возле Сожа. Автобусов не было, а машины шли редко, и мы поплыли на маленьком катере, который связывал прибрежные деревеньки и поселки, забытые богом и людьми, с областным центром.

Катер отплыл поздно вечером. Над рекой повисли сумерки, но берега хорошо угадывались. Часть пассажиров поместились в трюме, но большинство предпочли палубу. Вдоль бортов катера — скамейки, на которых устроились бабы с детьми, а кому места не хватило — сидели прямо на палубе.

Нам досталась скамейка. Хотелось спать, но на этой скамейке, как на колу.

С любопытством я всматривалась в происходящее на каждой остановке.

В одном месте на берегу стояла группа мужчин. Они о чем-то грубо и гулко говорили, а когда трап убрали, отец мой быстро поднялся и подошел к краю, где только что убрали трап, всматриваясь в группу на берегу. И сразу оттуда послышался громкий приказ: «Причаливай к берегу!»

Капитан ответил:

— Не имею права. Мы идем по расписанию.

— Причаливай. Нам нужен только один человек.

— Не имею права, — опять в рупор ответил капитан.

— А автоматной очереди не хочешь? Причаливай.

Отец поднялся и сказал матери:

— Это меня. В Гражданскую упустил одного гада, вот теперь он здесь, банда, пойду к капитану.

Отец подошел к капитану, что-то сказал ему. И они спустились в трюм. Катер опять причалил к берегу. Мать предупредила меня: «Сиди тихо. Бандиты».

По трапу поднялись двое. Я думала, что у них автоматы и бомбы на поясе, но это с виду были обыкновенные мужики.. Они спустились в трюм, потом пошли по палубе, всматриваясь в сидящих мужчин, их было мало, в основном женщины с детьми. Нас они не удостоили вниманием. Обошли палубу с двух сторон… Потом главарь пошел к трапу и сказал: «Отчаливай. Мы ошиблись».

Только когда катер отошел от берега и плыл уже на середине реки, появился отец.

— Где ты был? — спросила мать.

— Капитан в своей каюте спрятал. Вольготно здесь гуляют бандиты.

Анализируя события многих лет моей жизни, я делаю вывод: бандитизм — следствие раскола в обществе.

Отец мой люто ненавидел воров, бандитов и всю жизнь с ними боролся.

Красноармейская книжка

Перебираю отцовские документы. Вот справка из Добрушского объединенного городского военного комиссариата от 28 мая 1974 г.

Справка

Дана сержанту запаса Устиновичу Василию Константиновичу 1900 г.р. в том, что он действительно проходил службу в Советской Армии с 04.1919 г. по 15.10.23 г. и с 6.07.1941 г. по 22.07.1945 г.

Итак, четыре с половиной года воевал в Гражданскую войну и четыре года — в Великую Отечественную войну. Почти девять лучших лет человеческой жизни прошли в боях!

Не много ли?

После Гражданской войны отец был признан не годным к воинской службе. От этой войны на теле остались шрамы и ссадины. Особенно пострадали ноги, синие, в отеках… Он получил, как тогда говорили, «белый билет».

Но началась Отечественная война; нас успели из Карелии эвакуировать в г. Волжск. Отец пошел в военкомат и добровольно попросился на фронт. Его призвали, и он попал в блокадный Ленинград.

Держу в руках Красноармейскую книжку: серенькая обложка из оберточной бумаги с красной звездочкой. Сколько выдали таких книжечек в Отечественную войну? Миллионы… Но в каждой — фамилия бойца и отметки об участии в сражениях.

Раскрываю первую страницу. На ней записано: «Военную присягу принял 5.08.1942 г. Командир 5 роты 90 гв. стр. п. 268 див.

Гв. ст. лейтенант И. Фролов».

2-я страница — фамилия, имя, отчество.

Звание и должность — гвардии младший сержант, зам. командира отделения.

Наименование части (учреждения)

90 гвардейский полк 29 гсвко СД (неразборчиво)

Наименование подразделения (батальон, рота)

— 2 б-н, 5 стр. рота.

III раздел (6-я страница)

— Участие в походах, награждения и отличия —

Принимал участие в боях:

под Синявином 10.1944 г.

под Ленинградом 05.10.1944 г.

под Эргли 09.30.1944 г.

под Салдусом 03.17.1945 г.

2-й Прибалтийский фронт.

ранен

мед. «За отвагу» — 06.02.1945 г.

мед. «За оборону Ленинграда» — 07.10.1943 г.

Записи сделаны гв. ст. лейтенантом Фроловым не в календарной последовательности, но я восстанавливаю в памяти эпизоды, рассказанные отцом, по календарю. Мне помогает еще одна запись: «Прохождение службы».

Волжский РВК — 07.1942 г.

108 зсп — 07.29.1942 г.

947 стр. полк — 08.17.1942 г.

Наводчик станк. пулемета

Ефрейтор.

90 гв. сп 29 г СД — 02.02.1945 г.

— пом. командира отделения;

Присвоено звание гв. мл. сержант — 09.27.1945/91

И. Фролов

Дорога жизни

Отец говорил:

— В Ленинграде почти два года провел за пулеметом. Пулеметные гнезда закрывали Дорогу жизни, единственную связь между городом и страной. Голод заставлял людей идти под пули, преодолевать страх артобстрелов и бомбежек. За нашей пулеметной линией пустырь тянулся. На нем ленинградцы решили капусту посадить; сажали под обстрелом. Убьют огородника, тело оттащат — и другой на его месте. Осенью убрали, и мы, солдаты, кочерыжки выкапывали и жадно ели — голодные: жидкая похлебка и тонкий ломтик хлеба в день. Особенно тяжко курильщикам: табак — не всегда. Мне легче, я — некурящий. Свой табак на хлеб менял. А курильщики пропадали, дубовые листья курили, но это им мало помогало.

Мне вообще везло, меня будто Божья Матерь охраняла.

Мы по сменам несли службу. Пока за пулеметом в напряжении — тело как будто отключается.

— А часто атаки были? — спросила я.

— У немцев одна задача: прорвать оборону; а потому без перерыва, атака за атакой. Однажды сменили нас, и мы поползли к своему сараю. Вдали стоял этот каменный сарай. Мы в нем и базировались: там — и кухня, там и спали.

Недалеко от сарая — кирпичная уборная. Приползли, поели теплой баланды. Тут у меня от такой пищи в животе забурлило, и я побежал в уборную. Мне в спину смех: «Наш батя аристократ, по часам бегает».

Только добежал, вошел в нее, а снаряд из гаубицы как ухнет. И меня подняло в воздух вместе с уборной, а потом шарахнуло о землю, уборная развалилась, а я жив, только коленный сустав левой ноги вышибло. От того места, где находился, взрывная волна на сто метров унесла. А вместо сарая — одна глубокая воронка, даже тел не осталось. Погибли все ребята, совсем молодые, вся смена…

В правдивости этого рассказа я нахожу подтверждение среди документов, копию справки из Военно-медицинского музея Вооруженных Сил СССР.

Справочное бюро о раненых и больных

г. Ленинград

Справка

Выдана настоящая Справочным бюро о том, что согласно хранящейся в ВММ ВС СССР карточке учета раненых и больных за № 992 ЭГ 2010 пулеметчик 947 стр. полка, ефрейтор Устинович Василий Константинович 16 декабря 1942 года при исполнении служебных обязанностей получил травму левого коленного сустава и с 20 декабря 1942 года находился на излечении в эвакогоспитале 2010 г. Ленинграда, куда поступил из э/ч 1170 по поводу гемартроза левого коленного сустава и резкого угловатого расширения вен левой голени.

7 декабря 1943 г. т. Устинович В. К. по окончании лечения выбыл в батальон выздоравливающих (Съездовская улица 1/3 г. Ленинграда).

ВРИЗ Начальник справочного бюро,

Майор медицинской службы. (Подпись, печать.)

Нач. отдела учета рядового и серж. состава,

Майор мед. службы. (Подпись, печать.)

— Вот видишь, дочь, я сижу перед тобой, а значит, я — живой, мне повезло. Участвовал в боях под Ленинградом, Выборгом и даже был представлен к награде медалью «За оборону Ленинграда». А другие, молодые, гибли в первом сражении, остались лежать на поле боя.

Меня как будто святая сила хранила.

Один в поле воин

Однажды приехала к родителям, поднялась на 5-й этаж их однокомнатной квартиры; отец лежал на спине и о чем-то думал; ходил он плохо, спускаться с пятого этажа без посторонней помощи не мог.

Сосредоточенный на своих воспоминаниях, отец молчал, и я не тревожила его. Он сам заговорил:

— Говорят: один в поле — не воин. А бывает и один — воин.

Я на 2-м Прибалтийском фронте воевал. Сражались за каждый клочок земли. Какая-нибудь высотка из рук в руки переходила по несколько раз: то мы немцев выкурим, то они нас опять отбросят.

Перед боем мы с моим первым номером договорились: сообщить родственникам о гибели, если один уцелеет; обменялись адресами. Мой первый номер — грузин, очень хороший человек. Мы с ним как единое целое у пулемета.

Бой выдался тяжелым: немцы били прицельно по пулеметным гнездам. Мой первый номер погиб, я оттащил его от пулемета и стал строчить. Следующий снаряд разбил пулемет, а меня отбросил вниз, в траншею. Почув-

ствовал острую боль в бедре. Поднялся и, волоча ногу, подошел к старшине, говорю: «Пулемет разбит, а меня осколком в бедро ранило». — «Перебинтуй рану и ползи к нашим. Вон, видишь березовую рощицу, там наши два орудия стреляют, там — санитарная машина. Доползешь, может, уцелеешь. А нас уже всего трое от роты осталось. Прощай, Устинович, живи».

Я взял автомат, выполз из траншеи и тут же от боли потерял сознание. Очнулся — опять попытался ползти: не тут-то было. Боль разрывала тело, и я опять потерял сознание, очнулся — попытался встать… встал — держусь на ногах: ползти не могу, а идти — можно… Ну и пошел: будь что будет!

С двух сторон стреляют: и орудия, и минометы, и пулеметы… Жуть. — Отец поднял к ушам руки и проговорил: — Что творилось… Ад, настоящий ад: вспышки, разрывы, грохот… А я иду как завороженный. Как будто Божья Матерь меня своим покрывалом укрыла.

Вижу, вдали вроде хуторок: а у прибалтийцев сараи — каменные. Я в сарай, стог сена рядом; думаю: пережду обстрел. Заглянул — никого нет, стою у входа, и вдруг — в проеме — высоченный рыжий немец, и тоже с автоматом на груди. Стоим друг против друга и на прицеле друг друга держим. Мгновение — вдруг немец — бух: «Гитлер — капут, Сталин — капут». У меня только мысль мелькнула: «Я тебе покажу капут!», а немец вмиг выскользнул из сарая и скрылся…

Я вышел: немца — не видно. Как положено по уставу, дал очередь по основанию стога и дальше заковылял к березовому лесочку.

Подхожу: одно орудие снарядом разворочено, прислуга вся перебита, одни трупы. Другое орудие стреляет. Пробираюсь через трупы, подхожу к стреляющему орудию. У орудия — только один молоденький лейтенант; картаво крикнул мне:

— Солдат, подавай снаряды!

— Да я раненый, иду к санитарной машине!

— Санитарная машина давно ушла. Видишь: впереди — танки. Через несколько минут они нас по земле размажут.

Я начал из ящика подавать снаряды. Лейтенант точно держал прицел: танки остановились, один — задымился… Мы ведем бесперебойный обстрел. Лейтенант кричит мне: «Снаряды кончаются, иди к первому орудию и принеси ящик!»

Перешагивая, перетягивая трупы, я расчищал дорогу к ящикам со снарядами у первого орудия. Наконец добрался и пошел с ящиком снарядов назад. Наше орудие замолчало, и я заторопился. Смотрю: лейтенант лицом вниз на прицеле, убитый…

А танки снова пошли в атаку. Я оттащил от орудия тело лейтенанта и вложил заряд, прицелился так, как это делал лейтенант, и послал снаряд, а потом — снаряд за снарядом… Вижу: один танк задымился, и второй задымился, и танки повернули назад… От нервного напряжения и от боли в бедре я потерял сознание…

Очнулся уже на операционном столе в хирургической палатке, мне зондировали рану, после положили на носилки и отнесли в госпитальную палатку. Полевой госпиталь: раненые — в ряд, прямо на земле. Лежу, начался озноб, весь горю. Вечером сестра измерила температуру, а у меня зашкалило за сорок. Побежала к хирургу, и меня опять — на операционный стол… Оказалось: кусок шинели осколком вбило прямо в мясо. Хирург его в первый раз не заметил: кровь — отличить трудно. Из-за этого куска шинели и кровотечение было небольшое, смог танковую атаку отбить.

Вот тебе и «один в поле не воин».

После второй операции пошел на поправку. В полевом госпитале сообщили, что за мужество, проявленное в бою, наградили меня орденом «Красной Звезды». Хирург хорошо мне вычистил рану почти до кости — значительную часть бедра потерял, но быстро затянуло, встал — хожу… Отправили в батальон выздоравливающих. Там каждому дело найдут.

Судя по записям в документах, это событие происходило в боях под Эргли в Прибалтике. В Красноармейской книжке записано: «Принимал участие в боях под Эргли 30 сентября 1944 года», и в справке из Архива военно-медицинских документов 2-го отдела записано: «Стрелок 268 д. 947 с. п., красноармеец Устинович Василий Константинович, 1900 г. рождения, на фронте Отечественной войны 30 сентября 1944 г. получил слепое осколочное ранение мягких тканей правого бедра по поводу чего 2 октября 1944 г. находился на излечении в СЭГ-8145, предыдущие этапы ЭП-95, из которого выбыл 2 октября 1944 г. для дальнейшего лечения».

Жареная картошка и полевой банкир

Мое появление в гостях у родителей отец встретил веселым восклицанием: «Вот хорошо, приехала, будем есть толченочку». Матери дома не было.

— Пап, а может, лучше поджарим на сковородке картошку?

— Нет, нет, толченочку…

— Но жареная картошка — вкусней…

— Нет.

— Что ты так не любишь жареную картошку?

— Она у меня вызывает тяжелые воспоминания из моей военной жизни.

— Расскажи.

— После ранения в бедро отправили меня в батальон выздоравливающих и определили охранять военно-полевой банк.

Прибыл по назначению. Докладываю капитану-финансисту: «Ефрейтор Устинович прибыл из батальона выздоравливающих в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы.

— Так, хорошо! Вон мешок картошки, сковородка, масло. Приготовь жареную картошку. Он мне не понравился: маленький, желчный, злой. Я дурных людей навылет вижу… Целый день меня гонял по мелочам. Как будто я его раб. Ночью встал на охрану. Хоть и прифронтовая полоса, но всякой швали, падкой на деньги, везде хватает.

Утром я и на пять минут глаз не сомкнул, капитан опять: «Готовь жареную картошку». Потом обед готовил, ужин; ночью — опять охраняю. Совсем замотал меня капитан, ноги разболелись, едва держусь. Картошку чищу и засыпаю…

На третий день капитан-финансист пригласил в гости майора-танкиста. Я им обед готовил: похлебку из консервов и жареную картошку. Как положено старшему по званию, майору первому котелок с похлебкой подал. Так финансист, черт самолюбивый, аж позеленел, а потом побледнел…

Вот ведь, в жизни более пакостного человека не встречал.

И майору понравилась жареная картошка. Он обратился к капитану: «Слушай, дай мне сковородку ужин приготовить; сразу верну. Мы ж недалеко от вас в лесочке стоим».

— Ладно. Бери. Но после ужина сразу верни.

— Добро.

Сковородку майор к вечеру не вернул, а утром я капитану картофельное пюре приготовил. Подаю, а капитан мне этим пюре чуть лицо не залепил.

— Почему не поджарил?

— Так вы ж, товарищ капитан, майору-танкисту вчера сковородку отдали.

— Иди за сковородкой.

Пошел… еле иду, бедро ноет, в сон клонит. Еле доковылял к танкистам. Нашел майора, а он говорит: «Не знаю, где сковорода, спроси у танкистов». Я всю часть обошел, к каждому танку подходил; гыгыкают, говорят: «Сковороду не видели…» Короче, заныкали сковороду. Прихожу к капитану, докладываю: «Товарищ капитан, танкисты сковородку не отдают».

— Иди опять. Сковороду верни.

Опять пошел — результат тот же. Нагло смеются, не отдают. Пошел ни с чем, опять докладываю капитану:

— Да не отдают они сковороду. Что я могу сделать?

— Я тебе сказал: иди! Без сковороды не возвращайся.

Ну, что делать. Приказ есть приказ… Опять пошел… Чуть ли не слезно просил танкистов вернуть сковороду. Говорю: «Капитан-финансист из меня душу вытряс, верните, ребята…»

Вернулся без сковороды. Капитан на меня понес: «Я тебе приказал — без сковороды не возвращайся. Иди опять…»

И тут меня прорвало: «Да пошел ты… — и послал его на три буквы. — Не строй из себя Ивана Ивановича…» — «Так. Пойдешь в штрафбат». — «И пойду… Чем такой скотине прислуживать — лучше погибнуть…»

Он сразу написал рапорт и подал в трибунал.

Он от нас недалеко заседал, на открытом воздухе, за столом, покрытым красной материей: три человека, военно-полевой суд и стопка рапортов.

Сижу на земле с другими такими же, горячими, жду своей участи. Вся жизнь моя галопом перед глазами пронеслась… Ни одного не помиловали, всех — в штрафбат.

У меня только спросили в подтверждение — фамилию, 44 года, четверо детей… И приговор — штрафной батальон. Оттуда почти никто не возвращается.

Всех приговоренных — сразу в бой.

Бои под Синявином

Вспоминаю его рассказы и удивляюсь, что кошмары военной жизни не убили в нем интереса к окружающей природе, к птицам. К ним у него было трепетное отношение. Человек, переживший Ленинградскую блокаду, никогда сытно не евший, из скромной пенсии выделял деньги на хлеб для птиц. Размачивал его, растирал в миске и ставил на балконе. К этой кормушке слетались и голуби, и воробьи, и другие птицы. Мать редко бывала дома: дети, внуки, покупка продуктов, но понимала его и для птиц покупала буханку хлеба.

Один раз я сказала отцу:

— У тебя кормление птиц, как ритуал какой-то.

— Ритуал. Птицы — посланники Божьи. Меня птичка от смерти спасла.

— Любопытно…

— Попал я в штрафную роту и прямо в бой под Синявино.

В Красноармейской книжечке младшим лейтенантом Фроловым записано в графе: «Участие в походах, награждения и отличия»: «Принимал участие в боях под Синявином».

Как рассказывал отец, после военно-полевого суда к осужденным присоединили группу зеков: «Такие рожи, отъявленные ворюги и бандиты. Сформировали две роты: 5-ю и 6-ю. Я попал в 5-ю роту».

Построили нас буквой П. Майор объявил: «Вещмешки положить на землю, все документы, награды положить в вещмешки, шинели, ремни снять и тоже положить рядом с вещмешками — хозчасть заберет. Вам предстоит идти в атаку и захватить немецкие бетонированные укрепления, а затем, когда наши танки пойдут, прикрыть их по команде: «В атаку, ура!» Ясно? Не забывайте: от вас зависит судьба Ленинграда, миллионного города с детьми и женщинами, умирающими от голода и болезней. Ценой жизни захватить блиндажи. Две роты уже в атаке легли до одного человека, а вам будет легче. Вот ваш командир, — и представил молоденького лейтенанта, только что вышедшего из училища, — он поведет вас в атаку».

Лейтенант ответил: «Товарищ майор, если здесь уже легли две роты и после двух атак не осталось ни одного человека, а укрепления по-прежнему у немцев, какой смысл посылать еще одну роту на смерть?»

Майор изменился в лице и крикнул: «Ах ты, говнюк, что ты понимаешь?» Ударил его ногой в пах, сорвал погоны… «Кто поведет в атаку?» — обратился он к солдатам.

Один откликнулся: «Я». — «Давай».

Со мной рядом оказался тип с видом бандюги. По-видимому, я побелел от предстоящего, и он мне дружелюбно сказал: «Батя, не дрейфь. Сейчас ворвемся в блиндаж, поубиваем фрицев, у них всегда еды много, нажремся…» Тут послышалось: «В атаку, вперед! Ура!» И мы побежали… Кто, сраженный, падал, кто бежал. Ворвались в траншеи… После наших атак и гибели двух рот немцев осталось мало. Началась рукопашная, и мы их одолели, всех поубивали. Порешив последнего немца, пошли рыскать по блиндажу и траншеям в поисках еды. Нашли хлеб, консервы, вино… Меня трясло, как в лихорадке: октябрь, в одной гимнастерке. Немцы с комфортом жили, я нашел теплое шерстяное одеяло, набросил его на плечи, как палатку, а поверх автомат. Осмотрелись: за два года блокады Ленинграда немцы здесь крепко обосновались, но мы их своими телами одолели. Эйфория победы над фрицами быстро прошла, когда по немецким укреплениям, где уже мы обосновались, ударила наша «Катюша».

По-видимому до штаба еще не дошли донесения, что мы захватили немецкие укрепления, и чтобы обеспечить успех танковой атаки, решили эти укрепления очистить от немцев, а поубивали своих.

«Катюша? Что это такое?» В словаре человеческом не сыщешь слова. Я обмотал голову с каской одеялом и пытался зарыться в землю как можно глубже… Когда стихло, размотал с головы одеяло: тишина… Огляделся вокруг: всюду мертвые тела вперемешку: и наши, и немцы. Одним ухом, тем, что к земле лежал, слышу: «В атаку, вперед, ура!» В другом ухе барабанная перепонка лопнула. Недалеко от меня дружелюбный бандюга лежит, я потрогал — мертвый; мысль мелькнула: «Перед смертью наелся…» К другим телам подхожу: может, думаю, кто раненый? — все мертвые… Неужели один я живой?

В боковую траншею побежал, спотыкаясь о тела погибших. Может, там кто живой остался? Все мертвые… Один приподнялся — я к нему: «Слышь, атака, надо бежать за танками». А он молчит, взгляд — безумный, глаза красные, вылезли из орбит, и ничего не соображает… Я махнул на него рукой; вижу: через бруствер перевалились человека четыре из шестой роты и побежали за танками; ну, и я из траншеи вылез и побежал… Смотрю: солдаты из шестой роты на башни наших танков лезут, и я влез: немецкое одеяло на плечах, автомат на шее. Из двух рот — пять человек выживших…

Танки остановились в лесочке. Из башен командиры вылезли. Майор-танкист говорит замполиту: «Надо послать в разведку солдата. Нет ли справа немцев». У майора какое-то знакомое лицо, но я память не напрягаю, а думаю: «Господи, хоть бы меня не послал, очень бедро разболелось». Нет, майор углядел меня: «Вот ты, солдат, узнай: справа нет ли немцев?» Слез с башни, пошел…

Иду по незнакомому лесу, одним ухом вслушиваюсь, вроде тихо… И тут птица какая-то прямо перед носом моим пролетела; я приостановился: «Что такое?» — и дальше иду. А она перед лицом крыльями машет, дорогу загораживает, не дает идти: «Чудо какое-то…» Я приостановился: слышу — немецкая речь. Я так на землю и рухнул. Гляжу через просветы стволов: небольшое болотце, а за ним — немецкая танкетка-разведчица… Из башни вылезли два немца: один ногой почву у края болота щупает… потрогал ногой, что-то сказал другому, они влезли в башню, развернулись и уехали… Ай да птичка: Божья посланница, может, душа моей матери в ней? Болотцу этому метров двадцать. В упор бы меня немцы расстреляли… Это лучший вариант, а языком стать… Я ползком назад… Добрался к своим, докладываю майору: «Товарищ майор, справа немцы, только что видел немецкую танкетку-разведчицу…»

Доложил и опять на башню залез. Сижу, весь промок, окоченел… Майор на пригорке стоит… Шевельнул рукой, автоматная очередь вылетела: вот майор стоял, а вот его нет…

Вижу, бежит замполит:

— Кто стрелял?

Я с башни слез, отвечаю:

— Я стрелял…

— Почему?

— Замерз… окоченел весь — шевельнул рукой, и очередь из автомата вылетела…

А сам думаю: «Все. Конец. Расстрел…»

— Награды есть?

— Недавно к ордену «Красной Звезды» представлен.

— Вот за это преступление с тебя орден «Красной Звезды» снимается. Хорошо, что майор в живых остался, ранен, пойдет в госпиталь компот пить… Твое счастье, солдат. Как фамилия? — Записал…

Смотрю: на пригорке опять майор появился. Рука перебинтована и подвязана, белый как мел.

Господи! Спасибо Божьей Матери… И на этот раз уцелел.

После боя 5-ю и 6-ю роты восстановили…

Слышал, что в очередном бою вся эта танковая часть, с такими веселыми молодцами, погибла… уцелел один майор, потому что в госпиталь попал… Вот судьба…

Был слух и о капитане-финансисте… Его будто бы при прорыве наши солдаты пристрелили…

Уже много лет спустя после войны моя мать и племянник Руслан слышали историю с ранением майора по радио… Старый ветеран-танкист рассказывал о том, как благодаря случайному ранению уцелел… Просил солдата, ранившего его, откликнуться, обещал сделать все, чтобы вернули орден «Красной Звезды».

После победы

О боях под Салдусом, где его за подвиг наградили медалью «За отвагу», он ничего не рассказывал. Там, где он оказывался «на высоте», говорить не любил.

А вот промахи, ляпсусы его очень волновали… Он до самой смерти, видно, не мог себя простить…

Под Салдусом — его последнее участие в боях.

Дальше был большой переход в двести километрав, марш-бросок в направлении Берлина. Как рассказывал отец: «Дивизия в срочном порядке шла на укрепление наших позиций на Западе. Шли без привалов — тяжело было: пулемет на плече, автомат на шее; ноги ноют, все тело болит, а прилечь нельзя, спали на ходу… Ткнешься носом в идущего впереди и снова засыпаешь… До Берлина мы не дошли: был подписан пакт о капитуляции фашистской Германии…

Нас, стариков, сразу домой отправили по первой демобилизации».

Я увидела отца на нашей улице в конце июля 1945 года, узнала, но очень удивилась: был он красивым и молодым, а шел хромой, в ботинках с обмотками, ссутулившийся старик — станковый пулемет за четыре года сильно изменил его осанку, он согнулся — с усами, со скаткой на плече, с котелком на боку и полевой лопаткой, которую ему подарили на память в части при демобилизации…

Для отца начиналась новая жизнь: здоровья нет, лучшие годы потеряны… Он из-за инвалидности (II группа) не мог полноценно работать и обеспечить семью. Работала мать, кормила пятерых детей и мужа-инвалида. Отец утрачивал в семье свой статус главы, и это его мучило — смирился, но не сломался: преодолевал боли и добивался цели: свою хату поставил, дрова колол, помогал матери еду готовить, морально поддерживал детей и жену.

По возвращении с фронта двух воров поймал и посадил в тюрьму.

Министры

Наша семья вернулась в освобожденный Добруш сразу же. Его еще ежедневно бомбили. Бумажная фабрика «Герой труда» полностью разрушена, общественных учреждений нет. Уцелело одно здание клуба, потому что там был немецкий госпиталь, его не успели уничтожить. В нем обустроился и советский госпиталь. Первыми стали работать школы в самых неприспособленных помещениях и госпитальная библиотека. Ни поликлиники, ни хлебопекарни, ни гостиницы, ни чайной нет. Райком партии расположился в двух маленьких комнатах в кирпичном домике на берегу Ипути. Моя бабушка, тетушки Варя и Наля встали на партийный учет, и им сразу же дали партийные поручения. Тетушку Налю определили на сектор учета в райкоме партии, бабушке Фекле, рабочей бумажной фабрики, в уцелевшем подходящем домике недалеко от райкома партии поручили открыть чайную, а тете Варе-зоотехнику провести учет уцелевшего скота в районе, создать маслозавод и обеспечить военных раненых маслом и молоком. Бабушка пришла в ужас; для простой работницы, только при советской власти научившейся читать и писать, хозяйственная работа подобного рода — настоящий кошмар. Но от партийного поручения не принято отказываться.

В район для проверки приезжали всякие представители власти и из области, и из столицы. Гостиницы нет — и они ночевали в домах проверяемых.

Так однажды, это уже был 1945-й, мой отец вернулся с фронта, в «Чайной» появились два субъекта, в орденах и медалях на потертых костюмах, и представились как работники Министерства…

Бабушка Фекла, человек очень честный, доверчивый и простодушный, не решилась спросить у них документы… Что-то ее смущало, но глянет на орден Ленина, на другие ордена — и не решается… Она их покормила за свои деньги. А к вечеру куда их девать? Они заявили, что на ночлег остаются в Добруше, так как поезд уходит в шесть утра. Бабушка и пригласила их на ночлег.

Опять за свои деньги купила водки и продуктов в чайной, повела в свой большой дом и большую семью.

Дедушка накрыл стол, их опять угостили и положили в спальне, в отдельной комнате с широкой кроватью, шкафом и большим окном. Семья потеснилась — печь большая…

Все крепко уснули. По-видимому, «министры» в водку ловко подсыпали снотворное. Ночью они очистили весь шкаф с самыми лучшими вещами семьи: два теплых полупальто с меховыми воротниками, сшитых вернувшимся с фронта дядюшкам Андрею и Петру; большой экономией удалось дедушке и бабушке одеть после войны своих сыновей; зимние пальто тети Нали и тети Вари, их платья и даже наши детские вещи. Опустошили весь шкаф, сложили в узлы из простыни одеяла с постели и вылезли в окно. Когда мы утром проснулись: шкаф — пустой, а на кровати — один сенник… Ужас… Бабушка — в милицию… Но там ответили: «Дело это безнадежное, они могут быть уже от Добруша за сотни километров и в направлении Москвы, и в направлении Гомеля».

И тогда мой отец в милиции попросил полномочия в расследовании. Через три дня он поймал их в Гомеле на толкучке. Ему пришлось колесить и по Новозыбкову, и по Гомелю. Не знаю как, но он напал на их след… Вещи они уже сбыли в Злынке, Новозыбкове и Гомеле разным людям. Вернуть ничего не удалось… Их судили в Добруше, приговорили к двум годам тюремного заключения и выплатить деньги за украденные вещи.

Выплаты денег семья не дождалась. Такова суть нашей жизни: суд выносит решение, а выполнение его никто не контролирует. Вор всегда в выигрыше. Простой народ вечно в дураках.

Боль прошедшего

Несмотря на то, что после возвращения отца с фронта у меня появились два младших брата, работать он уже не мог, ходил с большим трудом, преодолевал боли и старался быть полезным семье: построил небольшую хатку, заготавливал дрова, помогал матери вскапывать огород и готовить еду.

Военно-полевая медицинская комиссия при демобилизации поставила ему II группу инвалидности, пенсии по этой группе и на хлеб не хватало, слишком много после войны инвалидов осталось. Несмотря на ухудшение здоровья и полную нетрудоспособность, первую группу ему не давали.

Однажды приехали на комиссию в Гомель, а сидящая с ними рядом женщина говорит:

— У вас для получения I группы деньги есть?

— Какие у нас деньги…

— Значит, ваше дело безнадежно.

Как в воду глядела… Опять оставили II группу.

Только после инсульта, когда отца парализовало и его лишь с помощью родных переворачивали с боку на бок, в таком состоянии пролежал полгода, ему дали I группу.

Благодаря упорству моей матери, а главное — большой воле к жизни самого отца, он встал на ноги. Поскольку в старой хате на 20 м² жил вместе с сыном и семьей, с малолетними внуками, ему выделили однокомнатную квартиру на пятом этаже, другой не нашлось.

Пенсия его увеличилась. Когда почтальон приносил деньги, тут же появлялся какой-нибудь алкоголик и просил рубль на похмелье в долг. Отец очень экономный человек, не транжира, всегда давал рубль, который они никогда не возвращали.

Пользоваться своими привилегиями ветерана он не умел. Один раз мать помогла ему спуститься с пятого этажа, чтобы он почувствовал землю, и попросила купить парного молока в магазине рядом с домом.

Едва он подошел к прилавку, как вся очередь, состоявшая в основном из молоденьких женщин, годившихся во внучки, набросилась на него, как разъяренная свора собак, поливая грязью старика и всех ветеранов вместе взятых.

Отец взял бидончик с молоком, вышел с изменившимся лицом и сказал матери: «Больше я никогда не войду в магазин». Мать, зная характер мужа, промолчала. Она знала всех добрушан: старшее поколение, среднее, младшее, их детей и особенности их биографий. И владея этой информацией, мгновенно затыкала крикунам рты. Ее никто не трогал. По отцовскому удостоверению получала не только парное молоко, но и апельсины и другие в то время дефицитные продукты.

Маме в церкви доверяли казначейство, потому у нее было много старых одиноких подруг, постоянно ходивших на богослужения. Эти забытые смертью старушки, потерявшие в войну и мужей, и юных сыновей, постоянно приходили в квартиру и засиживались возле отца, ожидая часами его жену. Отец не сквернословил, общительный и вежливый, угощал их компотом или ставил чайник на плиту, беседовал с ними: одних он называл по имени, других по имени-отчеству, мог сморщенную ручку поцеловать… Старухи в нем души не чаяли… Постоянно после полуночи в кресле дремали то соседка, то моя тетка, у которых мужья-алкоголики буянили с перепоя.

Однажды сосед напротив ворвался в квартиру и замахнулся на жену, прятавшуюся у моих родителей. Старый отец, около восьмидесяти лет, силой эмоций схватил его за воротник и вытолкнул на лестничную площадку. Больше тот никогда спьяну не стучал в дверь, и соседка спокойно дремала в кресле, пока ее мужа окончательно не валил алкоголь.

Однажды, возмущенная этим старушечьим базаром в квартире родителей, я высказала это. Отец мне ответил: «Ты приехала повидать родителей? Вот и хорошо. А теперь вали назад, в Гомель, если тебе не нравится; у тебя там своя квартира есть».

С годами отец, старый и больной, утратил авторитет главы семьи, лидировала мать. Мы, дети, не заметили, как из дома исчезли отцовские медали и гвардейский значок. Их украли. Возможно, они украшают грудь какого-нибудь «министра» или на них он делает свой маленький бизнес.



ВАЛЕНТИН ЛУКША

Я не таю обиды на судьбу...

Да здравствует бессонница!

Да здравствует бессонница!
Известно,
Кто рано встанет —
Бог тому дает.
Твоей душе не будет
в доме тесно,
Когда заря в ней птицами поет.

Да здравствует бессонница!
Певучей
Высокой песне не склониться ниц,
Покуда, вдохновенная, кипуче
Искрится жизнь глубинная криниц.

Да здравствует бессонница вовеки!
Пока живет она —
живет поэт.
Когда душа уснула в человеке,
Бессонница в ней открывает свет.

Мне выдан Божий агреман…

Мне выдан Божий агреман
Послом добра пройти по свету,
Не сеять злобу и обман,
А добротой спасать планету.

Мне выдан Божий агреман
На бесконечные дороги,
Чтоб равнодушия туман
Рассеять в душах одиноких.

Мне выдан Божий агреман
На трудную земную службу,

Чтоб гнева черный океан
Не захлестнул святую дружбу.

Мне выдан Божий агреман
Свой крест нести не за награду,
А чтобы пьяный балаган
Не воровал людскую радость.

И агреман поэту дан,
Чтоб, люди, песнею святою,
Боль нестерпимых ваших ран
Он мог бы отвести собою.

Прощайте

Не лейте по судьбе напрасных слез —
Для утешений слезы не годятся.
Прощайте, как учил прощать Христос,
И вам на небесах
грехи простятся.

Десяток слов, что сказаны не в срок, —
Достойны ли они вселенских споров?
Нет, это ваш непройденный урок,
На вас самих ложащийся укором.

Обиды пусть стекают, как вода, —
Обратно им не стоит возвращаться.
Кукушка накукует нам года,
Чтоб мы успели
в небеса подняться

И по земле достойно пронесли
Свой крест людской, на Бога не пеняя…

Так ввысь уходит журавлиный клин,
Свои печали
миру оставляя.

Белый бриг

Когда раздастся чаек первый крик
И небо посветлеет на восходе,
Моей надежды белоснежный бриг
С рассветом в гавань шумную заходит.

И паруса натянутые — ниц,
Подобно крыльям, опадают сонно.
В них дальний отблеск розовых зарниц
И синь недостижимых горизонтов.

Возьмет воды и хлеба капитан,
Вином наполнит емкую баклагу,
И вновь его поманит океан,
К далеким островам пути пролягут.

Я бриг тот провожаю всякий раз,
Чтоб снова встретить в гавани знакомой.
Когда ж пробьет назначенный мне час,
Взойду на борт, чтоб распрощаться с домом.

Я помашу товарищам рукой,
Слезу сотру натруженной ладонью…
Нет, это, верно, все же не за мной
Моей надежды бриг приплыл сегодня…

Мой ангел

Мой ангел не был странником беспечным —
Ну где ему со мной найти покой!
Как белка в колесе, крутился вечно,
Горбатился над призрачной строкой.

Был спутником моим во всех дорогах,
Рукою доброй пот со лба стирал,
Мои молитвы искренние Богу
Старательно и точно доставлял.

Не покидал меня в беде и горе,
И боль, и радость поровну делил,
И только застывал в немом укоре,
Когда по жизни криво я рулил.

Я чист пред ним. Его рукой хранимый,
Я не таю обиды на судьбу…

Парят над миром ангелы незримо,
Как звезды, нам подсказывая путь.

Беслан

День обещал быть солнечным и славным,
И птицы распевались друг за дружкой,
А школу беззаботную Беслана
Берет убийца-душегуб на мушку.

Слепая злоба радость погасила,
Втянув детей в кровавую вендетту.
И вздрогнула от боли вся Россия,
И эхо гнева разнеслось по свету.

Три долгих дня без сна, воды и пищи
Заложники сидят на подлых минах…

Хоть думалось:
На всей Земле не сыщешь
Того, кто покусится на невинных.

И первоклассник перетряс копилку,
Слезу рукой с ресниц дрожащих вытер
И к нелюдю с мольбой метнулся пылкой:
— Вот выкуп…
Только маму отпустите…

Да что тому страдания людские?
Он ненависть на слабых вымещает,
И смерть — его родимая стихия…
Такое Бог вовеки не прощает.

Учил Скорина…

Учил Скорина:
чтоб в науках вольных
И творчестве успехов
достигать,
Ты должен научиться,
вечный школьник, —
Читать!

Чтоб не сорить словами
как попало,
Чтоб правильно и точно написать,
Тебе сама судьба предначертала —
Читать!

Чтоб с логикой все было
ладно-складно,
Чтоб мог узлы
житейские связать,
Тебе, как воздух крыльям птичьим,
надо —
Читать!

Чтоб успевать
за быстротечным веком,
Чтоб не отвыкнуть
думать и мечтать,
Как хлеб,
необходимо человеку —
Читать!
Читать!
Читать!..

Предчувствия
Максима Богдановича

Ялта. Май 1917-го

Я чувствовал:
Судьба уже не пустит
Пройтись по рушникам родных дорог…
Волошковое поле Белой Руси
Не разольется музыкой у ног.

Я чувствовал,
Что крымской теплотою
Не заслонить той скромной теплоты,
Что сердце наполняет непокоем
Снов юности ушедшей золотых.

Я чувствовал,
Ручьев живой водицей
Не выпадет мне жажду утолять…
Орлу над Ялтой солнечной с орлицей
Над бездной крылья вечно расправлять.

Я чувствовал,
Что звуков милой речи
Не принесут ветра с родных полей…
И все острее чувствуется вечность…
И с каждым днем дышать все тяжелей…

Предчувствовал,
Что песнею вернусь я…
Иначе поступить никак не мог…

Волошковое поле Белой Руси,
Как море, тихо плещется у ног…

Перевод с белорусского
Андрея ТЯВЛОВСКОГО.

Феномен Вацлава Ластовского

Вацлав Ластовский (1883—1938) — уникальная фигура белорусской литературы и культуры начала XX века. Он известен как талантливый писатель, этнограф, историк, лингвист, общественный и политический деятель.

В 1909 г. В. Ластовский занял должность секретаря «Нашей Нивы», заведовал первой белорусской книгарней в Вильне. В 1910 году он опубликовал первую в национальной историографии «Краткую историю Беларуси», написанную доступно и ярко. Активно занимался публицистикой, в 1916—1917 гг. редактировал газету «Гоман», в 1918 г. издавал газету «Крывічанін».

На протяжении длительного времени В. Ластовский собирал материал для русско-белорусского словаря, который увидел свет в 1924 г. и стал значимым событием в культурной жизни страны.

Важным направлением научных изысканий В. Ластовского являлись древняя белорусская письменность и рукописные книги. В 1926 г. он опубликовал фундаментальную «Гісторыю беларускай (крыўскай) кнігі», включавшей материалы с древнейших времен до XVIII века. В 1923—27 годах в Ковно он издавал журнал «Крывіч», в котором поместил большое количество исторических статей и зарисовок.

В. Ластовский оставил богатое художественное и интеллектуальное наследие. В историю белорусской литературы он вошел как автор прекрасных повестей, рассказов и зарисовок, замечательных стихов, ярких очерков и воспоминаний.

Среди прозаических произведений писателя особое место занимает повесть «Приключения Афанасия и Тарасия», отличающаяся множеством карнавальных сцен и развлекательных сюжетов. Вместе с главными героями произведения писатель смеется над некими мазурами, их странными обычаями и нравами.

Перевод «Приключения Апанасия и Тарасия» (1912) осуществлен по изд.: Ластоўскі В. Выбраныя творы / Уклад., прадмова і каментарыі Я. Янушкевіча. Мн.: «Беларускі кнігазбор», 1997. С. 27—47.

Иван САВЕРЧЕНКО,
доктор филологических наук.



ВАЦЛАВ ЛАСТОВСКИЙ

Приключения Апанасия и Тарасия

В воскресный день в одной из деревень на Пинщине Апанасий и Тарасий, сидя на завалинке, рассуждали о том, где какие люди живут и какие у них обычаи и порядки.

— А знаешь, — говорит Апанасий, — может, то, о чем мы здесь говорим и что рассказывают старые люди, вовсе и неправда. Чтобы узнать, как на самом деле живут люди на белом свете, мы вот что сделаем. Дети наши взрослые, с хозяйством управятся, они вполне могут обойтись без нас и без наших советов. Мы уже отсеялись, и теперь как раз такое время, что нам все равно нечего делать. И свободные кони у нас есть. Поэтому, чем тереться здесь по углам, поедем лучше посмотрим белый свет, как люди живут.

— Правду говоришь, кум, — согласился Тарасий. — Едем! Только нужно собираться в путь сейчас же, чтобы к косовице и жатве успеть возвратиться домой.

Сказано — сделано.

Разойдясь по домам, Апанасий и Тарасий приказали своим бабам срочно заквасить хлеб и подготовить ко вторнику все необходимое для дороги.

На второй день, пока бабы пекли хлеб и оладьи, сбивали масло, делали сыры и готовили мясные кумпяки в путь для своих мужей, Апанасий и Тарасий занимались возами — укрепляли колеса, готовили овес, подковывали и кормили лошадей, осматривали упряжь.

Согласно пословице — едешь на день, а хлеба бери на неделю, — хороший хозяин без необходимого запаса еды в путь не тронется. Именно так поступили Апанасий с Тарасием. Положили они в мешок по три буханки хлеба, по куску сала, по мясному кумпяку, по пять штук сыров, по горшку масла, а ко всему этому — приложили гору оладий. Решили, продуктов хватит на добрую часть пути. Кроме того, поставили на воз полную бочку толокна.

На всякий случай положили в дорожные мешки по десять рублей. Нагрузили воз сеном и овсом, а внизу привязали ведерце с колоницей — густым дегтем для колес. Положили на воз топор для спокойствия. Постановили, что Апанасиеву лошадь, поскольку она постарше, поставят в оглобли, а Тарасиеву, молодую, запрягут вприпряжку, со стороны.

Во вторник, на зорьке, еще до восхода солнца, Апанасий и Тарасий, плотно подкрепившись оладьями с салом, надели под новые свитки тулупчики и двинулись в путь.

Едут, беседуют, трубочки покуривают. А лошадки их трусцой бегут.

До Пинска дорога и все люди знакомы им: сюда каждый вторник они на базар ездят. В этот раз на базар также много попутчиков ехало. Апанасий с Тарасием и не заметили, как очутились в Пинске.

Там встретились они с родичами и знакомыми, разузнали у них, какая дорога ведет на Брест.

Наконец, для мужества и для согрева ног «сделали по полкварты» и двинулись в путь.

Едут себе, едут, беседуют друг с дружкой, трубочки покуривают. Кого ни встретят, «добрый день» скажут, дорогу расспросят. Присматриваются к людям и их занятиям, но пока ничего нового не видят: люди как люди, все такие, как и Апанасий с Тарасием. Известно — родная сторонка!

Днем едут, ночью лошадей пасут. Присоединятся к деревенским ночлежникам, распрягут своих лошадей, пустят их на выгон, а сами разговаривают с людьми возле костра, немного поспят, отдохнут, а с восходом солнца снова в путь выдвигаются.

До Бреста ничего нового не видели Апанасий с Тарасием. Все люди как люди — и разговаривают на одном языке.

— А знаешь, Тарас, может, обманывают старики, что на свете есть такой народ — мазуры? — говорит Апанасий.

— Почему? — спрашивает Тарасий.

— А потому, что мы уже много проехали, а никого и ничего нового еще не увидели: везде наш брат и наш язык. Может, нам пора возвращаться обратно? Потому что так весь свет изъездишь, а домой никакой новости не привезешь и сам никакого разума не наберешься.

— Подожди немного, Панасе, я слышал, что эти самые мазуры, которые рождаются слепыми, живут за Брестом. Говорят, не так и много пути нам осталось. Эти мазуры — тоже поляки, поскольку живут в Польше. Язык у них польский, только все они, когда говорят, то будто шипят. А когда мазур быстро залопочет и зашипит, а особенно мазуриха, то вообще трудно понять, что они говорят. Мой отец, вечная ему память, говорил, что мазур не осмелится назвать себя поляком, пока не начнет носить штаны. Ребята у них ходят без штанов до той поры, пока не понадобится идти в сваты или в армию. До этого времени парень считается подростком. Не зря говорят — «мазур-беспорточник». А как мазур уже влезет в брюки, воткнет в шляпу перо с птичьего хвоста, то тогда, хоть он и босой, но ходит, голову задрав. А как странно все они учатся штаны надевать! Но об этом я тебе не скажу, потому что все тебе скажи, так ты дальше ехать не захочешь. Думаю, увидим это собственными глазами.

Заинтересовался Апанасий и домой возвращаться передумал.

Едут дальше. Приехали в Брест. Красивый город! Понравился Апанасию и Тарасию. Нашли, что он даже лучше Пинска.

Был как раз базарный день. Отправились они на рынок.

Ходят, к товару и людям присматриваются, прислушиваются к их разговору.

— Тарас, Тарас! Иди сюда скорее! Послушай, как разговаривает вон та баба, что сыры с воза продает: кажется — не по-нашему.

Подошли — слушают. Спросили, по какой цене сыры.

— По цтэнры злоты! (По четыре злотых. — *И. С.*) — ответила женщина.

— Ты понял, Тарас?

— Нет! А ты, Апанас?

— И я ничего не понял! Лопочет быстро, да еще какая-то шепелявая.

— Ну так это же мазуриха. А что? Я говорил тебе, что есть смысл ехать дальше.

— Давай походим, еще послушаем, — говорит Апанасий.

Идут, посматривают, к разговорам прислушиваются.

— Апанас! Скорее, скорее, смотри, как человек на лошади поехал!

— Где, какой?

— Да вон, у колодца.

Апанасий, когда увидел, чуть не упал со смеху. На лошади сидел средних лет человек лицом к заду и обеими руками держался за хвост, чтобы не упасть. Он смотрел в ту сторону, откуда едет, а второй человек вел лошадь под уздцы.

— Правду говорят люди: «Что земля, то обычай». У нас так верхом никто не ездит. Идем, Панас, посмотрим, что дальше будут делать эти люди с конем!

Подвел человек лошадь к колодцу, налил в корыто воды — поит. А тот, что на лошади, глазом не моргнет, ни на кого не смотрит, сидит как столб, пялится на возы, от которых отъехал.

Хочется Тарасию и Апанасию расспросить, что значит это чудо, но как-то неудобно им выпячиваться среди чужих людей, ничего о них не зная.

Но на счастье увидели знакомого солдата из их деревни, который служил в Брестской крепости. Очень обрадовались, что встретили своего человека, тотчас спрашивают его:

— Скажи, Артемка, почему этот человек сидит на коне лицом к хвосту и глядит — глазом не моргнет?

— А, это же мазуры. Они, когда приезжают на базар в Брест, так, чтобы не заблудиться и не потерять воз на рынке, ведут лошадь поить вдвоем. Один ведет лошадь и поит ее, другой сидит на ней и все время присматривает за своим возом, чтобы не потерять его из вида и потом не искать. Но это еще что! Вы увидите куда более интересные вещи.

— Тарас, Тарас! Смотри, зачем те люди, когда идут, все время клубки разматывают?

— Где? Покажи!

— Вон, у одного клубок ниток в руках. Второй тоже разматывает, направляясь в магазин. А вон и женщина распускает за собой нитку. Артемка, что это они делают?

— А это тоже мазуры. Они в Бресте без клубка ниток никуда не ходят. Когда им нужно куда-нибудь отойти от своего воза, они, чтобы вернуться на то же место, распускают за собой нитки, а затем, возвращаясь, снова сматывают их в клубок.

— А разве они так далеко живут, что этого города совсем не знают?

— Нет! Живут они ближе от города, чем наша деревня. Но все какие-то потерянные. Часто случается, что мазур даже на своем огороде потеряется и плутает.

— Врешь, Артем! Как можно не знать своего огорода?

— Я сам был свидетелем такого происшествия!

— Ну, расскажи, как это было?

— Мы были в мазурской земле на маневрах и стояли в деревне. Так вот, один хозяин, у которого я был на квартире, поехал в поле пахать пашню. Но не попал на свой надел и вспахал соседний. На следующий день мазур оказался уже на своем участке. Смотрит и не верит своим глазам. «Что за черт! Вчера вспахал, а сегодня уже травой заросло? Но раз вспахал, то нужно засеять». Так мазур и засеял невспаханную землю! Или вот, служат в нашей батарее два мазура, так мы животы порвали со смеху: каждый день они какую-либо шутку выкинут. Служат они здесь уже по полгода, но ни один из них до настоящего времени не может запомнить, где его кровать. Когда приходит время отбоя — они всегда на чужие кровати примащиваются, пока их не отведут на собственные места. А утром мазур как вскочит, то всегда чужие сапоги норовит обуть. Или брюки чужие наденет, или мундир, или в чужую тумбочку залезет, а затем ищет в ней свои вещи и ругается, если не находит. И смех, и горе с ними. А некоторые из них долгое время никак не

могут запомнить, где правая нога, а где левая. Когда мазуру приказывают идти с левой ноги — он ступает правой, и наоборот, — когда нужно ступить правой — он шагает левой. Наконец, чтобы научить его отличать, где правая, а где левая нога, привязали к левой ноге пук сена, а к правой — пук соломы. Во время маршировки вместо команды «Левой! Правой!» кричат мазуру: «Сено! — Солома! Сено! — Солома!» И смех и грех! Но через месяц мазур таким образом запомнил, где правая, а где левая нога.

Заинтересовались Апанасий с Тарасием мазурами.

— Ну что? Я говорил тебе, что нужно ехать дальше! — сказал Тарасий.

— Твоя правда, Тарас! Ну, поедем дальше, посмотрим на этих мазуров.

От радости, что встретили своего человека, Апанасий с Тарасием, согласно пословице, что хороший хозяин не только в животе, но и в сапогах воды не любит, выпили с Артемкой по кварте горелки, хорошо отобедали, расспросили дорогу и поехали дальше.

Едут они, едут, между собой разговаривают. Трубочки покуривают, лошади трусцой бегут.

Через леса и поля проезжают, местность осматривают. Интересуются, как люди поле обрабатывают, чем пашут, чем засевают.

Едут день, едут второй — все те же люди, те же самые обычаи.

— Что за черт? Где ж эти мазуры живут? — начал снова беспокоиться Апанасий.

— Не пори горячки! — отвечает Тарасий. — Теперь, видно, уже недалеко.

— Смотри, смотри, Тарас! Что вон тот человек делает?

— Как что? Пашет.

— Пахать-то он пашет, но, кажется, — не на лошади.

— И на ком же он пашет?

— Отсюда не разобрать — едем быстрее.

Подогнали лошадей, подъехали ближе. Правда, — человек пашет, но соху тащит баба.

— Видимо, правда, что мазуры на бабах поле вспахивают.

— Ну, теперь и я поверю, — говорит Апанасий.

— Добрый человек! Что делаешь? — спрашивают.

— Поле вспахиваю, — отвечает тот.

— А где же твои волы?

— Зачем волы? Вон они, на лугу!

— Так они на то и волы, чтобы пахать на них.

— Что вы, люди дорогие? Они же не знают, в какую сторону тащить!

— Ничего! Мы тебе сейчас покажем, как это делается.

Апанасий с Тарасием тотчас же слезли с воза, разделись, сделали на быструю руку кое-какое ярмо, словили пару крепких волов и впрягли их. Один вел волов, а второй сохой управлял. Работа пошла очень споро. Вытаращили мазур с мазурихой глаза и удивляются! Что это за люди такие, что и скотине могут дать человеческий разум.

Половину поля вспахали они, а затем говорят мазуру:

— Ну, а дальше сам паши!

Взялся мазур за соху, подогнал волов — соха просто пишет!

Мазур благодарит, а еще больше баба его!

— Ну, едем дальше, Тарас! И доброе дело сделали, и кони наши отдохнули.

Сели, поехали. Едут себе, едут, между собой разговаривают. Трубочки — пых! пых! пых! — покуривают. Лошади — трус! трус! трус! — трусцой бегут.

Приехали к деревне.

В конце ее, возле житного магазина, видят: стоит толпа людей. Два человека держатся руками как бы за мешок, словно готовятся насыпать в него жито.

— Люди, наверное, жита пришли одолжить, — говорит Тарасий.

Подъезжают ближе, смотрят — а там не мешок, а штаны.

— Смотри, Тарас, так здесь, вероятно, так принято — в штаны жито насыпать.

— Подожди, что дальше будет? — говорит Тарас.

Приостановились, «добрый день» сказали и присматриваются.

Видят, на крышу магазина полез молодой парень, взобрался на самый верх, пристроился напротив штанов. И вдруг как побежит с крыши и — гоп на землю, будто крякнул.

— Не попал! — кричат мазуры и хохочут.

Снова полез парень на крышу, пристроился — гоп! — на землю.

— Не туда! — снова кричат мазуры.

Полез еще раз парень на крышу.

— Что это вы делаете здесь, люди? — спрашивает Апанасий.

— А это мы вот учим парня штаны надевать, — говорят мазуры. — Вечером, видите ли, он в сваты пойдет.

— Гм, так это же можно быстрее сделать! — говорит Апанасий. — Дайте сюда брюки! Я покажу, как их надевают.

Взял брюки — шмыг! шмыг! В одну штанину, во вторую, подвязался поясом — и дело сделано!

Удивляются мазуры и спрашивают:

— Откуда вы, люди?

— О, отсюда не видно. Ну, а теперь этот парень пусть сам попробует так же сделать!

Парень спустился с крыши, надел обычным путем брюки, смотрит на них, смеется от радости. Рукавом пот со лба вытирает, радуется и гордится, что наконец-то надел брюки и сделался настоящим поляком.

Благодарят мазуры, что узнали удобный способ надевать брюки.

— Ну вот, снова доброе дело сделали. А тем временем и наши лошади отдохнули. Едем дальше, — говорит довольный Апанасий.

Сели, поехали.

Едут все, едут, между собой разговаривают. Свои трубочки — пых! пых! пых! — покуривают. А лошадки их — трус! трус! трус! — трусцой бегут.

Приезжают в деревню.

Видят, мужики тащат корову на крышу за рога, а бабы сзади подталкивают.

Заинтересовались Апанасий с Тарасием. Приостановились, «добрый день» сказали, присматриваются.

А корова ревет, упирается — не хочет на крышу влезать!

— Что вы делаете, люди? — спрашивает Апанасий.

— А разве не видите? Корову на пастбище отправляем! — отвечают мазуры.

На крыше, что правда, была хорошая трава.

— Подождите, люди, это же иначе делается! — говорит Тарасий. — Принесите сюда косу!

Принесли мазуры косу.

Тарасий тотчас же навел ее, поднялся на крышу — шась! шась! шась! — выкосил всю траву, сбросил на землю и дал ее корове.

Дивятся мазуры, благодарят. Спрашивают: откуда такие умные люди?

— А далеко ли это будет от нас?

— А мы как раз с того места, где солнце восходит!

— О-о-о! Если так — значит вы — наши близкие соседи, поскольку у нас солнце вон за тем лесом восходит!

Обрадовались мазуры «близким соседям», позвали их в дом, напоили, накормили, о себе рассказали.

Радуются Апанасий с Тарасием! И добро творят, и от людей уважение и благодарность получают!

— Едем дальше, Тарас!

Сели, поехали.

Едут все, едут, между собой разговаривают. Свои трубочки — пых! пых! пых! — покуривают. А лошадки их — трус! трус! трус! — трусцой бегут.

Приехали в деревню.

Видят, все дома без окон. А из одного дома и старые и малые с разными вещами — кто с решетом, кто с подойником, кто с ушатом, кто с дежкой, кто просто с крышкой — выбегают на улицу, черпают воздух, словно воду, прикрывают одеждой и снова бегут в дом. И так все бегают и бегают, как будто на пожаре.

Заинтересовались Апанасий с Тарасием. Приостановились, «добрый день» сказали и спрашивают:

— Что это вы, люди добрые, делаете?

— А разве не видите? Солнце в дом носим!

Слушай, Апанас! Это же очень хорошая вещь — иметь солнце в доме! Идем посмотрим, много ли уже наносили эти люди солнца и в каком месте они прицепили его, чтобы светило.

Вошли в дом, «добрый день» сказали. Им кто-то ответил, а кто — не видят, слишком темно в доме.

— Где же ваше солнце? — спрашивают

— А еще не наносили, — отвечает мазуриха.

— А как долго придется носить?

— А весь день, пока не стемнеет.

— Ну а затем что вы делаете?

— А затем спать ложимся.

— Э-э-э! Так это же иначе делается. У нас не носят, а ловят солнце. И один раз как изловят, тогда оно уже никогда из дома не убегает!

— Покажите, люди добрые, как это сделать? — просят мазуры.

— Ну так дайте сюда пилу и два топора.

Апанасий с Тарасием тотчас сняли верхнюю одежду — гак! гак! гак! — проделали дыру в стене. Затем вставили пилу в эту дыру — шарг! шарг! шарг! — прорезали оконо и впустили в дом солнце. Затем вырезали второе окно, третье, и в доме стало светло, как на улице.

Дивятся мазуры, благодарят.

— Откуда вы, люди добрые? — спрашивают.

— А как раз с того места, где небо с землею сходится!

— Э! Так вы же совсем близкие соседи, ведь небо сходится с землей как раз вон за той горой.

Начали мазуры угощать добрых людей, «близких соседей». Принесли горелки, масла, сыра. Апанасий с Тарасием пьют, едят, об их жизни расспрашивают, о своей рассказывают. Лошади их тоже отдыхают, мазурским овсом потчуются. За чаркой и беседой не заметили, как вечер настал, просят мазуры Апанасия и Тарасия заночевать у них. Понравились им «близкие соседи», люди добрые, что солнце на все времена в их дома впустили!

Апанасий с Тарасием только и ждали такого предложения — очень интересовали их семейные обычаи мазуров.

Легли они на лавках, как будто спят, а сами тем временем одним глазом смотрят за тем, что происходит в мазуровом доме. Видят, протопила мазуриха печь, нагрела чугунов пять воды, вылила ее в ушат. Затем выгребла из печи жар и говорит своему хозяину:

— Ну, полезай париться!

Снял хозяин с себя рубашку и полез в печь.

Через какое-то время выбрался мазур из печи, ополоснулся в ушате, оделся и полез на печь.

А мазуриха тем временем тоже забралась в печь.

Старший сын прикрыл ее задвижкой и сам начал раздеваться.

Вскоре сын подошел к печи, зовет мать, а она не отзывается. Открыл он задвижку и как закричит: «Спасите, люди! Матка душу Богу отдала!»

Апанасий с Тарасием вскочили с лавок, вытащили за волосы бабу из печи, отлили ее водой и говорят:

— Ну, так люди не парятся.

— А как?— спрашивают мазуры.

— Завтра мы покажем, а сегодня спите уже.

Назавтра, едва только рассвело, встали Апанасий с Тарасием, разбудили хозяина, пошли в старый дом, сложили там каменку, пристроили полок. Натопили баню, наносили бочку воды, нагрели ее на камнях, навязали березовых веничков и давай париться.

Смотрят мазуры и удивляются. А затем сами начали так же делать. Понравилась мазурам баня! Благодарят они добрых людей, «близких соседей».

— Ну, Тарас, наше путешествие, как я вижу, становится все более интересным. Едем дальше.

Едут себе, едут, между собой смеются, разговаривают. Свои трубочки — пых! пых! пых! — покуривают. А лошадки их — трус! трус! трус! — трусцой бегут.

Приезжают снова в деревню. А как раз был праздничный день. Видят, в одном доме люди бегают то в сарай, то обратно в дом — и все по очереди, начиная с хозяина и кончая самым младшим. Снуют туда-сюда, словно муравьи в муравейнике.

Приостановились Апанасий с Тарасием, всматриваются.

Видят, что каждый бежит в сарай и из сарая с шилом в руке.

Заинтересовались путешественники.

— Что вы делаете, люди добрые? — спрашивают они у хозяйки.

— А разве вы не знаете? Оладьи с медом едим.

— Ну так отчего же вы бегаете, если оладьи кушаете? Сел возле стола — и кушай себе.

— А как же сидеть, если оладьи в доме, а мед в сарае.

— А зачем тебе шило в руке?

— А это же мы на шиле мед из сарая носим.

— Ну, это иначе делается! Хотите — покажем?

— Хорошо, покажите! — согласились мазуры. Тотчас же Апанасий с Тарасием принесли из сарая шайку с медом, поставили на стол, сели и показывают, как нужно оладьи с медом кушать.

Посмотрели мазуты и сами начали так делать. Едят, хвалят, что вкусно, и не могут нарадоваться, что на земле есть знающие люди.

Наелись Апанасий с Тарасием за свою науку оладий с медом. Получили от мазуров огромную благодарность и двинулись дальше.

Через леса и поля проезжают, с горки на горку перекатываются. На выгонах останавливаются на ночлег, своих лошадей выпасают.

— Тарас, а Тарас!

— Что, кум Апанас?

Вот сколько времени мы едем, сколько всего насмотрелись, но пока не убедились в блудливости мазуров.

— Я и сам об этом уже думаю, Апанас.

И только сказал это Тарасий, как вдруг повернул лошадей назад, словно решил домой возвращаться. Но затем остановил лошадей и дальше не двигается.

— Что ты вздумал, Тарас? Неужели домой решил возвращаться?

— Подожди, Апанас! Будешь много знать — быстро состаришься.

Стоят среди дороги, осматриваются. Видят, из лесу выезжает целый обоз мазуров.

Подъехали мазуры к нашим путешественникам и спрашивают:

— Куда едете, люди?

— В Брест! — отвечает Тарасий. — А вас куда Бог несет?

— Тоже в Брест. Не знаете ли вы, сколько верст осталось еще ехать?

— Да верст, может, двадцать будет. А откуда вы, люди добрые?

— О, издалека, вон из-за того леса! А вы откуда?

— Мы как раз с того места, где солнце заходит.

— Так, значит, вы близкие соседи, поскольку солнце у нас заходит вот за этим пригорком. Ну, так чего же вы стоите, не едете?

— Мы вот думаем, — говорит Тарасий, — что не стоит на ночь глядя в город ехать: и лошадей негде попасти, и за ночлег нужно платить. А здесь хороший выгон, травы сколько угодно и лес близко, — давайте вместе заночуем здесь, сообща веселее будет. А завтра вместе поедем.

— Правильно говоришь, человече! — согласились мазуры.

Съехали на выгон, распрягли лошадей и пустили их пастбище. Наносили дров, разложили огонь, поужинали каждый из своей котомки, побеседовали и легли спать.

Мазуры тотчас же и захрапели как пшеницу продавши, хотя пшеница еще лежала в мешках на возах.

Не спят только Апанасий и Тарасий: одному не терпится исполнить свой замысел, а второго интересует этот секрет.

А мазуры храпят, едва не задыхаются, и наверное, по третьему сну уже видят.

Тарасий наконец встал.

— Ну, идем, Апанас!

— Куда?

— Ай, иди, если говорю!

Подошли к возам.

— Поворачивай все возы оглоблями назад!

Повернули и пошли опять спать.

Назавтра, еще до восхода солнца, все вскочили, поймали лошадей, запрягли и поехали.

Едут себе, едут, с мазурами разговаривают, обо всем расспрашивают. Подъезжают к деревне.

— Что, может быть, это уже Брест? — спрашивают мазуры наших путешественников.

— Да, Брест, — говорит Тарасий, а сам едва не разрывается от смеха.

— Но будто наша деревня! — обрадовались мазуры.

— Смотрите! — указывает один мазур. — Вон та баба, которая несет воду, как две капли воды похожа на мою Магду!

— Правда! — говорят мазуры.

Апанасий и Тарасий животы подвязали поясами, чтобы не лопнуть со смеху.

— Люди, смотрите! Здесь и коровы похожи на наших! — удивляются мазуры, глядя на стадо, которое шло с поля.

Въезжают в село. Лошади начинают тащить возы каждый в свой двор!

Навстречу им выбегают из домов мазурихи. Спрашивают мужиков, почему они не продали пшеницу.

А те стоят, протирают глаза и только хлопают веками.

А некоторые мужики начали ругаться с женами. Они говорят им, что приехали в Брест, а жены твердят, что домой.

Апанасий с Тарасием тронули лошадей и поехали себе дальше. Отъехали за село, вволю нахохотались.

— Всегда слушай меня, Апанас! — говорит Тарасий.

— Ну и мудрый этот народ — мазуры! Едем, братишка, дальше, потому как люди говорят: «чем дальше в лес, тем больше дров».

Едут они, едут, между собой шутят, разговаривают. Трубочки свои — пых! пых! пых! — покуривают. А лошадки — трус! трус! трус! — трусцой бегут.

Въезжают снова в деревню. Видят — возводят мазуры новый дом.

— О, это интересно посмотреть! — говорит Апанасий.

Подъехали ближе, остановились, «помогай Бог» сказали им.

А мазуры тем временем взялись человек по десять за веревки, привязанные за один и второй конец отесанной и уже приготовленной балки, и тащат — одни на себя, и вторые на себя, аж глаза на лоб лезут.

— Что вы делаете, люди добрые? — спрашивает Тарасий.

— А разве не видите? Балку хотим растянуть! Короткое попалось бревно, а у нас длиннее нет!

Смотрят Апанасий с Тарасием, ждут, когда мазуры балку растянут. А они потянут, потянут, а затем затаскивают ее на сруб, примеривают — коротко!

И давай снова тянуть!

В конце концов устали мазуры, вспотели, словно из воды вылезли. Видят, что не могут ничего сделать — не получается растянуть балку. Сели, опечалились.

— А вот мы вдвоем, не успеете моргнуть, эту балку удлиним!

— Неужели! Да шутите вы! Двадцать человек не управились, а вы вдвоем хотите что-то сделать?

Апанасий с Тарасием ничего не ответили. Сняли одежду, измерили длину сруба, подобрали подходящее дерево, пристроили к балке и укрепили гвоздями. Вдвоем подняли наверх, уложили и спрашивают мазуров:

— Ну что, справились мы?

Удивляются мазуры, благодарят.

— Откуда вы, люди добрые? — спрашивают.

— А мы оттуда, где тучи на небо поднимаются!

— О, так вы наши близкие соседи, ведь у нас тучи всегда из-за этого леса выходят, а до него всего лишь версты две будет!

Пригласили мазуры добрых людей, «близких соседей» в дом, дали за работу и добрые советы хороший барыш. Угощают, кормят, о своей жизни рассказывают.

Пьют, едят Апанасий с Тарасием как добрые гости, с мазурами беседуют, шутят. Не заметили, как стемнело.

Оставляют их мазуры на ночь. Разостлали Апанасию на одной лавке, Тарасию — на второй. Легли странники спать.

Просыпается Тарасий ночью и слышит — мазуриха ребенка родила.

«Вот везет нам, — думает, — и на бал попали, и узнали, как мазуры родятся».

Утром Тарасий, ничего не говоря Апанасию, спешит увидеть новорожденного мазура. Попросить, чтобы показали, не осмеливается. Да и противоречит это обычаям.

Дождался Тарасий, когда все вышли из дома, а роженица уснула, повернувшись к стене. Подбежал Тарасий к кровати, открыл ребенка, взглянул на него и зовет быстрее Апанасия.

Прибежал Апанасий, смотрят вдвоем, — у ребенка, в самом деле, глаза закрыты и веки словно сросшиеся.

Дитя вдруг заплакало.

— Смотри, даже слезы не текут! — говорит Тарасий. — И глаза закрытые!

В сенях кто-то стукнул, Апанасий с Тарасием вмиг отскочили от ребенка и как ни в чем не бывало сидят на лаве, роются в мешочках, как будто курить готовятся.

— А что? Правду люди говорят, — отмечает Тарасий, выехав со двора.

— О чем? — спрашивает Апанасий.

— Ну, о том, что мазуры слепыми родятся!

Едут они дальше, между собой разговаривают, смеются. Трубочки свои — пых! пых! пых! — покуривают. А лошадки — трус! трус! трус! — трусцой бегут. И им хорошо после мазурского овса.

Подъезжают наши путешественники к реке — лошади пить захотели.

Распрягли. Поят.

Видят, к ним подъезжает обоз с мазурами, тоже лошадей поить. Напоили мазуры лошадей и договариваются между собой толокно приготовить.

— Интересно посмотреть, — говорит Апанасий, — как мазуры толокно готовят. Остановимся здесь на выпасе и посмотрим.

— Правду говоришь, Апанасий!

Подбросили лошадям сена, сами достали с воза свою котомку, сели, подкрепляются и к работе мазуров присматриваются. Видят — сняли мазуры с воза мешок муки и несут к реке.

Заинтересовались Апанасий с Тарасием: что дальше будет?

Затем выкопали мазуры в берегу затоку, напустили в нее воды и насыпали соли. Помешали воду, попробовали — не солено! Еще насыпают соль — не солено. Полный мешок соли в залив засыпали, но воду не насолили.

«Что за черт?» — удивляются мазуры.

Но поскольку больше соли у них не было, то решили с недосолом согласиться.

Высыпают муку. Мешают — толокно не густеет!

Полный мешок муки в залив высыпали, но толокно никак не получается. Что за несчастье? Подумали мазуры, что мука на дно осела. А как ее размешать?

Тотчас позвали мазуры подростка, привязали к его шее камень, а к поясу — веревку и говорят:

— Полезай в залив толокно размешивать!

Подросток был невысокого роста. Он как плюхнулся в затоку — так с головой и утонул!

Зовут мазуры мальчика — не отзывается.

— Вот бестия! — говорят мазуры. — Добрался до толокна и нам ничего не оставит! Пусти козла в огород!

Жаль стало Апанасию и Тарасию мальчика, но они и сами не уверены, утонул ли он. Кто его знает. А может, мазуры и в самом деле под водой могут дышать?

И страх их одолевает, и убедиться хотят. Смотрят, что будет дальше.

Позвали мазуры еще раз мальчика — не отзывается.

— Объелся, видимо, толокна и вылезти не может, — решили они.

Потащили за веревку — вытащили парня.

— Смотри, как наелся, аж опух! Ну, пусть поспит здесь на берегу, — говорят мазуры.

Зовут они второго парня, привязывают к шее камень, за пояс веревку, приказывают не съедать всего толокна и опускают в затоку.

Не удержались здесь Апанасий с Тарасием. Убедились, что и мазуры под водой жить не могут.

— Подождите, люди! Что вы делаете? — кричит на них Тарасий.

— Толокно мешаем! — отвечают мазуры.

— Так почему в кадке или в какой-либо другой посуде толокно не делаете?

Мазуры ответили, что ни кадки и ничего другого у них нет с собой, а кушать очень хотят, потому что давно в пути.

— Ну, так мы вам покажем, как без кадки толокно можно сделать! — говорит Тарасий.

Тотчас разделись, засучили рукава, попросили муки и пустой мешок. Приготовили тесто. Вымазали им плотно мешок изнутри, насыпали в него муки, размешали, посолили и вскоре предложили мазурам значительную часть приготовленного толокна, чтобы те смогли утолить свой аппетит.

Вкусное получилось толокно! Едят мазуры, хвалят, благодарят добрых людей, удивляются их разуму.

Поехали Апанасий с Тарасием дальше.

Едут они, едут, между собой разговаривают. Трубочки свои — пых! пых! пых! — покуривают. А лошадки — трус! трус! трус! — трусцой бегут.

Подъезжают они к реке. Смотрят — ни моста, ни брода. Мост, как видно, раньше был, но в грозу его смыло.

Что тут поделаешь? Стоят, опечалились. Ожидают, может, кто-либо подъедет или подойдет.

На счастье, вскоре появились четыре мазура. Вот и хорошо — есть у кого спросить, где ближайший мост.

Подходят мазуры к реке. Смотрят — ни моста, ни брода. А им обязательно нужно на другую сторону перейти.

Крутились возле реки, крутились — наконец нашли на берегу бревно.

Тотчас двое мазуров сели на него, товарищи привязали их ноги к нему и оттолкнули от берега. Очень скоро бревно крутнулось и перевернулось. Только ноги мазуров торчат из воды.

А товарищи их стоят на берегу и смеются.

— Смотри, — говорят, — какие умники! Еще переплыть не успели, а уже портянки сушат!

Бросились Апанасий с Тарасием спасать людей, но видят, что уже ничем не могут помочь им. Так и поплыли мазуры дальше.

А товарищи стоят на берегу и кричат, чтобы они скорее бревно возвратили. Но не дождались. Рассердились и ушли от воды.

— Провались они! — говорят. — Вот и поверь им!

На вопрос Тарасия и Апанасия, далеко ли отсюда другой мост, сказали, что не знают.

Стоят Апанасий с Тарасием возле реки и думают, что дальше делать.

— Знаешь что, Тарас! Давай возвращаться домой. Пока доедем, как раз придет пора косовицы.

— Правду говоришь, Апанас, но сегодня уже поздно, давай переночуем здесь.

Распрягли они лошадей, пустили на траву. А сами нашли дров, разожгли костер. Поджаривают на колышках сало, ужинают. Поужинав, по очереди поспали.

Утром вместе с солнцем двинулись в путь.

Едут они, едут, между собой разговаривают. Трубочки свои — пых! пых! пых! — покуривают. А лошадки — трус! трус! трус! — трусцой бегут.

Через знакомые леса, луга и села проезжают, с горки на горку поднимаются, со знакомыми людьми встречаются. Разговаривают с ними, рассказывают, где были и что видели. За науку мазуры снова благодарят их, к себе с уважением приглашают, угощают, кормят и поят, и с добрыми пожеланиями дальше в путь отправляют.

Приезжают Апанасий с Тарасием в ту деревню, где они научили плотников, как балку делать длиннее.

— Интересно, закончили мазуры строительство дома или нет? — говорит Апанасий.

— Скоро увидим.

Подъезжают ближе, глядят — мазур ходит вокруг своего нового дома с зажженным смоляком и все сует его под крышу.

— Смотри, какая гадость! — ругается мазур. — Не успел хозяин обогреться в новом доме, как черт свои сети расставил. Сгинь, пропади, нечистая сила!

Тут мазур перекрестил крышу зажженным смоляком и воткнул его прямо в солому.

Чуть успели Апанасий с Тарасием залить водой кровлю, которая мгновенно вспыхнула.

А мазур, испугавшись, что дом загорелся, остолбенел и только глазами хлопает.

— Что это ты хотел сделать? — спрашивает у него Тарасий.

— А я, — говорит, — хотел сжечь те нити, которые черт наплел под кровлей, чтобы завладеть людскими душами.

— Так это же паутина! А если ты ее так боишься, то дай мне метлу — я покажу, как от нее защититься.

Принес мазур метлу. Тарас поснимал паутину. Мазуры, которые сбежались, чтобы посмотреть на это чудо, рты раскрыли от удивления!

— До чего умные люди есть на свете!

Распрощались Апанасий и Тарасий с мазурами и поехали дальше.

Едут себе, едут, между собой смеются, разговаривают. Не перестают удивляться выдумкам людским.

Подъезжают к корчме. А время было уже позднее, начинало смеркаться.

— А знаешь, Тарас, давай хоть один раз заночуем в корчме. Новых людей встретим, по чарке выпьем, побеседуем, опять что-либо интересное узнаем.

— Дело говоришь, Апанасий!

Заехали к еврею в его стодолу — сарай для лошадей. Распрягли их, бросили сена и пошли в корчму.

Проезжих было в корчме много. И все мазуры. Нашлись среди них и знакомые Апанасия и Тарасия.

Поздоровались, слово за слово — разговорились.

Чтобы развязать мазурам языки и расположить к себе, Апанасий с Тарасием заказали для них кварту горелки. Нарезали сала. Пьют, едят, беседу ведут. Мазуры тоже начали горелку ставить. Апанасий и Тарасий предлагают им закусывать салом, но мазуры отказываются.

— Мы не кацапы, чтобы есть свиную шкуру, — говорят они.

— Мы тоже не кацапы, но сало не променяем на вашу масленку.

А мазуры тем временем поставили на стол миску с масленкой и обмакивали в нее хлеб.

— Так кто же вы, если не кацапы? — спрашивают мазуры.

— Мы — полешуки, поскольку живем на Полесье. А вот нам интересно, почему вас мазурами зовут, если вы в Польше живете?

— Мазуры — это мужики, как и мы с вами. А поляками у нас называют тех, которые работать отвыкли.

— Интересные факты мы слышим! А знаете ли вы, откуда на свет появились?

— Почему же не знаем? Нас Бог создал!

— Вот и не знаете! Бог создал только первого человека, которого Адамом называли. А все люди, которые расплодились от Адама по всей земле, получили названия от тех местностей, где они поселились, либо сами дали названия тем местностям, которыми овладели. Каждый народ осел на своей земле. Русские расселились в России, немцы — в Германии, французы — во Франции, поляки — в Польше, кривичи — в Кривии. К кривичам и мы принадлежим. Но поскольку наша земля большая, то, чтобы отличать, кто и откуда происходит, у нас еще есть особые местные названия. Только вот мазуры живут в соседстве с поляками. И не ясно, поляки они или нет. Язык — шепелявый, одежда — драная, разговаривают, словно каши-размазни в рот набрали. Поэтому и называются — мазуры. Искалеченный народ! А если хотите знать, как и когда искалечились, то расскажем вам.

— Расскажите, люди добрые! — просят мазуры.

— Хорошо, — говорит Тарасий. — Слушайте, но не обижайтесь, если что-то не понравится. Жил за Брестом один поляк, но такой подлый и бахвальский, что никому дороги не уступал. Даже все поляки от него отвернулись, говоря, что он какой-то недополяк. Вот один раз он не уступил дорогу черту и начал с ним драку. Черт так дал ему в зубы, что все и высыпались. Поэтому и начал он шепелявить. А от него пошел целый такой род, поскольку дети переняли его шепелявую речь. Поэтому мазуры — те же поляки, только шепелявые. Но поляки, помня об их гадком предке, и сегодня к мазурам относятся без уважения. Гоняют их по миру, выталкивают в чужие края, все опасные дыры мазурами затыкают. Что, разве это не так?

— Может, и правда, — согласились мазуры, — если люди так говорят.

Побеседовали еще о том о сем, как это обычно случается между путешественниками, да еще с чаркой горелки. Наконец все разулись и улеглись спать.

На следующее утро, когда мазуры спали, вскочил Тарасий и будит Апанасия:

— Апанас, Апанас! Скорее вставай! Будем завтрак готовить.

Проснулся Апанасий и думает: «Наверно, мой кум опять придумал какую-то штуку».

— Ну, Апанас! Собирай скорее мазурские барсуны (обувь из барсучьей шкуры. — *И. С.*) и нарезай из них шкварки, пока я огонь разложу.

Поджег Тарасий на припеке дрова, поставил треножник, нарезал на сковороду сала, бросил туда шкварки из мазурских барсунов, которые они оставили под лавками, — готовит.

По корчме разошелся приятный запах, словно хорошие хозяева верещаку варят. Запах сала проник в еврейскую камору и начал щекотать в носу еврея-старозаконника Янкеля, который во сне стал чихать.

Вскоре мазуры начали просыпаться и, вдыхая приятные запахи, спросили:

— Чем это так вкусно пахнет?

Апанасий с Тарасием тем временем поставили на стол кварту горелки, жаркое из барсунов и зовут на завтрак мазуров.

— Идите, — говорят, — угостим вас на прощание варшавскими фляками.

Сели мазуры за стол. Выпили по чарке. Уплетают жаркое, аж за ушами трещит! Хвалят Апанасия и Тарасия за их умение готовить фляки.

Апанасий с Тарасием только улыбаются. Едят себе сало, а к шкваркам не притрагиваются.

— Чего же это вы, люди, сами не кушаете фляки? — спрашивают мазуры.

— Да мы уже позавтракали, а теперь на прощание захотели вас угостить.

— Спасибо вам, люди добрые! За всю нашу жизнь не пробовали такой вкусной еды!

Позавтракали мазуры и, облизываясь, отошли от стола. Готовятся обуваться. Лап-лап — под лавки, под стол, — нет барсунов. Что за черт? Собаки не лаяли, а обувь украли! Головы потеряли, пока искали свои барсуны! Прицепились к еврею.

— Отдавай, — кричат, — нашу обувь, а то пейсы повыдираем!

А от их барсунов только веревки по корчме валяются. Мазуры уже собираются на этих веревках еврея повесить, если не отдаст барсуны или не заплатит за них.

Пожалели Апанасий с Тарасием еврея и признались, куда барсуны исчезли.

Растерялись мазуры. Но не стали мстить Апанасию и Тарасию за свою обувь, потому что всякая наука денег стоит. Удивились они способностям Апанасия и Тарасия, да и чего обижаться, если сами съели свою обувь, да еще за чужой чаркой горелки. Но зато убедились, какую силу имеет сало. Обещали даже, когда приедут домой, поджарить на сале всю старую обувь, которую только найдут.

Наверно, с того времени мазуры и привыкли к салу и теперь едят его даже без барсунов!

Как с хорошими приятелями распрощались мазуры с Апанасием и Тарасием.

Сели они и поехали.

Едут себе, едут, между собой разговаривают. До боли в животе смеются, когда вспоминают, как накормили мазуров. В хорошем настроении не заметили, как оказались в Бресте.

— Ну, слава Богу, своей сторонкой запахло!

Здесь они снова встретились с Артемом. Рассказали ему, что слышали и что видели на свете. Выпили вместе кварту горелки, взяли от Артема письмо к его родителям и поехали домой.

На Ивана Купалу они уже были дома. Как раз справились до косьбы.

Рады Апанасий с Тарасием, что своими глазами увидели, какие люди есть на свете! Не раз надрывали животы со смеху соседи Апанасия и Тарасия, слушая их рассказы. Да и теперь, лежа на печи, поскольку состарились, они рассказывают своим внукам истории о том, как живут мазуры и какой они способный народ!

И мне, когда играл на свадьбе сына Тарасия, пришлось до слез посмеяться, слушая их рассказы. Интересные и забавные истории они рассказывали. Но все я уже не могу вспомнить. А чтобы и эти не вылетели из головы, я и записал их.

Перевод с белорусского Ивана САВЕРЧЕНКО.



КРИСТИН ДИМИТРОВА

*Сабазий**

Орфей

Я вышел из «Хеброса» и остановился в растерянности: куда теперь? Слегка моросило. На улицах было полно людей. Шли, задевая меня плечами, переходили дорогу на красный, внезапно решив, что ждали слишком долго, передвигались, как роботы. Теперь и я стал одним из них. Уже не было необходимости угадывать, кто зритель моей программы. Нет программы — нет зрителей. Как ни странно, я испытал огромное облегчение. Битва, в которой я не успел одержать победу, больше во мне не нуждалась. К сожалению, некому было и вести ее дальше. Я не говорю о той четко регулируемой системе, в которой мне разрешили помахать своей игрушечной саблей. После моего ухода «Хеброс» обретет полную внутреннюю гармонию. «Хеброс», этот волшебный корабль непрекращающегося веселья и развлечений, оставивший далеко позади себя ржавые грузовые краны, запахи рыбы и разрушенные причалы, а сейчас уплывающий за горизонт, притягивая мечтательные взгляды оставшихся на берегу. В новый перечень моих потерь необходимо добавить еще один пункт — я лишился постоянного заработка. Оставался, правда, гонорар за выступление в клубе. Я планировал его забрать в пятницу. Эти деньги на пару дней отсрочили бы тягостные раздумья о положении, в котором я теперь оказался.

У перехода стояли три слепые женщины и исполняли с наигранной бодростью старый шлягер. «*Ой, преломлю твой тонкий стан я…*» На припеве их голоса разделились — два сопрано взлетели вверх, а третья исполнительница запела:

> Забудь ко мне теперь дорогу,
> Клятву я дала другому.

Аккомпанировал им на аккордеоне такой же коллега по несчастью. Одна из женщин, невысокая, в темных очках и цветастом платке, протягивала консервную банку для милостыни. Все четверо были опрятно одеты. До сего момента я и не осознавал, какое у песни порнографическое содержание.

Я брел по дорожке между моей пятнадцатиэтажкой и хибарой Пегаса, которая каким-то чудом за столько лет не развалилась. Конечно, мне хотелось услышать слова утешения от Эвридики, но не от этой молчащей статуи, а от прежней Эвридики, полной жизни и любви. Однако приходилось считаться с происшедшими в нашей жизни изменениями, и это причиняло мне невыносимую боль. Прежде чем я успевал что-то предпринять, они всегда возникали неожиданно и путали все карты. Вдруг до меня дошло, что для Эвридики я должен был вернуться с работы

---

* Окончание. Начало в № 9, 10 2012 г.

как минимум часа через два. Как будто я обязан перед ней отчитываться! И с чистой совестью я свернул к Пегасу.

Когда человек опускается, как я, на самое дно, он с удивлением замечает, что его уже ничто не интересует. Прежние страдания, вопросы *почему*, *за что*, *как же так* и тому подобные были истрачены где-то по дороге, задолго до случившегося. Наступает полное безразличие и бесчувственность. Меня же занимала одна мысль: как забрать свои деньги.

Сегодня у влажных каменных плит, ведущих к дому Пегаса, по крайней мере, было оправдание: шел дождь. Дверь открыла его бабушка. Кожа на ее лице безуспешно противостояла возрасту, и я, глядя на нее, постоянно опасался, что сквозь тонкую оболочку покажется несущая конструкция. Зато скелет у этой женщины был явно с пятисотлетней гарантией. Она несла себя, как человек, который всю свою жизнь принимал пускай и не важные, по мнению других, решения, но единственно верные. А Пегас ходил, сгорбившись, словно старик.

Не проронив ни слова, она провела меня по пустому коридору в комнату внука. Его богемные замашки давным-давно отступили под натиском вязаных салфеточек, которые украшали даже пианино. Запах разлитого вина заменили запахи камфорного спирта и травяного чая с медом. Меня вдруг поразила мысль, что все это не могло произойти без желания на то самого Пегаса. Что я знал о нем? Что я знал о Белерофонте? Что я знал о них всех? Это нормально: игнорировать происходящее вокруг меня и быть настолько уверенным в своей правоте?

Пегас принимал гостей. Вдвоем с Белерофонтом они грелись у электрического обогревателя и пили чай с ромом. Я обрадовался, подумав вначале, что они оба ждут меня, и только потом вспомнил, что, по идее, в это время я должен быть на работе. Так или иначе, наличие публики меня радовало.

— Я больше не работаю в «Хебросе».

Однако никто не обрадовался, равно как и не встревожился или поинтересовался, почему.

— У Белерофонта тоже есть новости, — сказал Пегас и посмотрел на своего гостя. — Давай, скажи ему.

— Сейчас?

— А когда?

— Может, в пятницу в «Виниле»?

Я думал, что героем сегодняшнего дня стану я, но явно заблуждался.

— Я ухожу из группы, — решился, наконец, Белерофонт.

— Как? И это перед самым конкурсом? Но почему?

Кажется, вопросы задавал я один. Пегас сидел, опустив глаза. Белерофонт же, начав, решил закрыть эту тему раз и навсегда.

— Я буду участвовать в конкурсе в составе другой группы. Мы репетируем вместе уже месяц.

— Пегас, ты знал об этом?

— Нет. Узнал чуть раньше тебя.

— И где мы теперь найдем нового гитариста?

— Откуда я знаю?

Я почувствовал, что вот-вот сойду с ума, но не так скоро, как мне бы того хотелось. Уж лучше сбрендить сразу, чтобы из памяти стерлись все события последних нескольких месяцев. Уход из «Хеброса» был предсказуемой и моей личной трагедией, а этот разговор делал меня участником чужих кошмаров, только к ним я подготовлен не был.

— Как же так, Белерофонт? Мы же так хорошо сыгрались!

— У нас нет шансов пробиться, раз нам это до сих пор не удалось. Я ходил на прослушивание солисток в «Транс». Они решили продвигать этот проект дальше. Целые стадионы собирают.

— Предатель! — заорал я и бросился с кулаками на Белерофонта. Он тут же вскочил и заехал мне в глаз. Привел нас в чувство только вылитый Пегасом нам на головы чай. Легче, однако, не стало.

— Как ты мог продаться Сабазию? Как ты мог?

Если до драки Белерофонта еще мучили какие-то угрызения совести, то теперь передо мной стоял человек, убежденный в своей правоте на все сто.

— Предатель ты, Орфей! — выпалил в ответ Белерофонт. — Сабазий предложил тебе записать с нами диск, а ты отказался, даже не спросив нас!

— Я не думал, что вы согласитесь.

— Точно подмечено! Не думал!

Пегас просто молчал.

Наше выступление в пятницу прошло ужасно. Лучшим номером программы был мой фингал под глазом. Белерофонт корчил на сцене гримасы и раздавал воздушные поцелуи, я мстил публике за все свои беды, а Пегас пытался заглушить нашу музыкальную истерию. Когда для этой цели используют барабаны, результат непередаваемый. Люди расходились с головной болью. Сразу после выступления Белерофонт распрощался и оставил нас «все обсудить». Мы с Пегасом решили заказать водки. Нам обоим было понятно, что сюда мы больше не вернемся. На этот раз наш гонорар немного увеличили: когда родственника изобличают в жадности, ему становится стыдно, и тебе в результате перепадает пару копеек сверху. Рюмка водки моментально развязала Пегасу язык. Он начал нести какую-то чушь о китайском гороскопе, так что вскоре я оставил его пить в одиночестве и поехал домой.

Дома меня ждал третий сюрприз за неделю. Эвридика исчезла, оставив лаконичную записку: «Не ищи меня». Она бросила меня за те три часа, пока я издевался над публикой в «Виниле». Квартира выглядела пустой, как будто в ней давно никто не жил, хотя гардероб Эвридики по-прежнему висел в шкафу. Неужели она не захотела ничего с собой взять? Я несколько раз обошел все комнаты, зажег везде свет. В спальне, у изголовья кровати, в которую я не так давно ложился, стояло мое лекарство, приготовленное на утро. Что это? Нахальная уверенность в том, что, проснувшись утром, я буду продолжать жить как ни в чем не бывало? Ее цветы на окнах самодовольно кивали головками. Со злости я расколотил все горшки и выбросил их на улицу. Внизу перед подъездом красовалась надпись «Hell», выполненная баллончиком с красной краской.

Вдалеке грохотали машины, и я задумался, откуда берется такое количество людей, чтобы постоянно поддерживать этот хаос.

Настал мой черед напиться до состояния единения с космосом, и даже теперь я не могу вспомнить, случилось это до того, как я выбросил цветы, или после. Последняя разумная мысль в моей голове была о цепи ужасных совпадений, преследовавших меня в последнее время. Будто сама судьба, на которую я никогда не обращал внимания, решила любой ценой донести до меня что-то очень важное.

Зато я знал того, кто обладал врожденным инстинктом скрываться за маской судьбы.

По телефону мы договорились, что за мной пришлют машину. Субботу и воскресенье Сабазий проводил вместе со своей семьей, поэтому бокал абсента на террасе — максимум, что мы сможем себе позволить. Также мне посоветовали прихватить плавки.

— У тебя есть семья?

— Разумеется, — ответил Сабазий. — Так же, как и у тебя.

В последнем я не был бы столь уверен.

Через полчаса внизу у подъезда меня ждал телохранитель в элегантном приталенном костюме. Солнце уже начало припекать, и я втайне понадеялся, что под пиджаком ему далеко не так комфортно, как можно было подумать, глядя на его бодрую физиономию. Определить автомобиль, на котором он приехал, не составляло особого труда, учитывая, какие машины были припаркованы по краям пыльной детской площадки. «Додж-Вайпер» цвета оранжевый сатин. Или, как говорят в рекламном ролике, «возьми жизнь за рога». Сабазий оставался верен своим вкусам. На выезде со двора днище автомобиля шваркнуло по асфальту.

— А чтоб тебя!.. — среагировал тут же шофер, как бы заочно оправдываясь перед шефом.

Дом Сабазия, как оказалось, находился на юге, за чертой города. Словно военный объект, его скрывала неприступная стена с установленными на ней камерами видеонаблюдения. На широких воротах из кованого железа была выполнена композиция в виде переплетающейся виноградной лозы. Кажущаяся легкость и ажурность такого дизайнерского решения отвлекали внимание от того факта, что за воротами невозможно было ничего разглядеть. Водитель нажал кнопку на дистанционном устройстве, и створки ворот медленно, как театральный занавес, начали расходиться, открывая нашему взору дорогу, проходящую через тоннель, который образовывали густые кроны деревьев и декоративные фонари. Мне показалось, что я слышу детские голоса. Двери стоящего вдалеке дома были распахнуты, и из-за сквозняка тюль на окнах надувался парусом.

Ни слова не говоря, меня оставили у входа одного, и я начал осматриваться. Некоторые кусты уже цвели, и их ярко-желтые ветки тяжело покачивались на ветру. Между ними из камней была выложена дорожка к альпийской горке с молодым папоротником. Чуть дальше на солнце блестел маленький прудик неправильной формы, у берега которого стоял детский кораблик. Магнолия роняла в траву свои белые лепестки. Сюда весна пришла давно. Или же она не покидала это место никогда.

Я поднялся на веранду и не успел войти внутрь, как из сада до меня снова донеслись детский визг и крики. Я решил обойти здание вокруг. Оказывается, за углом дома был огромный бассейн, в котором резвилась группа ребят на вид от четырех до двенадцати лет. Женщина в купальном костюме и солнцезащитных очках кидала им обратно в воду мяч. Увидев меня, все внезапно замолчали, но через секунду снова продолжили свою игру, привыкшие не замечать людей, которые приходили не к ним. За моей спиной, облокотившись на низкий плетеный столик, сидел Сабазий.

На нем были надеты банный халат и вьетнамки. Ветер шелестел страницами газеты, которую он держал в руках. Ноги, порозовевшие на раннем весеннем солнце, Сабазий закинул на сиденье детского трехколесного велосипеда. На лбу под бейсболкой причудливо торчали две шишки. Он отложил газету и улыбнулся. Я присел за столик.

— Лед прикладывал?

— Что, прости?..

— Я про глаз.

— А, нет.

— Ничего, так пройдет.

— Сабазий, я ушел с твоего канала.

— Знаю, знаю. Я уже понял.

Мы оба смотрели в сторону бассейна, вода в котором буквально бурлила от беснующихся в нем шестерых детей и их матери.

— Ты бы мог сказать, что «Хеброс» принадлежит тебе.

— Мне не хотелось на тебя давить.

— Однако твой приятель Мидас именно так и поступает.

Сабазий поставил на стол бутылку с зеленой жидкостью и два высоких бокала. Потом принес лед и кусочки сахара. В это время из бассейна донесся дикий вопль. Естественно, досталось младшему.

— У Мидаса есть определенные обязательства. Он должен отчитаться за выполненную работу.

— Сабазий, и тебе не стыдно защищать Силена? Этот подонок должен сидеть за решеткой, а не в парламенте. Как ты можешь приказывать Мидасу лгать людям? Ведь завтра они же пойдут за Силена голосовать! За педофила!

— М-да, прямо как мой второй усыновитель… И как это он так измельчал?.. Очень неудачной инвестицией оказался. Я его еле отмазал, а теперь приходится ломать голову над тем, куда его всунуть, чтобы быстрее вернуть свои деньги.

Этот человек сводил меня с ума. Учитывая, что мне никогда не удавалось произвести на него подобный эффект.

— Ты, Сабазий, превращаешь в ничто жизнь любого, кто с тобой сталкивается.

— Не совсем так, — ответил он тихо. — Ты сын Аполлона и можешь выбирать, чему посвятить свою жизнь. А у меня нет выбора: я вынужден всегда побеждать. Зевс вытащил меня из грязи, и я полезен ему до тех пор, пока продолжаю быть тем, кто я есть.

Лично я не видел перед собой такого широкого выбора, какой мне рисовал, или скорее, оставлял для меня Сабазий. В данный момент мы говорили почему-то о его собственном выборе.

— Зевс сегодня всего лишь старик, не более.

Сабазий рассмеялся.

— Ну да, если бы мы с ним встретились на ринге — то конечно. Но тот, кто работает на Зевса, воюет не с ним, а с его врагами. И пускай они всего-навсего простые смертные, но достаточно опасные. У меня нет права на ошибку.

— Ты не обязан во всем подчиняться Зевсу.

— Зевс — бог. Он никогда не показывается, но заправляет здесь всем. А я, как тебе известно, принадлежу этому миру наполовину. Если что-то случится со мной, все вокруг исчезнет и перейдет обратно к нему. Поэтому я должен работать и на себя. Посмотри вокруг. Что ты видишь?

— Золотой сервировочный столик…

— Нет, ты видишь мираж.

Пока мы разговаривали, все внимание Сабазия было приковано к процессу приготовления коктейля. Ему удалось разлить одинаковое количество абсента, заискрившегося на солнце зеленым цветом, по двум бокалам. В один из них Сабазий подлил немного воды, из-за чего жидкость стала мутно-белой, и подал его мне.

— Держи. Это «зеленая фея». Если слишком горько, добавь сахара.

Люди делятся на две категории: те, что начинают разговор с самого важного, и те, что сообщают об этом в конце. В детстве я воображал, будто принадлежу к первой категории. Как же я тогда ошибался!

— Когда привыкнешь к горечи, тебе даже начнет нравиться.

— Сабазий, от меня Эвридика ушла.

Он кивнул, не отрывая взгляда от своего напитка. Сабазий сидел ко мне вполоборота, и я мог видеть только один его голубой глаз.

— Ты случайно не знаешь, где она может быть? — задал я, наконец, вопрос, за которым сюда приехал.

Показалось, Сабазий вздрогнул.

— Где она сейчас? Нет. Наверняка… в том месте, которое любит.

Мальчик лет пяти с разбитым лбом вылез из бассейна и бросился к своему отцу, оставляя мокрые следы на плитке. Сабазий обнял его.

— Ну что ты, сынок? Ничего страшного.

Потом поднялся с ребенком на руках и громко крикнул оставшимся в бассейне, что с его голосом было похоже скорее на шипение:

— Эй вы, там! Аккуратнее! Тавропол, сейчас ты у меня получишь!

Кто из ребят Тавропол, я определил по новому плачу, донесшемуся из бассейна. Вначале тихому, а позже со всей звучащей в нем обидой. Игра сразу же прекратилась. Вдруг я почувствовал, что мне в голову ударил выпитый бокал абсента. Вероятно, я переоценил свои силы. Зеленая фея носилась в моей кровеносной системе, как истребитель. Мозг стал лихорадочно соображать, а тело, наоборот, отказывалось реагировать на его импульсы. Я сидел, не в состоянии пошевелиться.

— Сабазий, тебе всегда известно чуть больше других. Скажи, где я могу найти Эвридику?

— Даже если она попросила ее не искать?

— Откуда ты знаешь?

— Ведь так говорят? «Прощай. Считай, что я умерла. Не ищи меня. Не забывай поливать цветы». В общем, как-то так…

— Прошу тебя, Сабазий! Не мучь меня. Я слышал, ты содержишь любовниц, оплачиваешь им квартиры, машины, путешествия…

— Они все мне ужасно надоели. Если хочешь, могу дать ключи… Подожди, не хочешь ли ты сказать…

— Да, я спрашиваю тебя об Эвридике.

Он замолчал и откусил зубами кусочек торчащей кожицы возле ногтя. Выдержав паузу, сказал:

— Мы собираемся через три месяца, в начале лета. Если до тех пор ты не найдешь ее, приходи. Все там будут. Что-нибудь разузнаешь.

— Кто это все?

— Все.

— Если понадобится, я за ней спущусь в ад.

Сабазий повернулся ко мне так, что теперь на меня смотрели оба его глаза. «Орфей, мы с тобой давно там», — произнес, или мне только показалось, Сабазий. Я не уверен в этом до сих пор.

Женщина в бассейне помахала нам рукой, как будто только теперь заметила мое присутствие, но продолжить знакомство дальше не пожелала. С такого расстояния я мог разглядеть лишь ее неестественно бледную кожу и темные очки.

— Ариадна, — представил мне ее Сабазий. — Она не очень-то доверяет людям. Когда немного к тебе привыкнет, подойдет ближе. Вот такая у меня семья.

— Ариадне известно количество твоих любовниц?

— Не знаю. А она обязательно должна знать?

— Может, и нет. Но что почувствуешь ты, если узнаешь, что Ариадна тебе изменяет?

Сабазий взглянул на меня недоверчиво.

— Мне не изменяет никто, — что характерно, отвечая на мой вопрос, Сабазий имел в виду не одних только женщин.

Мне хотелось навсегда остаться в этом кресле, не шевелиться и смотреть в одну точку на воду в бассейне. Как единственный зритель в кинотеатре, которому свет с экрана не позволяет увидеть, насколько темно вокруг.

Когда меня вернули в пустую квартиру на пятнадцатом этаже, первое, что я сделал, — позвонил хозяину моего жилища и предупредил, что съез-

жаю. Он очень удивился, поскольку, по его словам, какой-то мой родственник оплатил все расходы на год вперед, и поинтересовался, намерен ли я по-прежнему съезжать. Разумеется, я ответил «нет».

Т., город, в котором выросла Эвридика, изменился до неузнаваемости. Площадь, где остановился и с шипением открыл свои двери автобус, выглядела теперь гораздо современнее, чем несколько лет назад. Маленькая гостиница с кондитерской на первом этаже. Два джипа, припаркованные у входа. Несколько лотков, завешенных дамскими колготками. Рынок украшал новый темно-синий купол, из-за которого все овощи приобретали несъедобный фиолетовый оттенок. Два-три здания, построенные спешно и с размахом, чьи несуразные украшения выдавали жажду широкого общественного признания их архитекторов. Над лавкой, в которой торговали баницами[1], располагалась крупная фирма по изготовлению изделий из пластмассы, о чем свидетельствовал перечисленный на рекламной доске ассортимент и пять звездочек, которые организация себе зачем-то присудила. Бывший партийный клуб теперь носил название «Золотое руно», а за его окнами шумели ротационные машины. Остальное было более-менее таким, как я его запомнил со времен своего последнего визита. В конце улицы ветер поднял облако пыли, всколыхнул вывешенное на балконах белье и припудрил все предметы на своем пути. По моей спине можно было рисовать пальцем.

Дома я застал отца Эвридики. Он искренне мне обрадовался, обнял, пригласил в дом, достал бутылку домашней ракии. Одно окно в доме треснуло, и трещину заклеили скотчем. Я накинул на плечи куртку, так как в тени еще было прохладно. У соседей работал транзистор, и двенадцатичасовые новости пробивались к нам через позеленевшие ветки алычи. Вдруг заиграла музыка, и мне показалось, что я слышу голос Белерофонта, но кто-то переключил радиостанцию. Мы сидели за застеленным клеенкой столом, чокались и выпивали. Я потихоньку осматривался, выискивая признаки присутствия Эвридики. Не знал, с чего начать, поскольку не был уверен, что известно ее отцу. Не хотелось напугать его до смерти заявлением вроде: «Эвридика исчезла. Вы случайно не знаете, где она может быть?» Возле курятника, среди старых, покрытых ржавчиной инструментов стоял маленький красный велосипед со спущенными колесами. Мне было известно, что Эвридика — единственный ребенок в семье и никому другому этот велосипед принадлежать не мог. И тут я осознал, что, оставленный ею двадцать лет назад, он символизировал самое близкое расстояние, на которое я мог к ней приблизиться в данный момент.

— Вы с Эвридикой уже не вместе, так ведь? — помог мне старик.

— Да. Она ушла от меня. Вы знаете, где она сейчас?

— Где?

— Не знаю, поэтому и спросил.

— И я не знаю… Эта девчонка с детства была себе на уме. Она звонит иногда, но не говорит, откуда. Хотела переслать нам немного денег. Жена купила недавно мобильный телефон и не расстается с ним теперь ни на минуту: все ждет, когда Эвридика позвонит. С ее диабетом только этого ей не хватало. Орфей, извини… Если хочешь, можешь еще посидеть, но мне пора подменить жену.

Мы вышли вместе. После того, как закрыли консервный завод, мать Эвридики устроилась продавщицей в газетный киоск. Рядом нигде не было туалета, так что она держала у себя на всякий случай горшок. Но если муж успевал ее подменить, прибегать к таким крайним мерам не приходилось.

[1] Баница — слоеный пирог, обычно с брынзой. *(Прим. пер.)*

Каждый день, по окончании занятий в школе, старик сразу бежал к киоску. Счастье, что сегодня он замешкался дома и мы встретились. С нашей первой встречи он похудел еще сильнее. Попросил, если я что-то узнаю об Эвридике, сообщить им и побежал спасать жену от унижения, оставив меня на площади одного. А ведь если бы я так не выделывался в «Хебросе», то мог бы помочь им хотя бы деньгами.

Домой я вернулся поздно вечером того же дня. К моему удивлению, квартира встретила меня уже не так враждебно. Первое время после ухода Эвридики все напоминало о ней. Спальня говорила мне: «Входи, но Эвридики здесь нет». Кухонный стол жаловался: «Я всего лишь пустая доска, ведь Эвридика не накрыла ужин». Ванная советовала: «Лучше не убирай эти баночки под зеркалом, Эвридика может за ними вернуться». А теперь я вошел, обвел взглядом свое жилище и впервые почувствовал некую ясность. Немногим было известно о моем существовании, но еще меньше людей могли припомнить, что когда-то я встречался на их пути. С этого дна, где я в данный момент находился, мне не оставалось ничего другого, кроме как изо всех сил вглядываться в свет там, наверху. Разбросанные у компьютера диски твердили: «Эвридики больше нет рядом, чтобы все здесь убрать, и если ты сейчас же этим не займешься, все останется по-прежнему». Это звучало скорее как дружеский совет. «Очень хорошо, — подумал я. — В таком случае, все останется так, как хочу того я. От меня всегда что-то зависело, но я теперь я, по крайней мере, знаю, что именно».

Я достал из футляра скрипку и заиграл. Поработал немного над сочинением Пегаса, которому из-за невозможности так быстро найти замену Белерофонту не суждено было прозвучать на конкурсе. Потом отвлекся и начал играть то, что накопилось у меня на душе за последнее время. Я вел диалог со стенами, мебелью вокруг меня, выключенным компьютером и окнами, самоотверженно защищавшими меня от шума улицы. Музыка тонула в них. Предметы, привыкшие к постоянному присутствию Эвридики, выслушивали мою версию происходящего. В конце концов, любая публика отличается лишь степенью проявления своих эмоций, только и всего.

На ужин я проглотил пару вафель и, должно быть, выпил больше обычного, чтобы протолкнуть в себя пищу. Кажется, я пытался дозвониться Белерофонту, чтобы рассказать ему, какая он сволочь. Зачем-то полез в шкаф за одеждой Эвридики, судя по тому, что на следующий день утром она была разбросана по всей квартире. Вероятно, я хотел этим что-то сказать. Заснул по привычке на диване.

Единственное, что я отчетливо помню, — это свой сон.

Белый просторный дом где-то в лесу. Дерево потемнело от времени. Ворота из тех же досок. Сверху насажен череп оленя с огромными рогами. Из подвала струится тусклый свет. На улице морозно. Небо ясное, обсыпанное миллионами ярких звезд. В доме оказалось так же холодно, как и снаружи.

Я спустился вниз по ступенькам, туда, откуда, как мне показалось, шел свет. Пройдя по длинному коридору, я зашел в кухню. Там на стенах висели сковородки, всевозможных размеров эмалированные сосуды. Печки были огромные, некоторые с квадратными электрическими конфорками. В ряд у стены стояли холодильники, напоминающие кабины нагруженных фур. В глубине я увидел большой очаг с установленным над ним вертелом такой длины, что на него вполне можно было насадить целиком вола или оленя. Послышался смех, от которого по телу пробежали мурашки. Звук доносился из приоткрытой дверцы, ведущей еще ниже, должно быть, в погреб.

Внутри было полно людей, склонившихся, подобно хирургам, над телом человека. Их лица скрывали резиновые маски с гиперболизированными женскими чертами и светлые парики из искусственных волос. В центре, прикованный к деревянному столу, извивался человек. Его руки и ноги были привязаны ремнями, и он мог лишь беспомощно вертеть головой, пытаясь вырваться. Каждое его движение вызывало смех толпы, возбужденной ожиданием некоего зрелища. «Отпустите меня! Отпустите!» — кричал мужчина, но голос его не слушался и срывался на унизительный фальцет.

Неожиданно среди беснующейся толпы показался Сабазий с топором в руках. Ему не было нужды скрывать свое бледное лицо под маской, поскольку его пышную шевелюру невозможно было спутать ни с чьей другой. Печатая шаг вокруг жертвы, он обращался к собравшимся, делая паузы при очередном взрыве смеха. Из-за громкого эха я не разобрал все слова, но запомнил следующее: «Этот баран (смех) попытался перейти нам дорогу (продолжительный смех) и даже посмел следить за нами (громкое улюлюканье), но никто не может нам помешать (одобрительные возгласы), так как дороги придуманы для таких же баранов, а нам зеленый свет повсюду». Сабазий завертел топором и отсек жертве правую руку. Освободившись вдруг от одной из оков, тот предпринял попытку к бегству, но в ужасе увидел, что часть его тела так и осталась пристегнутой к столу.

До сего момента я был лишен плоти, никто меня не видел, но вдруг я осознал, что привязанный к столу мужчина есть я сам. Я не чувствовал боли. Просто моя правая половина стала легче и из нее хлестала кровь. Случилось непоправимое.

Сабазий склонился над моим лицом и поцеловал в губы.

— Прощай, Пентей, — прошептал он. — Разорвите его.

Толпа набросилась на меня, как пчелы на мед, и каждый начал отрывать по куску моего тела. Оставалась одна последняя надежда.

— Сабазий! — крикнул я. — Ты должен меня узнать! Посмотри внимательнее. Это же я, а не Пентей. Вспомни!

Сабазий смотрел на меня словно в забытьи, а мои слова до него будто не доходили. Но тем не менее он прислушался. Оставались какие-то секунды, мне было наплевать, что со мной произойдет дальше. Я хотел лишь докричаться до Сабазия.

— Мы играли с тобой вместе, — повторял я. — Прошу тебя, вспомни! Вспомни, кто я, и поймешь, кем в действительности являешься ты сам.

Сабазий напрягся, пытаясь разобрать, что я ему говорю. Мне вдруг показалось, будто оцепенение с его лица начало понемногу сходить. Я видел перед собой того самого маленького мальчика, который много лет назад еще не сделал ничего плохого.

Узнать, что же произошло дальше, мне не удалось, потому что именно в этот момент я проснулся. Весь правый бок онемел. Впервые за то время, что я жил один, мне показалось, что жива еще в мире надежда, которую я похоронил под метровым слоем отчаяния.

Скрытый архив:

— Раздвинь ножки. Еще.
— Тебе ведь нужно все, не так ли, грязный развратник?
— Ты одна меня понимаешь.
— Да, да… Черт возьми, еще…
— Что ты хочешь сказать?
— Ничего, продолжай. Вот так…

— Я… не могу остановиться. Это ты на меня так действуешь.

— Врунишка. Ты делаешь это со всеми. Зная тебя, Сабазий, можно подумать, что природа обделила остальных мужчин.

— Да и ко мне она не была столь добра.

— У тебя кожа младенца, почти нет шрамов. Это странно, не находишь?

— Не оставляй меня одного!

— Я чувствую, что скоро тебя увижу на своей второй родине.

— Не говори так.

— Ты боишься?

— Нет. Я лишь то, что со мной происходит. Я не могу жить иначе.

— Ты узнаешь меня, когда мы там встретимся?

— Не знаю. Наверное, нет. Я сделаю вот что…

— Венок из плюща? Мне что, его и перед моим мужем носить? Ты с ума сошел?

— Похоже на то.

— Сабазий, скажи, каково это — чувствовать, что у тебя растут рога?

— Это значит, что в любой момент тебя могут пристрелить.

Продолжение: Орфей

Пегас зашел ко мне посмотреть вместе конкурс по телевизору. Билеты продавались до самого последнего момента, но у нас не было никакого желания сидеть в зале и аплодировать своему поражению. Мы собрались пораньше, чтобы обсудить все свои вопросы. Пегас озвучил кучу новых идей. Музыка только для нас двоих, осталось только добраться до органа Хаммонда[1]. Музыка для коллектива из пяти человек, когда найдем новых единомышленников. «Я уже вижу эдакую вокалистку с назойливым альтом, — размечтался Пегас, — желательно, играющую на гитаре…» В этот момент я догадался, что решение нашлось.

— А может, она еще и на скрипке играет? Чтобы меня совсем без работы оставить, — поддразнил я его.

— Ну уж нет, ты будешь танцевать стриптиз. Куда нам без тебя?

Мы оба понимали, что независимо от того, какие слова использовали, это означало одно — «потрясающая идея».

Трансляция конкурса началась с опозданием. На экране появилась сцена, освещенная несколькими цветами. Дважды делали перерыв на рекламу — банки, супы, страховые компании, мобильные телефоны, цифровое телевидение, стиральный порошок. Очередность выступления исполнителей подчинялась той же логике случайного разнообразия. С нескрываемым злорадством мы отмечали ошибки конкурсантов, отсутствие голоса, скучно поставленные номера. Так вся наша радость от участия в конкурсе превращалась в горькую отраву. «Потом, когда привыкнешь к горечи, тебе даже начнет нравиться», — вспомнил я слова Сабазия. Но до этого мы пока не дошли. Сидели на диване, закинув ноги на журнальный столик, и периодически подливали себе в рюмки водку.

Мы с Пегасом смеялись даже чаще, чем того требовали звучащие с экрана телевизора глупости.

[1] Орган Хаммонда — электрический орган, который был спроектирован и построен Лоренсом Хаммондом в апреле 1935 года. Изначально органы Хаммонда продавались церквям как недорогая альтернатива духовым органам, но инструмент часто использовался в блюзе, джазе, рок-н-ролле (1960-е и 1970-е) и госпеле. *(Прим. пер.)*

В третьем отделении появился Белерофонт со своей новой группой. Их было пятеро. Из двоих вокалистов Белерофонт ведущий. Не оставалось никаких сомнений, что песню, случайно мной услышанную у отца Эвридики, исполнял он. Несмотря на то, что музыканты старались, расшевелить публику им не удалось. Композиция была далека от совершенства. Я обратил внимание, что их барабанщик некоторые фирменные движения позаимствовал у Пегаса. Белерофонт определенно поделился с ними секретами нашей кухни. Пегас смотрел и грыз ногти.

— Ерунда, ноль без палочки, — резюмировал я.

— Угу, — согласился Пегас.

Белерофонт со своими новыми партнерами собирал аплодисменты публики, отвешивая низкие поклоны и победно размахивая в воздухе кулаками.

— Но песня хорошая, хоть они и не довели ее до ума. Я тут уже прикинул, какая убойная вещь из нее могла бы получиться, если кто-нибудь… Пегас?

— М..?

— Пегас, кто им написал музыку?

— Откуда… Ну хорошо, я.

— Когда?

— Пару месяцев назад. Меня Белерофонт попросил.

Признаваясь в этом, Пегас старательно отводил взгляд в сторону.

— Значит, ты давно знал обо всем и молчал?

— Нет, я не предполагал, что Белерофонт решит уйти.

— А что же ты подумал, когда он попросил написать для него песню?

Должно быть, я буквально навис над ним, потому что Пегасу пришлось оттолкнуть меня рукой.

— Ничего! Ничего я не подумал! Мне нужны были деньги.

Я не стал спрашивать, с каких пор Белерофонт начал располагать достаточными средствами, чтобы заказывать песни, так как нам обоим ответ был отлично известен. Пегас опустил голову на свои тощие руки. Я тоже схватился за голову. На сцене выступали следующие конкурсанты, на которых нам было уже наплевать.

— Пегас, — спросил я, — как ты мог позволить Белерофонту тебя использовать?

Он поднял голову. Свет от телевизора окрашивал его лицо то в зеленый, то в синий, то в розовый цвет.

— Но все же я остался с тобой, не так ли?

Я встал, чтобы зажечь свет. Надо было сделать хоть что-то. Увлеченный решением собственных проблем, я не подозревал, что перед кем-то еще может стоять необходимость сделать трудный выбор. Может, мне стоило его обнять? Нас ведь учат этому в подобных ситуациях. Сейчас-то я понимаю, что именно так и следовало поступить. Пегас засобирался. Я предложил постелить ему на диване, так как он достаточно выпил, но Пегас возразил, что предпочитает засыпать у себя дома. Я вызвал такси.

— Помни: ты лучше всех, — произнес на прощание Пегас. Обычно он реагировал не на слова, а на то, что за ними скрывалось. Так что выглядел я, видимо, отвратительно.

— Ты тоже. Нас ждет большое будущее.

Дверь захлопнулась за его спиной, и я услышал, как поехал вниз лифт. Такими были подробности нашей с ним последней встречи, которые тут же стерлись у меня из памяти.

Я устроился перед телевизором и начал переключать каналы через каждые три секунды: футбол, зебры в Африке, «Говорящие головы», очередная интеллектуальная игра, фильм с красивыми заплаканными лицами героев, «Говорящие головы». Я остановился на своем бывшем детище. Руководитель одной

творческой организации говорил о тонкой душе творца, а Ганимед повторял с мечтательным выражением: «Да… да!» Я переключил на футбол. Это был матч Кубка чемпионов между нашей и какой-то приезжей командой, и когда противник проводил более или менее серьезную атаку наших ворот, стадион взрывался. Но за этот вечер всю свою способность сопереживать происходящему на экране я исчерпал. За окном начал падать мелкий снежок. Не знаю, сколько времени прошло, но разбудил меня телефонный звонок. Оказалось, я заснул с пультом в обнимку. Звонила бабка Пегаса. Она вызвала «скорую помощь», но ее все никак не было, и теперь умоляла меня скорее приехать.

Первой глупостью, которую я совершил, было то, что я отпустил такси и со всех ног бросился к дому Пегаса. Бабка встретила меня в дверях словами: «Быстро, давай перенесем его в машину!» Пришлось снова вызывать такси. Бабушка успела дотащить Пегаса в прихожую, где я и увидел его лежащим в кресле. Голова неестественно запрокинута. За полузакрытыми веками виден только перламутровый белок глаза. Изо рта струйкой стекает слюна. Руки и ноги раскинуты в разные стороны, как у марионетки, которой обрезали все ниточки. Чтобы привести Пегаса в чувство, я стал хлестать его по щекам, но они оставались такими же бледными. Тогда я попытался приподнять ему голову, однако она все равно безвольно падала вниз.

— Следи, чтобы у него не запал язык! — предупредила бабка. Очевидно, о внуке она знала больше, чем я.

— Где это чертово такси?!

Я набрал номер еще раз, но невозмутимый женский голос ответил, что все линии заняты, и в трубке зазвучала успокаивающая мелодия. Я позвонил еще в несколько фирм, но везде меня просили подождать. Последний судейский свисток матча парализовал все транспортное сообщение в городе. Я поднял Пегаса на плечи и понес на улицу, надеясь остановить какую-нибудь машину. Если бы я мог в тот момент соображать, я бы догадался, что никто не захочет связываться с амбалом, волочащим на себе безжизненное тело. Бабка Пегаса шла сзади, гладила его по голове и тихонько скулила в скомканный в руках платок. Я приказал ей ждать «скорую» у подъезда, а сам пошел в направлении ближайшей больницы. Если что, они смогут подобрать меня по дороге.

Время от времени я останавливался, прислонив Пегаса к стене, чтобы перевести дух, но он все равно съезжал вниз. У меня оставался еще один номер, набрать который я не решался. Я собрался с духом и позвонил. На том конце слышалась музыка и громкие разговоры. «Сабазий, прошу тебя, помоги. Пришли мне машину. Немедленно». И продиктовал адрес. Через десять минут приехал он сам.

Обогнал. Сдал назад.

— Быстро, давай его, — сказал он и взял Пегаса. В его руках он почему-то не казался таким тяжелым. Сабазий быстро огляделся вокруг, открыл багажник и запихал тело внутрь.

— Где мы его бросим? — спросил Сабазий.

— Ты в своем уме? Сейчас же положи его в салон! Мы едем в больницу.

Сабазий озадаченно взглянул на меня и достал Пегаса.

— Как скажешь. Но людей подобного рода я хорошо знаю.

— Это мой лучший друг!

— Черт, откуда я мог знать? Ты сказал только, что тебе необходима помощь.

Мы усадили Пегаса на переднее сиденье, оно было самым широким, и пристегнули ремнем безопасности. Я сел сзади, чтобы придерживать его голову. Сабазий вдавил педаль газа.

— Орфей, — нарушил он молчание за минуту до того, как мы приехали в больницу, — ты должен знать: ему конец.

Это был такой своеобразный способ деликатно подготовить меня к дальнейшим разочарованиям, которые мне уготовила судьба.

С течением времени я вспомнил все, что мог сделать, но не сделал, чтобы остановить Пегаса. Достаточно было почувствовать, что он задумал. Так я привык жить: с шумом спускающегося вниз лифта.

Следующие несколько месяцев я зарабатывал себе на хлеб различными способами. Стоял на ксероксе в соседнем книжном магазине и целыми днями размножал нотариальные акты и студенческие лекции. Давал уроки скрипки в той библиотеке, где мы раньше репетировали. В толстом слое грима и с красным платком на голове играл для приезжих цыганскую музыку в одном кабаке. Я позаимствовал достаточно музыкальных мотивов у «Транса» и теперь успешно продавал их за чаевые. Мои коллеги были чистокровные цыгане, и я так и не узнал, выступали они из-за денег или исключительно в свое удовольствие, поскольку обе эти вещи были им одинаково важны. Последняя работа развила во мне такую выносливость, на которую, я думал, человек не способен. До девяти мы аккомпанировали шкворчащим отбивным, до двенадцати помогали посетителям объясняться в любви, до двух наблюдали танцы на столах, а до четырех каждый желал услышать песню, которая бы могла выразить их загадочную душу. Утром же мы делили заработанные деньги и тем жили. Иногда мне казалось, будто я слышу барабаны Пегаса, и помимо своей воли вторил их ритму. Остальные участники коллектива не сердились на меня, а подыгрывали и создавали тем самым новую мелодию. Они видели в своей жизни многое, ничему не удивлялись и принимали все с улыбкой.

Белерофонт со своей новой группой выиграл конкурс благодаря внушительному количеству SMSок зрителей и был отправлен представлять страну на другом, уже международном конкурсе. Впрочем, группа осталась никем не замеченной, что не помешало им, однако, вернуться на родину победителями. «Здесь уже речь идет о качественно новом уровне, достичь которого, разумеется, я желаю всем своим коллегам», — заявил Белерофонт в интервью «Говорящим головам». Я видел его в утреннем повторе, прежде чем лечь спать. Поскольку автором песен считался он, то о Пегасе, конечно, никто не вспомнил.

Несколько раз в самый неподходящий момент звонила мама — когда я был в душе, дремал после обеда или во время урока. Я отвечал, что все хорошо, не вдаваясь в подробности. Не хотелось, чтобы в один прекрасный момент она появилась с какой-нибудь настойкой боярышника для поддержания работы сердца. С отцом я с тех пор не разговаривал, хоть временами и ощущал неискренние попытки к сближению.

Я регулярно просматривал все газеты. Закрывался дома и читал, пытаясь между строк отыскать то, о чем умолчали. Я словно одновременно проживал три жизни: Орфея-неудачника, Орфея — главного адресата этих новостей и Орфея, которого невозможно обмануть. Мне на глаза попался некролог о кончине Каллирои. «Внезапно ушла… наша коллега… скорбим…» И «подключайтесь на новый тарифный план» на следующей странице. Четыре упоминания о Пентее с обвинениями в контрабанде дисков и сигарет. Его, правда, не могли поймать, чтобы начать судебный процесс.

Квартира стала похожа на заброшенную и грязную берлогу. Единственное чистое место было под душем, где горячая вода падала на кафель. Я давно собирался навести порядок, но все никак не находил подходящего момента.

Однажды, когда я уже ничего не ждал и ни на что не надеялся, зазвонил телефон, и я услышал в трубке незнакомый женский голос. Мной, а точнее, записями «Аргонавтов» и правами на них, заинтересовалась новая, неизвестная мне продюсерская компания. Когда-то Пегас отослал им несколько

дисков. С ним никак не удавалось связаться, а мой телефон был указан рядом. Дрожащим голосом я рассказал о том, что произошло с моим другом. Казалось, он, где бы сейчас ни находился, отыскал способ быть рядом. Девушка на другом конце провода очень сожалела, выражала свои соболезнования. «Пегас отдавал всего себя, — согласился я. — Пока остальные неслись галопом, он легко парил над землей». Девушка несколько раз повторила, что их компания всерьез собирается заняться нашей музыкой. «Качественный продукт, талантливые песни, виртуозное исполнение» и так далее в том же духе — у меня не было времени слушать и запоминать все. Я не верил, что такое еще случается. По-прежнему до конца не веря в случившееся, я подписал все необходимые со своей стороны документы.

* * *

...После смерти Пегас стал звездой...

Белерофонт

До места назначения мы добрались после обеда. Для группы приготовили две комнаты на четверых человек и еще одну для меня одного. Из окна был виден паркинг, где мы оставили свой микроавтобус, дорога, уходящая в сосновый лес, и горы. Я закрылся в номере, принял душ и рухнул на кровать. К сегодняшнему вечеру я должен как следует отдохнуть и успокоиться. Покачать пресс, вдохнуть полной грудью свой успех, в который я столько вложил. Мне уже несколько раз звонили из города, где я родился, чтобы сказать, как сильно мной гордятся. «Белерофонт, ты герой», — прокричал мне в ухо главный редактор местной газеты. Он хотел интервью. Я ответил: «Сразу же, как только появится такая возможность». Сейчас мне едва хватает времени на общенациональные каналы. Уже через месяц нас планируют продвинуть на выборах. Сабазий такими вещами не шутит. Хотя сложно понять, когда он говорит серьезно. Обычно я стараюсь ориентироваться по ситуации и учтиво улыбаюсь.

Если выглянуть из окна моей комнаты, будут видны огромные оленьи рога прямо над входом в дом. Охотничье хозяйство толстыми и тяжелыми стенами походило скорее на монастырь. Крыша была сложена из массивных темно-коричневых балок, оконные рамы выполнены из того же дерева. Здание имело форму буквы «Г». Все его называли хижиной, так что я ожидал увидеть дом гораздо меньших размеров и уж тем более без фонтана во дворе. Когда мы приехали, подготовка к торжеству шла полным ходом: составляли столы, развешивали бумажные фонарики. Вокруг суетились официанты, выносили скатерти, столовые приборы. Из кухни доносился аромат печеного мяса. Я почувствовал, что голоден как волк и не дотяну до вечера. Черт возьми, сегодня самый длинный день в году.

На вершине горы ее зеленый цвет приобрел синеватый оттенок и еще менее стал похож на реальный. В сущности, ни один цвет нельзя назвать реальным. С заходом солнца деревья почернели. Однако на улице не похолодало, по-прежнему дул теплый летний ветерок. Я закрыл окно, чтобы не налетели мухи, и включил радио. Так уж вышло, что именно в этот момент говорили о Пегасе. Каким талантливым он был, какие песни оставил после себя и какую они обрели популярность после того, как мир отвернулся от него. Поставили одну из старых записей «Аргонавтов». Между прочим, мне тоже причитается процент от нового тиража дисков, но это никого не волнует, поскольку я отношусь к той части мира, «который от него отвернулся». Опомнились, решили могилу раскопать… Еще этот Орфей, некро-

фил чертов! К счастью, от них двоих — по причине их же собственной глупости — ничего не зависит, как будто их вовсе не существует.

Мальчик, поставив мои чемоданы у двери, вежливо предупредил: «Если вам что-то понадобится, набирайте на телефоне ноль. Мы все сделаем». Интересно, что бы могло означать это «все»?.. Я был бы не прочь заказать одну отбивную, но не хотелось ненароком опозориться. Кто знает, как принято у сильных мира сего.

Понемногу начинали съезжаться гости. Свободное место в паркинге рядом с нашим микроавтобусом заняли автомобили антрацитовых, металлических и золотистых оттенков. От количества знаменитостей голова шла кругом: внучка Гермеса, жутко известная актриса; один культовый режиссер, племянник Фемиды; сам Гефест, победитель наиболее престижных конкурсов скульптуры. Гермес вышел из внушительных размеров мерседеса, осмотрелся, помахал кому-то рукой и обменялся парой шуток со знакомым. Одет он был, как самый обычный человек, в спортивную футболку. Шофер перенес его дорожную сумку и вернулся к машине. Деметра из партии аграриев устроила шоу еще в паркинге. Она ходила туда-сюда и генеральским тоном руководила процессом разгрузки своего авто. В эту пору рядом с ней можно было увидеть ее единственную дочь, но этим вечером она почему-то была одна. Приехали и драматург Пан, и депутат Силен. Также Мидас, с которым мы в последнее время сдружились. Я и не подозревал, что между всеми этими известными личностями есть что-то общее. За рулем серебристого автомобиля прибыла Афина в темных очках и элегантном черном костюме. Он держалась не как приглашенный гость, а как представитель собственного социологического агентства. Только здесь гостями были все. Этим вечером Сабазий собирал вместе богов, героев и простых смертных, чтобы дать им почувствовать их силу.

Сам он приехал на оранжевом «Ламборджини-Диабло», остановившись ровно в центре паркинга. Из окна я почти различал застывшего в миг перед нападением быка, изображенного на маленькой треугольной эмблеме на капоте машины. Как сюда, по пыли и камням, доехал этот мерин — не представляю. Хотя, должен признаться, дорога здесь выгодно отличалась от тех, которые я привык видеть в горах. Внизу, когда мы миновали шлагбаум, я поинтересовался у водителя нашего микроавтобуса, куда он нас везет. «По сути, никуда, — ответил мне тот. — Это охотничье хозяйство вы не найдете ни на одной карте».

— Должно быть, его совсем недавно открыли, — предположил я.

— Напротив. Оно построено очень давно.

Такой ответ меня озадачил. Наш водитель, человек с острыми бледными скулами и черными как уголь глазами, улыбнулся.

— С этим домом многое связано. Ты о Зевсе слышал? А о двенадцати олимпийских богах? Временами люди им настолько досаждают, что они ухитряются переиначить все таким образом, чтобы скрыть свое положение на вершине Олимпа. И только один из них — принадлежащий им наполовину — способен собрать воинство, броситься в бой и поставить все с ног на голову. Местный сумасшедший. Сабазий. Но знаешь ли ты, в чем проблема с подобной иллюзией перемен? Она не может оставаться всего лишь иллюзией. Вот почему так сложно контролировать Сабазия. Он никогда не знает, когда надо остановиться. Или, точнее, не может.

В этот момент я проснулся. Похоже, пока я разглядывал из окна гостей, меня одолел сон. Мне даже показалось, что тем водителем нашего микроавтобуса был Гадес. Что-то я сегодня слишком напряжен…

Дверцы оранжевого автомобиля взлетели вверх, как у птицы. Сабазий вышел и, прогнувшись назад, размял спину. Я готов был поклясться, что он не видел меня через зашторенное окно, но на всякий случай махнул рукой. Саба-

зий поприветствовал меня в ответ. На нем была надета тонкая приталенная рубашка, наполовину заправленная в светлые брюки, и белые туфли. Сразу же отовсюду к нему начали стягиваться гости. Объятия, поцелуи, рукопожатия, приветственные возгласы… Женщин Сабазий целовал необычным способом. Он медленно наклонялся к какой-нибудь из них, смотрел ей прямо в глаза и задерживался возле уха чуть дольше, чем длится простой вежливый поцелуй. Я чувствовал, как он вбирает в себя запах их кожи. Как дегустатор, который, едва пригубив из бокала, улавливает все оттенки божественного напитка. Или, скорее, как дикое животное, пытающееся через простое прикосновение определить: человек, стоящий перед ним, — друг или враг. В сущности, так же целовал Сабазий и мужчин. Сабазий, мой бог, целовал только так.

Зазвонил телефон, и меня уведомили, когда начнется вечер.

* * *

…С тех пор как все люди, и мужчины, и женщины, были допущены к участию в ритуалах, по ночам начали совершаться такие страшные преступления, которые сложно даже вообразить. Причем самые мерзкие и безнравственные поступки совершались именно среди мужчин. Если кто-нибудь отказывался присоединиться к царящим бесчинствам или совершить злодейство, его закалывали, как жертвенное животное. Нарушение всех запретов было для этих людей вершиной религиозной самоотверженности. Обезумевшие мужчины в страшных судорогах произносили пророчества, замужние женщины, переодетые в вакханок, с растрепанными волосами, спускались к Тибру, окунали свои состоящие из смеси серы и кальция факелы в реку и доставали их зажженными. Мужчины твердили, что они пали жертвами грабежа богов, что их переносили в тайные пещеры, где над ними издевались или даже насиловали…

Так Тит Ливий описывал торжества в честь Дважды рожденного…

Орфей

Смеркалось, когда машина — такси, что мне удалось поймать в ближайшем городке, — подъехала к загородному дому. За неожиданно долгим поворотом в конце дороги возвышался темный силуэт здания в окружении сосен. Над его крышей тлело глубокое синее небо — первое пристанище для душ умерших. Где-то вдали еще догорали искры заходящего солнца, в то время как над долиной, по которой ехали мы, уже сияли звезды. Почти во всех окнах дома горел свет. По мере приближения в машину врывались ритмичный грохот музыки, шум голосов и звон бокалов. Площадка перед домом была празднично украшена: повсюду висели бумажные фонарики, столы ломились от угощений. Накинутые на голые плечи кожаные плащи, смокинги; официанты, снующие среди гостей с подносами в руках. Мне было сложно представить, как я могу здесь хоть что-то узнать об Эвридике, но пренебречь этой возможностью не смел. Сабазий болтал глупости лишь по мнению тех, кто знал его недостаточно хорошо. Шофер сбавил скорость и остановился у главного входа. Я вышел, осмотрелся и не поверил своим глазам.

Двустворчатые ворота из потемневшего дерева. Над ними — череп оленя с огромными рогами. Несмотря на то, что изо всех окон струился свет, что ночь была темная, а двор дома сотрясался от смеха, у меня не оставалось сомнений, что здесь я уже был. Во сне.

Я вошел в дом.

Две удивленные официантки прокатили мимо меня сервировочный столик с огромным тортом, наверху которого сливками и кремом была выложена карта страны. Коридор, ведущий на кухню, был окутан смесью разнообразных ароматов соленых, сладких и печеных блюд. Дверь туда не закрывалась ни на минуту. На кухне все плиты были заняты. В посуде, которая в моем сне была белой и начищенной до блеска, клокотало и бурлило, люди в белой форме перемешивали содержимое, сыпали специи, добавляли что-то к гарнирам. На вертеле жарилось огромное и, по-видимому, некогда сильное животное. Мужчина в белом колпаке отвлекся от приготовления блюда, посмотрел на меня с недоумением и снова принялся за работу. Для всех я был чудаком, на кого не стоило обращать внимания.

Я спустился в погреб. В отличие от остальных помещений, здесь было пусто. Все выглядело, как в моем сне: большой деревянный стол, топор в углу. Только повсюду на стенах висели окорока и разнообразные колбасы.

Я взял в руки топор. Острие было покрыто какими-то пятнами коричневого цвета. На ржавчину это не было похоже.

— Однако я думал, что ты сразу пойдешь к гостям, — услышал я за спиной голос Сабазия.

Я не имел понятия, как долго за мной следили. Сабазий аккуратно прикрыл за собой дверь.

— Это… это кровь? — спросил я, показав топор.

— Вероятнее всего, да. Здесь разделывают мясо. Вот шланг, вот сток для крови, — он подошел и забрал из моих рук топор. — Орфей, откуда этот кулинарный интерес?

— Все сходится. Такое ощущение, что я здесь уже был.

Он заметил ресницу на моей щеке и заботливо снял ее двумя пальцами.

— Орфей, ты был здесь. В детстве. Отец тогда взял тебя на охоту. Он хотел, чтобы ты стал настоящим мужчиной, хотел показать тебя Зевсу. Ну, знаешь… как обычно делают все родители. А ты целый день проплакал по убитому олененку.

— Откуда тебе это известно?

— Я наблюдал за тобой из окна. Зевс мне пригрозил, что если я выйду из комнаты, он отправит меня назад в интернат.

В его руках тяжелый топор казался игрушкой.

— Сабазий, ты меня пугаешь.

— Я?

— Давай поднимемся к остальным, а?

Он положил руку мне на плечо.

— Я надеялся, что ты это скажешь!

Мы возвращались назад той же дорогой, через кухню. Теперь я понимал, почему меня никто не остановил: за мной шел Сабазий. В коридоре я, наконец, смог задать вопрос, который комом все это время стоял у меня в горле и не мог вырваться наружу. Я спросил его о том, кого видел во сне привязанным к стулу до меня.

— Что стало с Пентеем?

На этот раз Сабазий не стал в гневе крушить все вокруг, а вовсе никак не отреагировал на это имя. Мы выходили на освещенную праздничной иллюминацией площадку.

— Он мне мешал, и я его уничтожил.

Шум праздника становился все ближе.

— И каким образом ты его уничтожил?

— Почему я, Орфей? Я всего лишь напоил его и подкинул репортерам. А они сделали свое дело: разорвали его на мелкие кусочки. В нашем деле всегда так: ты жив, пока находишься в тени.

— Так он жив? Я читал, что его нигде не могут найти.

— И как, интересно, они хотят его найти, если ищут, чтобы вручить повестку? Да что ты так волнуешься о Пентее? Скажи еще, что вы с ним за одной партой в школе сидели или что-нибудь в этом духе.

Я остановился. Мы стояли в тени, а за углом пили, ели, танцевали…

— Я волнуюсь о тебе, Сабазий. То, что ты делаешь с людьми, — ужасно. Я не могу забыть, что тебе принадлежат еще и масс-медиа.

— Ну, хорошо. Я подкинул его своим людям. И что с того? Часть правды стала достоянием общественности. Ты ведь этого добиваешься?

— У тебя всегда так: ничего не бывает целиком.

— Может, ты и прав. Но я не набрасывался на Пентея с топором в руках, если ты это имел в виду.

— Ни о чем таком я не говорил.

Сабазий задумался.

— Я приношу сны, которые могут показывать будущее, а могут и лгать. И ты никак не узнаешь, что за сон выпал тебе. Только вот сам я никак не могу проснуться…

Мы вышли к гостям. Ожерелья, перчатки, бабочки, накрашенные губы. Кружевные платья, едва прикрывающие далеко не совершенные женские тела. Красавицы из «Транса» в стильных нарядах разбавляли компанию в черно-белых смокингах. Я уже имел полное право называть их коллегами. Оркестр состоял из десяти музыкантов во взятых напрокат тогах, обшитых золотом. Между столами ходили девушки в легких туниках и раздавали гостям зеленые веточки винограда. Некоторые сплетали из них венки и сразу же надевали на головы под всеобщий смех и улюлюканье. Поздравления, тосты, шепот, прерванные на полуслове разговоры. «Орфей, как хорошо, что ты среди нас!..» «Многие положили глаз на долю Пентея, надо торопиться…» «Орфей, добро пожаловать домой!» «Силен сейчас не годится для прокурорского кресла, но как глава партии…» «Орфей, как ты вырос! Где ты пропадал все это время?» «В инициативной группе должно быть больше молодых людей, таких, как Белерофонт: он неплохо справляется. Орфей, ты ведь знаешь, к кому присоединиться, не так ли?» «В сложившейся ситуации я решил отказаться от поста министра». «Орфей, ты ли это, мой мальчик?» «В общественный комитет должны входить один-два социолога, парочка писателей, которые бы отслеживали тему, и какой-нибудь генерал в гражданском».

Высокая худая женщина, в которой я с трудом узнал Фемиду, внезапно потеряла равновесие и с громким смехом упала прямо мне на руки. Она начала извиняться, собирая с моего пиджака невидимые ворсинки. Со зрением у нее было все в порядке, только неестественно расширены зрачки.

Шел ли я наугад, или меня вел Сабазий, не знаю. Но вдруг толпа празднующих передо мной расступилась, и я оказался напротив своего отца. Он сидел за столиком и был полностью поглощен беседой с Белерофонтом. Увидев меня, встал, церемонно распростер свои объятия и произнес:

— Добро пожаловать к нам, сынок!

Это было отвратительно. Я смотрел на отца, на Сабазия, на Белерофонта и не мог понять, кто выдумал весь этот фарс.

— Сабазий, а я ведь тебе почти поверил…

Было такое ощущение, что он стоит не в двух шагах от меня, а находится на далеком острове и разговариваем мы по видеотелефону.

— Я пообещал твоему отцу, что ты придешь сюда сам, — сказал Сабазий.

— Сынок, ты один из нас, настало время осознать это, — прогремел басом отец и схватил меня за руки. Он всегда был излишне пафосным и хорошо знал, какую сценку уместно разыграть на людях. Чтобы ему соответствовать, мне следовало бы в порыве раскаяния стать перед ним на

колени. — Я никогда не мог смириться с твоим образом жизни и твоими фантазиями… Поэтому попросил Сабазия втянуть тебя в нашу игру.

Я так и не простил ему тот угодливый взгляд, что он бросил на своего младшего сводного брата, к которому всегда испытывал отвращение.

— Точнее, о моем участии он попросил Зевса.

Белерофонт очень внимательно следил за разговором. У него подобных проблем никогда не возникало. Я же привык к предательствам отца, но от Сабазия, который только что сровнял меня с землей, я такого не ожидал.

— И ты разрушил мою жизнь ради этого?! — обрушился я на Сабазия. — То немногое, что я считал своим! Получается, даже то, что Эвридика как сквозь землю провалилась, — часть вашего гребаного замысла?

Сабазий сглотнул.

— У меня и в мыслях не было тебя ранить, — ответил он. — Только не тебя.

Тут же развернуться и уехать я не мог. Я должен буду здесь проторчать как минимум до завтрашнего утра. Тогда я схватил бутылку водки и начал вливать ее в себя прямо из горлышка. Чтобы отсюда исчезнуть, останавливаться было нельзя.

Происходившее потом помнится смутно. Я орал: «Покажите мне Зевса!» Лица напротив меня делали знаки, прикладывая палец к губам, чтобы я замолчал. Кто-то подвел меня к пустующему месту во главе стола и сказал: «Здесь сидит Зевс. Он не присутствует лично, но его место всегда свободно». Я попробовал было нарушить эту традицию, но чьи-то руки меня остановили.

Я приставал ко всем девушкам на вечеринке, чтобы удостовериться, что под одним из перекрашенных париков не скрывается лицо Эвридики. Раз уж вопреки здравому смыслу сюда явился я сам, впрочем, как и множество других людей, не скрывающих свою вражду с Сабазием, то почему моя жена не может участвовать в этом маскараде? У каждого встречного я спрашивал, как мне вернуть Эвридику. По крайней мере, мне так кажется теперь, но произносил ли я именно эти слова — не знаю. Помню, в очередной раз задавая этот вопрос, я посмотрел на звезды. Огромные любопытные звезды. Абсолютно бесчеловечные.

Незаметно ко мне подошел Белерофонт. Этот подонок хотел поговорить. Ему, видите ли, жаль Пегаса. Что стало с песнями, которые он написал? Ведь, насколько ему известно, Пегас оставил после себя много хитов. Его бабка ничего не знает, так, может быть, я… «Ну уж нет! Ты не прикоснешься к ним своими грязными лапами! Чтоб тебе в аду гореть!» Вмешался голос Сабазия: «Белерофонт, не приставай, следующий раз я не собираюсь обеспечивать тебе такое количество голосов». Рука Сабазия легла мне на плечо и куда-то повела. Вокруг нас закружились в хороводе гости. Пиджаки оставлены на стульях, рубашки расстегнуты, туфли на высоких шпильках валяются под столами. Нам никак не удается прорваться сквозь нескончаемую вереницу скачущих ног.

Кто-то бросился прямо в фонтан. После того как его оттуда достали, мужчина выпрямился, сделал вид, что снова потерял равновесие, и увлек за собой одну из девушек в туниках. Она отчаянно замахала веточками, что держала в руках, пища и хохоча одновременно. Несколько человек кинулись им на помощь, началась страшная неразбериха. Какая-то женщина со съехавшей набок прической присела за сценой по малой нужде, так что мы едва не споткнулись о нее.

Я отцепился, наконец, от Сабазия и запрыгнул на сцену. «Мерзавцы!» — кричал я, пока кто-то не выключил микрофон. Моя обида нашла отклик у публики, и ко мне полетели десятки воздушных поцелуев. Я схватил попавшуюся под руку скрипку и начал играть о том, какие они

все ничтожества. Что если и существует их Олимп, то находится он ниже Гадеса. И что если они действительно боги, я предпочитаю оставаться человеком. В меня полетел печеный окорок. Впервые за долгое время я почувствовал, что добился взаимопонимания. Но радость моя не была долгой: меня быстро выгнали со сцены и отобрали инструмент.

Загромыхали фейерверки, и под треск бенгальских огней и фальшивую имитацию небесных труб внесли огромный торт, формой повторявший границы Болгарии. Каждый считал своим долгом отхватить кусок побольше. Некоторые начали кидать друг в друга кремом. Я завалился в кусты и упал на троих мужчин со спущенными брюками. Сделал попытку встать, но они никак не хотели меня отпускать.

Я ненавижу себя пьяного, когда не только мое тело, но и мысли, память, мечты перестают существовать в реальности. Но такая реальность заслуживает того, чтобы быть уничтоженной. К сожалению, я прекрасно понимаю, что для этой цели выпивка — слишком простое средство.

Последнее, что я помню, было отвратительное зрелище. Направляясь в отведенную для меня комнату, я по ошибке завернул не в ту сторону и открыл не ту дверь. Внутри я увидел, как мой отец, голый, развлекается с каким-то мужчиной.

Мы несемся вниз по серпантину с нормальной для Сабазия скоростью, обгоняя тяжелый лесовоз. Стоит теплый солнечный день. В салоне пахнет дорогой кожей. Моя голова буквально раскалывается пополам.

— На ближайшем повороте меня вырвет.

— Не думаю. Два поворота мы уже проехали.

— Куда ты меня везешь?

— Это сюрприз.

— К Эвридике?

— И до нее очередь дойдет.

— Тогда куда на этот раз?

— Заедем к Зевсу. Мне надо сказать ему пару слов.

— Остановись, прошу тебя. У меня голова кружится.

— Это вряд ли.

Сабазий свернул с дороги. Я не встречал еще человека, который бы так не любил жать на тормоза. Он перегнулся через меня и открыл дверцу машины. Она плавно поднялась, и я испугался, как бы чего не сломать. Мы остановились на какой-то поляне. Чуть в стороне, огороженный невысокими колышками, разбит скромный огородик. Старуха пасет двух коров. Рядом с нами стоит, видимо, бывший хлев, от которого остался один только угол стены. Все строение растащили по кирпичику, а на этом участке раствор оказался прочнее. Здесь даже сохранился кусок штукатурки с надписью «Вперед к…». В траве валяются выцветшие упаковки от круассанов и один полиэтиленовый пакет, надувающийся при каждом дуновении ветерка. Сам факт, что я ступил, наконец, на твердую землю, помог мне прийти в себя и не вывернуть все содержимое моего желудка наружу.

— Ну что там? — подгонял меня Сабазий.

Я присел у дороги на пыльный камень и проводил взглядом обогнавший нас лесовоз. Кругом поют птицы, в ушах щебет птиц, но мне невдомек, откуда этот звук, ведь рядом нет ни одного дерева.

— Что ты хочешь сказать Зевсу?

Сабазий присел напротив.

— Орфей, помнишь, что ты мне сказал сегодня ночью, когда я тебя укладывал спать?

Ничего подобного я не припоминал.

— Признаться, мне пришлось изрядно потрудиться. Я укладывал тебя

на кровать, а ты все вертелся, старался вырваться. Встав с постели, делал несколько шагов, валился на пол и моментально засыпал.

— Но во мне почти сто килограммов.

— Именно! Ты без конца повторял: «Сабазий, и ты со мной, как с марионеткой! Но теперь я по крайней мере знаю, что больше так не хочу». Действительно не помнишь? Ты был так настойчив, что я вдруг прислушался и долго думал над твоими словами. В сущности, мне это давно приходило в голову. Я достаточно служил Зевсу и успел отблагодарить его уже тысячу раз. Если он станет упорствовать, я верю, что есть способ откупиться. Я решил работать исключительно на себя, быть самому себе хозяином.

Мне захотелось что-то ответить, но слова застряли в горле, и я просто улыбнулся.

— Орфей, я… Я верю тебе одному. Временами у меня… не совсем верно получается оценить свои действия. И я… Ты будешь рядом?

Это было самое неожиданное и неумелое предложение из всех, какие я когда-либо получал от Сабазия, и быть может, впервые это была его личная инициатива.

— Обещаю.

Сабазий кивнул.

— Только не проси меня записываться вместе с «Трансом», — на всякий случай предупредил его я.

— Ну и дурак.

Мы оба рассмеялись.

— Ладно, поехали.

Зевс, мой исторический дедушка, которого последний раз я видел в детстве, жил на втором этаже здания, представляющего собой нечто среднее между большим особняком и многоквартирным домом, в уединенном месте с незаметной охраной. Тяжелая лепнина над окнами, на которой при внимательном рассмотрении можно быть заметить скрещенные знамена, мрачные балконы, толщина стен — все указывало на то, что этот дом был построен с желанием внушить чувство любви к народному и величественному, а получилось что-то бескрылое и расточительное. Постройка циклопических размеров. Однако вокруг стояло немало подобных зданий, так что сложно было обвинить какого-то одного хозяина в особой безвкусице. Мы проехали мимо маленького уютного дворика. Деревья за много лет разрослись настолько, что теперь доставали до крыши, и их густые кроны прикрывали возведенное людьми безобразие. Проходя случайно этим кварталом, человек вряд ли бы обернулся посмотреть на него еще раз. Здесь кругом витал дух забвения — самый близкий приятель прощения.

Я удивился, как Зевс мог выбрать такое невзрачное место, чтобы провести здесь всю свою жизнь, учитывая, что владения его не способен зафиксировать даже самый мощный спутник. Сабазий припарковался на некотором расстоянии от дома Зевса, как того желал хозяин. Мы вошли в просторное фойе. В маленькой комнатке за толстым стеклом, как в пограничном окошке, сидел консьерж. Сабазий слегка кивнул охраннику, который уже привстал со стула, чтобы преградить нам дорогу. Даже самый простой костюм не мог скрыть истинное назначение этого человека и торчащее из-под пиджака табельное оружие.

Нажав на звонок, мы услышали старомодный мелодичный звук. *Дин-дон*. Открыла дверь старушка с затянутыми в тугой пучок седыми волосами, одетая, несмотря на теплую погоду, в шерстяную жилетку. Хоть кожа ее и напоминала скорее брезент, которым осенью накрывают ящики за магазином, у выразительных черных глаз был все тот же умный, цепкий

взгляд. Со времени нашей последней встречи возраст убрал с ее тела пару лишних килограммов.

— Погоди-ка, ты же сын… — воскликнула она, — Аполлона? Так ведь? Как он поживает?

— Познакомься, это Сабазий, — проигнорировал заданный вопрос я, желая ввести в нашу беседу того, благодаря кому я, собственно, здесь и находился.

Она повернулась к нам спиной и молча провела в холл. На стенах висели портреты Зевса и ее в молодости. Верная спутница жизни была изображена с присущей тем временам старомодной наивностью. Также в холле располагалась небольшая библиотека, содержимое которой не пополнялось несколько лет, и различные табуретки, стулья и столики, которыми уставлены практически все квартиры. У окна рос чахлый фикус. Черное кресло с подставкой для ног и встроенным массажером говорило о том, что его хозяина мучают боли в спине. В углах стояли два железных сейфа, которые, впрочем, не бросались в глаза гостям. Вместо того чтобы поздороваться с Сабазием, Гера открыла балконную дверь и крикнула: «Зевс, к тебе этот!»

Мы взглянули вниз. Во дворе старик в мешковатых штанах и полосатой рубашке граблями очищал лужайку от опавших листьев. Под короткой стрижкой уже трудно было скрыть намечающуюся лысину. Старик оперся на грабли и произнес:

— Сильный листопад в этом году.

— Разве он каждый год не одинаковый? — не сдержался я. Сабазий толкнул меня локтем в бок, чтобы я замолчал.

— Нет, конечно, — ответил Зевс, как будто это и так было очевидно, и махнул Сабазию, чтобы тот спустился.

Я остался наедине с Герой. Она поднесла мне треугольный кусочек домашнего пирога с абрикосовой начинкой.

— Как твоя учеба?

Я ответил, что давно окончил университет. Между нашими репликами повисали долгие паузы, во время которых доносился приглушенный, но нервный разговор с улицы.

— Снова пришел о своей матери справляться? — кивком указала Гера за окно, где находился тот, чье имя она произносить отказывалась.

— А что с его матерью?

— Да вбил себе в голову, будто она жива. Что гниет в каком-то сумасшедшем доме и он может ее оттуда вытащить. Мол, если потребуется, из-под земли достанет! Под конец у нее совсем плохо с головой стало.

Я слышал много историй про Семелу и рождение Сабазия. Их все объединяла одна черта: ни в одной не рассказывалось о том, что случилось с девушкой после того, как она произвела на свет ребенка с рогами. Я раньше никогда и не интересовался этим. Любая сказка заканчивается «пиром на весь мир» или тем, как «злая мачеха лопнула от злости». Ведь никто не спрашивает, каким было меню или как прошло погребение.

— Почему же он сомневается в смерти своей матери?

— Да потому что сам сумасшедший! Навязчивая идея, видите ли. Ему выдали на руки свидетельство о смерти, в наследство получил ее дом. Слышала, сейчас он там открыл офисы.

Или наш город превратился в маленькую деревню, или меня преследует слишком много совпадений. Совершенно точно, она говорила о том заросшем плющом доме с седовласой обитательницей, мимо которого в детстве я ходил на занятия по скрипке.

— Так это в нашем квартале! Надо же, какое совпадение!

Гера презрительно хмыкнула. Подобный звук я чаще всего слышал от людей, которые привыкли, чтобы им прислуживали.

— Как же, случайность! Зевс специально подыскал для сумасшедшей дом рядом с вашим, чтобы твой отец мог за ней приглядывать. Целую семью вышвырнул на улицу. Кому-кому, а Аполлону это лучше всех известно. Мы ведь все здесь так или иначе родственники, мой мальчик, нравится тебе это или нет. Как, говоришь, твое имя?

— Орфей.

— Орфей! — услышал я голос Сабазия и вышел на балкон. — Мы уезжаем.

Зевс по-прежнему стоял, опершись на грабли. Держа их прямо перед собой, он занимал несколько оборонительную позицию. Брови его сошлись на переносице, будто говорили: «Давай, делай как знаешь. Только учти: ты об этом еще пожалеешь». Закатанные рукава обнажали руки, покрытые пигментными пятнами, которые было так же трудно сосчитать, как количество колец на стволе векового дерева.

— Жду тебя внизу! — крикнул мне Сабазий и пошел по дорожке вдоль дома.

Вчерашнее отравление давало о себе знать до сих пор, и я спросил у Геры, как пройти в туалетную комнату. В коридоре я разминулся со служанкой в белом переднике и с накрахмаленной кружевной наколкой на голове. В результате множества неоправданных конвульсий над унитазом из моего желудка вышло немного слизи и кусок домашнего пирога Геры, который, как я думал, мне удалось прожевать.

На обратном пути я снова заметил в коридоре чью-то тень. Подумал вначале, что это прислуга, но услышал голос Зевса. Видимо, он разговаривал по телефону. «Он проснулся. Да, да, снова. Он нам больше не подчиняется». Я прошел мимо, и Зевс, кажется, не ожидал увидеть меня еще в своем доме. Он тут же прервал разговор, опустив палец на рычаг, и козырнул, передавая таким образом привет моему отцу. Не успел я выйти из комнаты, как Зевс снова принялся набирать чей-то номер. В треугольном вырезе его расстегнутой рубашки также проступали пигментные пятна. Они все ближе подбирались к его лицу, и даже Зевс ничего не мог с этим поделать.

На пороге мне в глаза ударило яркое солнце. Было очень жарко. Слева в траве работал садовый опрыскиватель, разбрызгивающий воду до самой улицы. Двор, несмотря на заботу хозяина, имел строгий административный вид. Единственным выбивающимся из общей картины пятном был оранжевый автомобиль, подъехавший за мной прямо к воротам.

— Мне казалось, Зевс не разрешал тебе оставлять машину у входа.

— А мне кажется, что с недавних пор его мнение не должно меня интересовать, — посмотрел на меня с дьявольским огоньком в глазах Сабазий и похлопал по сиденью. Не найдя ничего подходящего, он достал изо рта жевательную резинку и выкинул ее за окно. Потом Сабазий нащупал под моим сиденьем какую-то карту, скомкал ее и кинул вслед за жвачкой. Бумажный шар грациозно перелетел через ограду и покатился по траве, подгоняемый ветром. Консьерж вскочил и бросился его ловить. «Что, съел?» — прокричал Сабазий во все горло, рванув с места с бешеной скоростью. Улицы, светофоры сменялись перед глазами с такой быстротой, что я не мог остановить взгляд ни на чем.

— Куда мы едем?

— К морю, — ответил Сабазий, выкручивая руль вправо. — Праздновать.

— К морю?

— А по пути подберем Эвридику, идет?

На выезде из города Сабазий мне объяснил, что я освободил его, а он — меня. Мы оба теперь свободные люди, потому что только они могут найти в себе силы сказать «нет».

— Если ты отказал Зевсу, то кому же отказал я?

— Мне. На протяжении всего этого времени, — довольно произнес Сабазий.

Мы проносились мимо полей, пустующих земель, голых холмов, указателей направлений, колодцев, заправок, придорожных рынков, деревень с гуляющими курами, провинциальных городков с десятком панельных домов, торчащих, как гипсовые конечности. Небо приобретало белый оттенок вокруг солнца, синело на горизонте и обещало безоблачный день. На всякий случай я передал Сабазию слова Зевса, которые услышал в коридоре. «Тогда это объясняет два черных джипа, что едут за нами, — невозмутимо отреагировал Сабазий. — На таких танках им нас не догнать, но нам следует выбрать что-то менее броское». Он набрал телефонный номер и приказал: «Икарий, жди меня на развилке в сером “Мустанге”». Так я впервые услышал имя телохранителя в приталенном костюме, около года назад открывшего мне дверь во владения Сабазия.

А потом случилась та самая злосчастная остановка у придорожного кафе, в которое Сабазий зашел купить пиво. Он пробыл там не больше пяти минут. Вышел с пакетами в руках и зажмурился на солнце. Легкий ветерок растрепал на лбу его рыжие завитушки. На миг мне показалось, будто он ждет чего-то. Выстрелы прозвучали из машины, стоящей на паркинге. Стая голубей поднялась с крыши кафе, напуганная резким звуком. Я никогда раньше не слышал ненастоящих выстрелов. В реальности они гораздо громче, чем я предполагал. Сабазия отбросило назад, бутылки выскользнули из его рук и разбились. Из правого плеча захлестала кровь. Здоровой рукой он достал из-за спины пистолет и, прежде чем упасть, несколько раз выстрелил. После каждого выстрела из машины его тело покрывали новые пятна крови, и ему становилось все труднее стоять на ногах. Следующая пуля раздробила ему кисть. Я с трудом открыл дверцу машины. Когда я вышел, голуби уже летели назад, чтобы снова устроиться на крыше. За моей спиной проносились автомобили, и ни один не посчитал нужным остановиться. Из кафе никто не выходил, я стоял на паркинге совсем один. День был все таким же солнечным. Только рыжая голова Сабазия, неестественно выкрученная, лежала в пыли, как свернувшаяся клубком лисица. Перед его лицом расплывалась темная, почти черная лужа, и теперь он уже выглядел не лучше своих преследователей. Это последнее, что я о нем помню.

* * *

Гадес

Останки Сабазия в очередной раз оказались внизу, в огненном центре земли.

Deus ex machina

— Пуля снова попала в глаз. Сделайте ему на этот раз оба зрачка одного цвета, — попросила женщина с венком из плюща на голове. Она была бледна и печальна.

— Мы делаем все, что в наших силах, но мы не волшебницы, а всего-навсего мойры, — ответила Клото, самая молодая из трех девушек в белых туниках. Она приподняла голову Сабазия и осматривала рану. Старшая сестра, Атропос, доставала пулю из его бедра, а средняя, Лахезис, вдевала нитку в хирургическую иглу. Они находились в просторной зале с бесчисленным количеством больничных кроватей, но только две из них были заняты.

Персефона стояла рядом и не могла ничем помочь, только донимала всех своими переживаниями.

— Ему сейчас больно?

— Возможно, — сказала Лахезис и продела нитку сквозь рану. Кожа под ее руками затрепетала. — Но сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в прошлый раз. Тогда мы его буквально по частям собирали: руки, голову… Одну ногу так и не нашли.

— Что, кстати, стало с его ногой? — отвлеклась на секунду от своего занятия Атропос.

— Я прекрасно помню, каким он сюда вернулся, — перебила их Персефона, перед глазами которой стояла известная ей одной картина. — Я тогда приказала изуродовать мраморные статуи так же, как изуродовали его, и подарила их ему как предостережение.

— И как, подействовало? — поинтересовалась Клото, разрабатывая тем временем кисть Сабазия.

— Думаю, нет. У него не такая память. Его очень сложно вернуть на пару лет назад.

Атропос имела иную точку зрения на всю эту историю.

— У тебя, Персефона, огромные сады с золотыми деревьями и скрытыми под землей древними статуями, драгоценные камни и сокрытые сокровища — чего еще ты можешь пожелать от своего мужа? Гадес сделает все ради тебя, а этот здесь тебе ни к чему.

— Никто другой мне не нужен.

Мойры переглянулись и пожали плечами.

— Можно ли сделать так, чтобы он жил дольше?

— Скажи спасибо, что мы каждый раз его возвращаем к жизни, — ответили сестры в один голос.

— Сабазий появляется и уходит снова, — заговорила Атропос, озвучивая их общее мнение, — потому что тот, кому суждено изменить окружающий мир, рано или поздно вынужден с ним столкнуться. Но его некому остановить. Посмотри на Орфея: с таким слабым сердцем никуда. Когда человек хранит в себе музыку, нужны силы, чтобы донести ее. А как это сделать, если его путь оборвется?

— Я здесь только ради Сабазия.

— С рукой у него уже все в порядке. Даже следов не осталось. Сабазий, ты меня слышишь? — Клото слегка ударила его по щеке. — Еще нет.

— Мы можем помочь Орфею, — продолжила свою мысль Атропос, — если пересадим ему сердце Сабазия. Даже под землей оно не перестанет биться.

— Об этом не может быть и речи.

Клото пальцем оттянула веко простреленного глаза Сабазия. На его месте блестела точная копия здорового, такого же голубого цвета.

— Персефона, не будь смешной. Здесь его всегда спасут, и он снова примется за старое. А для Орфея это вопрос жизни и смерти.

— Знаю. Хорошо. Но, кроме меня, никто не смеет прикасаться к его сердцу.

— Ты нас обижаешь. Никто у тебя его не отнимет.

* * *

…Если миф переиграть несколько раз, правду начнет покрывать слой вымысла, и это не есть хорошо ни для кого.

Истина в том, что Сабазий собственноручно не расчленял своего врага Пентея. Говорят, Агава, его мать, тронувшись умом, приняла своего сына за теленка, отрубила ему голову и насадила на кол, а другие менады

растерзали его тело. Впрочем, всем прекрасно известно, чьим подарком было вино, от которого они сошли с ума.

Истина в том, что Сабазий, добившись почитания своей личности повсеместно, отправился на поиски своей матери, Семелы, чтобы вытащить ее из преисподней. Для этого он якобы подкупил Персефону. Едва ли подобный план представлял для него какую-либо сложность. В крайнем случае Зевс приютил бы Семелу, а Гере ничего бы не оставалось, как молча терпеть. Но что именно и когда имело место в действительности, неизвестно. Поскольку, по мнению одних, Сабазий каждый год погибал, а по мнению других, был бессмертен.

Истина в том, что титаны растерзали Сабазия из страха, что он может занять место Зевса.

Истина в том, что Сабазий, со всем ужасом и счастьем, которые он приносил людям, стал одним из двенадцати великих богов Олимпа.

Неправда, что сердце Сабазия перешло к Орфею. Но даже в этом нельзя быть полностью уверенным, так как некоторые принимают их обоих за одного человека.

Эпилог: Эвридика

Орфей открыл глаза, увидел меня и улыбнулся. Потом, будто это движение стоило ему неимоверных усилий, веки его снова опустились. Его пальцы ожили и сжали мою руку. Жилистые, с мозолями, руки музыканта. Какое-то время он лежал так, не двигаясь. Худой, похожий на длинный скелет, только волосы остались такими же пушистыми.

Открыв во второй раз глаза, он огляделся. Увидел мои кадки олеандров и магнолий, распустившийся шиповник за окном и спросил: «Я в раю?»

— Ты со мной, глупенький, — улыбнулась я, — за городом, а рай за этими стенами.

Там находилась оранжерея, в которой я выращивала орхидеи на продажу. Орфей бредил. Все повторял, что ему пересадили чужое сердце. Он ничего не помнил из того, что происходило последние несколько дней. Впрочем, это не было так уж плохо. Орфей спросил, где я все это время была. Как он ни старался, но не мог отыскать меня в своих воспоминаниях. Я показала ему диск с фильмом, который мы снимали в Салониках. В нем я играла жену главного положительного героя, которая позже связалась с плохим парнем, но в результате одумалась, и все закончилось хорошо. Венец моей актерской карьеры.

Орфей посмотрел фильм три раза. Последний — опершись на подушку, с плошкой куриного бульона в руках. Когда я вошла, чтобы забрать посуду, увидела выражение его лица. Мне было очень хорошо известно, что оно означало.

— Да, я знаю, фильм ужасно тупой, — предупредила его реакцию я сама. Орфей не тот человек, который может промолчать, даже если ему не понравилось.

— Да, но… — замялся Орфей, — я хотел сказать другое. Я… Эвридика, я не знал, что ты…

— Никудышная актриса, — помогла ему я.

— Да.

— Ты увидел это сейчас?

— Да.

— И я. Но мне надо было попробовать.

— Да, я понимаю.

Я собрала посуду и вышла из комнаты. Я чувствовала, что сейчас начнутся расспросы, а у меня было не то настроение. Только один человек не спрашивал меня ни о чем, но он и умел отблагодарить.

Эпилог: Орфей

Открыв глаза, я увидел перед собой Эвридику. У меня не было сил улыбнуться ей, я только сжимал ее руку. Мои пальцы сами собой сомкнулись на ее ладошке. Вокруг цвели кусты магнолии и олеандра, шиповник за окном. Я спросил даже, не попал ли я в рай.

— Нет, глупенький, ты рядом со мной, — рассмеялась Эвридика. — А рай за этими стенами.

Там располагалась целая оранжерея с орхидеями, за которыми ухаживала Эвридика. Она была ужасно горда ими, получала много заказов. Я попросил ее лечь рядом и обнял. Я тщетно пытался вспомнить, что произошло за последние несколько дней. Временами в моей голове всплывали отдельные эпизоды, но Эвридика в них почему-то отсутствовала. Только одну вещь я знал абсолютно точно: из-за чего бы я здесь ни лежал, дело было не в моем больном сердце. Оно работало как часы. Я спросил у Эвридики, где она была все это время, сам не представляя, период какой продолжительности меня интересует. В ответ она улыбнулась и достала диск с фильмом.

Я посмотрел его три раза. Эвридике досталась роль супруги главного героя, которая потом связалась с отрицательным персонажем, но в результате все равно вернулась к хорошему. Постепенно до меня дошла одна вещь, которая, быть может, всем уже была известна. Актриса из Эвридики никакая, и я не знал, как ей это сказать. К счастью, она меня опередила. Она и сама все видела. Но ведь надо себя проверить, чтобы понять, кто ты есть на самом деле. Фильм хоть и принес осознание этого неприятного факта, зато осуществил ее заветную мечту. Увидев в глазах Эвридики разочарование, Сабазий спросил, чего бы ей еще хотелось, и она попросила оранжерею. Тогда он подарил оранжерею вместе с целым домом.

— Каждый из нас появляется на свет, обладая каким-либо талантом, но не всегда его удается угадать, — сказала Эвридика. — Я считала, что рождена играть в кино, а оказалось, мое истинное призвание — цветы. Рядом со мной они растут, как в джунглях.

— Эвридика, — спросил я, — кто такой этот Сабазий?

Она замолчала. Внимательно посмотрела мне в глаза, будто желая убедиться, что я действительно ничего не помню.

— Сабазий тот, — наконец произнесла, — кто делает мечты явью.

Такой ответ меня не удовлетворил, но продолжать расспросы не хотелось. Мне необходима была передышка. Эвридика лежала рядом и обнимала меня. Кроме того, я чувствовал, что где-то за окном, скрытая за буйными цветами шиповника, начиналась долгая интересная дорога, которую мне предстоит пройти. Наверняка с музыкой. Самым разумным казалось начать с этого момента новую жизнь. Следующее, о чем я поинтересовался, была моя скрипка.

Я так и не понял, что точно произошло между Эвридикой и Сабазием. Больше я к этому вопросу не возвращался, поскольку оборачиваться назад у меня попросту не было права: я мог потерять Эвридику навсегда.

Но я знал, что рано или поздно это произойдет.

...Меня зовут Гадес, и я вижу всех насквозь, потому что рано или поздно все попадают ко мне. Меня зовут Гадес, и я действительно существую. Я Гадес, живу в камне, и мне осточертело наблюдать постоянно одни и те же истории...

Перевод с болгарского Ольги ПЕТРЕВИЧ.

Сестра Поэта...

В 2012 году исполняется 115 лет со дня рождения Анны Киприановны Волосович-Грязновой, двоюродной сестры Максима Богдановича. Как известно, Максим был родом из большой семьи, у его отца, Адама Богдановича, было три брака и в общей сложности 10 детей, 9 мальчиков и доченька Ниночка, которая умерла еще ребенком. Также у Максима было много двоюродных братьев и сестер как по линии отца, так и по линии матери.

В дружеских отношениях был поэт с родственниками со стороны отца: Анной, Верой и Петром Гапановичами, детьми тетки Магдалены, Петром и Павлом Голованами, детьми тетки Марии. Но принимать Максима как белорусского поэта они не спешили. А. Е. Богданович вспоминал о частых спорах сына с родственниками по национальному вопросу: «Его двоюродный брат Петя Гапанович, настроенный критически и скептически, во многом ему (Максиму. — И. М.) возражал и приводил соображения далеко не утешительного свойства».

Другими у Максима были взаимоотношения с родственниками со стороны матери, реже встречался он с ними. Но именно родственники матери, Марии Афанасьевны, принимали ее сына таким, каким он был, не чинили препятствий в его увлечении именно «белорусикой», чувствовали, что он не просто талантливый человек, а ***белорусский*** *поэт.*

Анна Киприановна виделась с Максимом Богдановичем всего несколько раз. В то время она была молодой девушкой, очень застенчивой, не смевшей даже заговорить с двоюродным братом, видя его отдаленность от семьи и бытовых проблем. Но бережно хранила в памяти и эти встречи, а также рассказы Адама Богдановича.

К сожалению, в 1920-е годы, когда сотрудники Института белорусской культуры готовили первое собрание произведений поэта и собирали воспоминания о нем, никто из них не обратился к родственникам со стороны матери. Адам Егорович сообщал, что попросил написать воспоминания о Максиме всех, кто его знал, но думаю, что родственники со стороны первой жены в этот список не входили. Сохранились отрывки воспоминаний близких друзей М. Богдановича — Николая Огурцова, Алексея Золотарева, Александра Каныгина, сохранились материалы самого Адама Егоровича, но никто из других родственников не оставил о Максиме ни строчки.

В послевоенные годы сбор сведений о жизни и творчестве М. Богдановича продолжили белорусские ученые, литераторы, историки, в том числе и Нина Борисовна Ватаци, главный библиограф Государственной библиотеки БССР. Она разыскала в Нижнем Новгороде родственников поэта, на Беларусь вернулись книги, принадлежавшие А. Е. Богдановичу, фотографии, воспоминания, которые Нина Борисовна цитировала в своих книгах и статьях. И только Анна Киприановна согласилась не просто рассказать, но и записать воспоминания о двоюродном брате, о других родственниках, о жизни большой семьи. Впервые ее воспоминания были опу-

бликованы еще в 1966 году, когда отмечалось 75-летие со дня рождения М. Богдановича. Она не только писала о Максиме, Адаме Егоровиче и др., передала в Беларусь материалы семьи, но и завязала тесную переписку с деятелями белорусской культуры, писателями. Несколько раз приезжала в Минск для участия в торжественных мероприятиях, посвященных М. Богдановичу.

В фондах Литературного музея Максима Богдановича хранятся фотографии А. К. Волосович-Грязновой, личные вещи, дневники, переданные ее сыном. Хранятся воспоминания о самой Анне Киприановне, автором которых является и ее внучка Наталья Владимировна Сорока. Фрагменты этих воспоминаний в свое время опубликовала И. П. Крень в своей статье «Ганна, сястра Максіма» в журнале «Полымя» (№ 2, 1992 г.). Мне кажется, есть необходимость опубликовать их полностью и в оригинальном виде (в журнале они сокращены и переведены на белорусский язык). Воспоминания дают очень много и для понимания самой Анны Киприановны, ее бесконечной любви к родине, Беларуси, и понимание того, что любовь эта передается из поколения в поколение, хотя ее дети, внуки и правнуки родились и живут в России. Ведь недаром у внучки Натальи проснулся такой интерес к своим белорусским корням, и она далеко продвинулась в поисках своей родословной. Она является хранительницей традиций семьи, продолжает общение с сотрудниками музея М. Богдановича. Надеется, что дочери разделят ее интерес к истории семьи, своим белорусским корням и когда-нибудь захотят увидеть места, где жили их белорусские предки. Мы связались с автором, Натальей Сорока, с просьбой разрешить публикацию, воспоминаний об Анне Киприановне Волосович-Грязновой, и не только получили положительный ответ, но еще и «постфактум» сведения, которые жили в памяти, но только сейчас приобрели актуальность. И понимание того, как важно видеть и любить тех, кто рядом, как важно помнить о них через годы и десятилетия. И надежду на то, что и нас когда-нибудь вспомнят добрым словом…

Ирина МЫШКОВЕЦ,
заведующая отделом
Литературного музея Максима Богдановича.

НАТАЛЬЯ СОРОКА

Островки воспоминаний

Живешь не вечно, человек,
Переживи в минуту — век!
Чтоб не дремала жизнь в тиши,
Размах широкий ей придай,
Чтоб чувство из глубин души
Хлестало через край.
…И если чувством широты
Исполнена душа твоя,
Без боли тихо вступишь ты
В страну небытия…
М. Богданович
(Из книги «Узор василька», перевод Л. Турбиной.)

Никогда не думала, что так сложно писать воспоминания. Мысли в голове пролетают вереницей, но вот беда — не успевают ложиться на бумагу. Обо всем хочется рассказать, но ловишь себя на мысли: а нужно ли это? и кому?

Кем она была, моя бабушка, чем ее жизнь может кого-то заинтересовать?

«Стрыечная сястра» белорусского классика? Да, конечно, это так. Но для меня она была прежде всего очень близким мне, родным человеком, научившим меня любить жизнь и людей. Да, именно любить, так как бабушка воспринимала окружающий мир в несколько идеализированном свете и до самой смерти не потеряла этот дар. Ей хотелось, чтобы и я видела в людях в основном доброе и хорошее. Бабушка старалась развить во мне способность воспринимать прекрасное, природу во всем ее многоцветии и многообразии, людей с их чувствами и взаимоотношениями.

Она приучила меня с ранних школьных лет вести дневник, записывать в него свои впечатления, переживания, стихи и мысли, наконец, делать иногда выписки из понравившихся литературных произведений. Архаично? Возможно. Сейчас, когда прошло пятнадцать лет со дня смерти бабушки, когда уже позади остались детские и отроческие годы, листая свои записи, я не могу не вспомнить с благодарностью бабушку. Жизнь ведь идет своим чередом, память человеческая ненадежна, с годами многое стирается из нее. Но то, что осталось на листке бумаги, это на долгие годы.

А остались детские впечатления о путешествиях, которых было у меня немало, стихи, переживания, радость первой любви и разочарование. Кому это нужно? Самому человеку, чтобы по прошествии многих лет вспомнить, что были детство, юность, «закат, и радуга, и майский ветер, ночные звезды и рассвет, что каждый должен свое счастье встретить», — писала я в 16 лет.

К сожалению, с годами мир перестает быть таким радостным и безоблачным. Начинаешь видеть его «обратную» сторону. Но об этом так много сейчас говорится и пишется, что островки воспоминаний детства и юности, хранящиеся в кожаных тетрадях, как «бальзам для души».

Нет, и в сегодняшней жизни есть радости: семья, любимый муж и три очаровательные дочурки, любимая работа, радость, что дорогие люди живы и относительно здоровы — это ведь немало. Но уже нет и никогда не будет той страны, что зовется детством. А сколько там было интересного и увлекательного (это уже благодаря маме, большой любительнице путешествовать). Наверное, за всю мою оставшуюся жизнь (а надеюсь жить долго) мне не удастся объездить столько городов, увидеть столько удивительных, прекрасных мест.

Стоит ли называть Крым, Кавказ, поездки по Оке и Волге. Вы скажете — проза. Многие там бывали. Прибалтика, Ужгород, Львов, Новосибирск, Иркутск, Петрозаводск и Мурманск — широка география путешествий. Я видела «священный» Байкал, ела омуля (сейчас это уже из области фантастики), слушала ночами «серенады» цикад на берегу Телецкого озера, стояла у подножия водопадов, ходила в увлекательные лодочные походы по Ладожскому озеру, белыми ночами с невыразимым восторгом любовалась Соловецкими островами и неповторимым рукотворным чудом — соловецкими каналами. А кто хоть раз бывал на Валааме, разве может забыть этот райский уголок природы!

Все это было в моей жизни. Не все, но многие впечатления тех встреч с прекрасным легли на страницы дневников.

Особое место в тетрадях занимали стихи. Бабушка, видимо, чересчур серьезно относилась к ним. Она даже завела отдельную тетрадь, куда начала переписывать их. В стихах опять-таки были мои детские ощущения от встреч с прекрасным, чувства, переживания.

Сейчас, спустя много лет, вижу их несовершенство и детскую наивность. Но в тот период моей жизни я не могла не писать, был большой душевный порыв. Правильно в то время оценил И. А. Брыль мои стихи как «возрастное». Немного грустно оттого, что уже не пишу, потому что «могу не писать». Я храню открытку Брыля, где в ответ на мои сетования, что не пишутся стихи, он писал: «Советую помнить слова Л. Толстого: если можешь не писать — не пиши».

Но когда вспоминаешь о безвозвратно ушедшей потребности излагать в стихотворной форме, становится тоскливо и то же ощущение, как в ранней юности:

Я надела сегодня пальто
Новое, модное.
А на душе моей что-то не то,
Грустное и холодное.
День показался сегодня вдруг
Мне каким-то невзрачным.
Чувствую, что ускользает из рук
Легкое что-то, прозрачное.
Может быть, в старом пальтишке оно,
Детство мое осталось.
Не вернуть мне его все равно,
Видно, я с ним рассталась.

Вот это что-то «легкое и прозрачное» осталось там, вдалеке, в памяти и в кожаных тетрадях. Впрочем, я несколько отвлеклась.

Бабушка тоже вела дневники, где они сейчас, затрудняюсь сказать. Кажется, мой дядя передал их в Минск. А жаль. Сейчас они помогли бы мне освежить воспоминания о бабушке.

Бабушка писала много писем, в них ее чувства, ее мечты, устремления к родной Беларуси. Благодаря ей (бабушке) я воспринимаю Беларусь, как свою вторую Родину. Хотя «родина» и «родиться» — однокоренные слова (а родом я из Горького), но Беларусь — это земля моих предков. Воспринимаю ее я, конечно, нереально, так как всего дважды была там (в 1971 и 1982 гг.), а как некий поэтический образ: как синеокую страну с васильковыми полями и прекрасной «Зоркай Венерай», взошедшей над ней. Все это от бабушки. Этим она жила все последние годы, мечтами еще раз побывать на своей Родине, своей Беларуси, пообщаться с *пісьменнікамі*, *паразмаўляць* с ними, послушать родную *мову*.

Разговаривала дома бабушка по-русски. Но в ее речь органически вплетались отдельные белорусские слова и словосочетания. Это было настолько привычно, что мы воспринимали как само собой разумеющееся. Она хотела, чтобы и я увидела красоту белорусской речи. Помню, она говорила: «Послушай, как мелодично звучит — “шыпшына, рамонкі, птушкі, валошкі, бусел”… А “калі ласка”? По-русски так и не скажешь красиво и душевно!» Это «калі ласка» было одним из главных черт ее характера.



Волосович Анна Киприановна.
Оригинал фотографии хранится в фондах Литературного музея Максима Богдановича (г. Минск).

От бабушки немного научилась понимать белорусскую речь, немного читала. Но больше всего бабушка любила, когда я ей играла (как умела) и пела белорусские песни («Слуцкія ткачыхі», «Зорка Венера», «Лявоніха», «Радзіма мая дарагая» и т. д.). Сейчас, к сожалению, с многочисленными переездами уже утеряны мною ноты, но хранится пластинка, подаренная мне М. П. Поздняковым в 1982 г., со стихами и песнями на стихи М. Богдановича («Слуцкія ткачыхі», «Зорка Венера», «Вераніка», которую бабушке уже не довелось услышать).

Все, что было связано с Беларусью, вызывало в бабушке какую-то светлую детскую радость: будь то трансляции по радио оркестра под управлением Рыгора Ширмы или какая-то передача по телевидению из Минска.

А что уже говорить, когда вдруг удавалось увидеть по телевидению ее «дарагіх пісьменнікаў». Конечно, дороже всего были личные встречи во время ее поездок по Беларуси. С большой теплотой она рассказывала о своих встречах на белорусской земле, где всегда ее принимали очень радушно, заботились о ней. В Минске она молодела душой, совсем не чувствовала усталости, вела активный образ жизни. Передо мной открытка, написанная бабушкой 28.04. (к сожалению, не подписан год), где после поздравлений с Первомаем бабушка радостно сообщает, что чувствует себя очень хорошо. «12.05 будет съезд писателей (на который у нее уже есть билет). Взяты билеты в театр, предстоят встречи со скульптором, музыковедом, пишущим музыку на стихи Максима, и др. встречи».

К сожалению, в 1966 г., когда праздновали 75-летие со дня рождения М. Богдановича, я была еще мала, чтобы все запомнить в деталях.

Но помню, что бабушка с восторгом рассказывала, как ее принимали в этот приезд, о торжественном вечере в Белорусском государственном университете. Очень ярким и красочным воспоминанием была поездка «на природу» (на Свислочь?) в один из ее приездов в Беларусь, о букете цветов как символе ее далекой родины.

Этими воспоминаниями бабушка жила, они давали ей заряд бодрости. А еще были книги и письма…

В юности бабушка много читала — русскую и зарубежную классическую литературу. В этом смысле большое влияние на бабушкины вкусы оказал Адам Егорович Богданович. Со стихами Максима Богдановича она впервые познакомилась еще в 1915 г. в сборнике «Венок» (с которым она с 1922 г. не расставалась и который Адам Егорович позднее подписал на память). Затем был двухтомник Максима, подаренный бабушке «дядей Адамом».

Но более основательно бабушка занялась изучением творчества брата после знакомства с Ниной Борисовной Ватаци и поездки в Минск. Бабушка стала читать не только его стихи, но и критическую литературу на белорусском языке (хотя поначалу это было нелегко). Ее сябры Н. Б. Ватаци и И. П. Крень высылали ей книги на белорусском языке. Выписывала бабушка журналы «Полымя» и «Маладосць», газету «Літаратура і мастацтва», а для меня «Вясёлку». В послед-

ние годы, освоившись в белорусском языке, она стала читать своих любимых белорусских «пісьменнікаў» на белорусском. Дружбою и перепиской с ними она очень дорожила. Наиболее близко бабушка подружилась с Янкой Брылём, Алесем Бачило, Аленой Василевич, Язепом Семежоном.

Известная белорусская песня «Радзіма мая дарагая» на стихи А. Н. Бачило, которую она часто просила меня спеть, иногда называлась ею «Бачыла мая дарагая». Можно было слышать от бабушки: «А ты знаешь, кто написал либретто к опере «Зорка Венера»?» — и ответ: «Бачыла мая дарагая!»

Поездка на премьеру оперы «Зорка Венера» в Москву вместе со своим сыном Николаем Петровичем была еще одним из прекрасных моментов ее жизни.

Остановились в гостинице «Россия». Оперу дядя Коля записал из зала на магнитофонную ленту, и потом после приезда в Горький мы все, затаив дыхание, слушали, а бабушка вновь представляла себя сидящей в зале. Дирижировал оркестром тогда еще (если не ошибаюсь) тоже бабушкин любимец Ширма.

С особой теплотой и любовью бабушка относилась к И. А. Брылю. Ее всегда восхищала его нелегкая судьба. А многое из его книг она зачитывала вслух. Последние годы на столе на видном месте у бабушки был портрет И. А. Брыля, где он стоит на дороге (сначала это была вырезка из журнала, а потом она заказала по этой вырезке портрет, который до сих пор хранится в нашей семье как память о бабушкиной любви к Янке Брылю).

В последние годы своей жизни у бабушки было очень плохо со здоровьем, она жила практически на лекарствах и на положительных эмоциях, которые ей доставляло все, что было связано с Белоруссией. Конечно, были и дома свои радости, но не обходилось без огорчений и волнений, т. к. бабушка была очень эмоциональным человеком, воспринимала все слишком близко к сердцу. А т. к. она нас всех очень любила (маму, дядю Колю, тетю Тоню, меня, Андрея), то все наши жизненные проблемы, какие-то неурядицы, простые «болячки» ее волновали даже иногда больше, чем нас самих.

Но стоило заговорить с бабушкой о Максиме Богдановиче, о ее любимых белорусах, она молодела на глазах.

Последний год, когда мама, а затем и я переехали в Краснодар, бабушка жила с сыном в Горьком. Сохранились некоторые ее письма к нам. В них, конечно, много о болезнях, но здесь же рядом «сябры из Минска все увеличиваются количеством, а какие люди! Некоторые с мировыми именами пишут, и везде чувствуется любовь большая. Вам все шлют привет, особенно Брыль, Бачило и Василевич».

За месяц до смерти: «Жаль, что здоровье ухудшается, но я стараюсь не поддаваться, и мои духовные интересы все увеличиваются. Из Минска пишут не только “пісьменнікі”, но и академик (Горецкий, ему 75 лет, а стал академиком в 28 лет)»…

«…О Максиме Богдановиче на днях выходит книга Ватаци Нины Борисовны, где помещены воспоминания о Максиме, и мои воспоминания там есть. Книгу пришлют «горяченькую»… (К сожалению, бабушка не дожила до этого дня). А книга «Шлях паэта» была прислана нам Н. Б. Ватаци в 11.76 г. с надписью: «Татьяне Петровне и Наташеньке Грязновым в память о маме Вашей и бабушке, моем большом друге. Помните, что в Минске у Вас есть искренний друг».

Далее из бабушкиных писем: «Из музея А. М. Горького (квартира) ходят ко мне на дом, в декабре будет вечер, посвященный М. Богдановичу. Я должна выступать. В Ялте откроется музей Леси Украинки, где отводится комната для М. Богдановича. А о белорусских писателях пишут не только русские газеты и журналы, их переводят и на иностранные языки. Особенно все ждут «уникальную книгу» Брыля, Адамовича, Колесника «Я з вогненнай вёскі».

И, наконец, за две недели до того как ее парализовало, бабушка писала: «Мне срочно надо заняться литературным трудом — Бачило прислал статью о бабушке Татьяне Осиповне, много нужно дописать в другом виде… Он выводит, что Максим — это не Богданович, а все это от матери. Это совсем некрасиво получается…» К сожалению, не успела она дописать. Это было ее последнее письмо к нам. Но



Слева направо: Волосович Анна Киприановна, двоюродная сестра М. Богдановича, Кунцевич Наталья Глебовна, двоюродная племянница М. Богдановича, Ватаци Нина Борисовна. Оригинал фотографии хранится у Сорока Н. В. (г. Краснодар).

ведь бабушка писала до самых последних дней много писем и своим друзьям. Еще хочется упомянуть о бабушкиных подругах, сестрах Гейст, дружбу с которыми она сохранила с гимназических лет в Минске до последних дней своей жизни. Судьба разлучила их и лишила возможности переписываться на несколько лет, т. к. сестры Гейст оказались за пределами нашей страны, в Риге. А затем, после присоединения Латвии к СССР, были высланы в Караганду, и бабушка смогла возобновить с ними переписку, которую продолжала до последних дней. Удивительная способность дружить почти 70 лет… Она даже успела отослать своим подругам новогоднее поздравление. А вот дожить до Нового, 1976 г. не смогла…

Хоронили мою дорогую, мою любимую бабушку в очень морозный день 31 декабря 1975 года. У людей в городе в этот день были радостные лица в предвкушении праздника, а у нас было горе, мы провожали в последний путь очень дорогого нам человека. Звучала «Зорка Венера», и она была прощанием бабушки со всеми нами.

Але расстацца нам час наступае,
Пэўна, ўжо доля такая у нас,
Моцна кахаў я цябе, дарагая,
Але расстацца нам час…

И сейчас, когда я слышу «Зорку Венеру», вспоминаю бабушку, человека доброй, отзывчивой души (так говорили о ней многие, кто ее знал). Со смертью бабушки все же не оборвались нити, связывающие нас с Беларусью.

В мае 1976 г. была неожиданная встреча с И. А. Брылем на Краснодарской земле. Весь город был в цвету и, казалось, призывал к надежде на что-то радостное и светлое.

Как у М. Богдановича хорошо сказано:

Только душа не сдается живая,
Знает она,
Землю от тяжкого сна пробуждая,
Грянет весна!
Солнце пригреет, зазеленеет
Ясная даль.

Грянет весна и как ветром развеет
Горе-печаль.
(Из книги «Узор василька», перевод Ф. Ефимова.)

Да, какая удивительная весна бывает на Кубани! В последние годы я уже успела к этому привыкнуть. Но тогда это была моя первая Кубанская весна (тем более после страшной зимы декабря 1975 г.). И эта весна, и приезд И. А. Брыля, и наше новоселье (а мы с мамой так хотели, получив жилье, забрать с собой бабушку на Кубань) — все удивительно кстати совпало. Встречались мы с Иваном Антоновичем в полупустой, еще необставленной квартире, но в этом была какая-то своя прелесть. Затем была встреча в здании филармонии на днях «Кубанская весна», и наконец, прощание с Иваном Антоновичем и Дмитрием Ковалевым (с которым мне тогда посчастливилось познакомиться). Более подробно писать об этом прощании не буду, так как лучше, чем это сделал Брыль (в журнале «Нёман» № 4 за 1981 г.), не смогу.

В последние годы я совсем перестала писать письма (ощущаю постоянно дефицит времени), но стараюсь все же хоть как-то не терять связь с Иваном Антоновичем, очень дорожу его добрым отношением к маме и ко мне, его памятью о моей бабушке.

Была еще встреча с ним, уже на Минской земле, в 1982 г. Это вторая моя поездка на бабушкину Родину.

Во время первой (1971 г.) мы с мамой отдыхали в Королищевичах, были в гостях у А. Н. Бачило, познакомились с Е. С. Василевич, с ее дочкой Наташей и внучкой Аленкой. Тогда мне не удалось как следует рассмотреть Минск — мало было времени, зато в 1982 г. я 1,5 месяца пробыла в этом городе (на специализации в БелГИУВе). Много ходила по городу. Правда, в то время он был перерыт — строилось метро. Побывала в гостях у Ивана Антоновича Брыля и Елены Семеновны Василевич. Зашла в музей Богдановича. Познакомилась с энтузиастами своего дела, влюбленными в поэзию Максима, Поздняковым Михаилом Павловичем и Белявской Валентиной Францевной.

Незабываемая встреча в доме у Михаила Павловича, в одном из микрорайонов Минска, на которую приехала и Нина Борисовна Ватаци. Благодаря моим минским друзьям мне удалось побывать на торжественном вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Я. Купалы.

И вот сейчас новая встреча с Беларусью: приезд к нам в Краснодар друга моей бабушки Ирины Платоновны Крень с внучкой Илоной. Снова воспоминания об Анне Киприановне, разговоры о поэзии Максима Богдановича, о Белоруссии и белорусах.

Перечитываю книги о Максиме Богдановиче Н. Б. Ватаци, А. Н. Бачило, стихи самого Максима. И радость оттого, что вновь приобщилась к этому прекрасному миру поэзии Богдановича, к миру людей, любивших и любящих его.

Трудное время все мы переживаем. Что впереди? Сложно предугадать. Но ясно, что сейчас всем не хватает оптимизма, того самого, который, несмотря на тяжелую болезнь, душевное одиночество и скорбь за судьбу своей Родины, все же был в стихах у Максима Богдановича.

Довольно плакать над судьбою
Родной страны! Да, в ней темно, —
Но это ж солнце золотое
В ночи луной отражено.
Придет рассвет, и солнце глянет
и всех пробудит ото сна,
и, просветленная, воспрянет
Моя родная сторона.
Под зимней, под холодной маской
Я вижу лик ее весны.
И веет стих мой вещей сказкой,
В нем звездные роятся сны.
(Из книги «Узор василька», перевод Ф. Ефимова.)

Н. СОРОКА
20. 08. 1990 г.

* * *

Прошло уже более 20 лет, как были написаны эти воспоминания. Многое изменилось с тех пор. Наступили «иные» времена, и живем мы все уже в «иных» странах. Мы все «повзрослели» и изменились. А кого-то, к великому сожалению, уже нет среди нас.

Но есть вещи, которые не меняются с годами: над нами так же, как и 20 лет назад, светит солнце, поют птицы, такое же бездонное небо и те же «зорки» зажигаются на ночном небосклоне. И то, что я написала 20 лет назад о своей бабушке, остается неизменным, я так же трепетно и с любовью отношусь к ее памяти. Только с годами я лучше стала ее понимать, больше узнала о ее нелегкой жизни, ведь трудности выпали на долю всего ее поколения, пережившего две революции и две мировых войны.

Было беззаботное детство и отрочество в кругу любящих ее людей (мамы Анны Афанасьевны, отца Киприана Ивановича, бабушки Татьяны Осиповны, других родственников и друзей), учеба в Минской Мариинской гимназии, где было много веселых подруг и строгих педагогов. Среди них и преподавательница французского языка Тамара Владимировна Воскресенская, которую, как и маленькая Аня, обожали все девочки в классе. И, видя ранимую душу своей ученицы, французская «мадам» подписала ей на память свою фотографию: «Souvenir à la charmante mademoiselle Wollossovitch Avec le souhait du bonheur dans la vie. Malheureusement les désillusions se rencontrent trop souvent pour les natures aussi expensives que la tienne. Que le Bon Dieu t'en garde» (На память очаровательной мадемуазель Волосович. С пожеланием счастья в жизни. К сожалению, разочарования случаются слишком часто у таких экспансивных натур, как ты. Храни тебя Бог!).

Грянула Первая мировая война и изменила жизнь до неузнаваемости, пришлось покинуть родную Беларусь и переехать подальше от фронта, в Ярославль. Но благодаря этому переезду Ане посчастливилось познакомиться со своим двоюродным братом Максимом, а Адам Егорович Богданович с тех пор на долгие годы стал для юной, а затем и взрослой Ани Волосович учителем и главным «путеводителем» в прекрасный мир литературы. Но недолго длилось и это счастье, случился Савенковский мятеж 1918 г., с трудом удалось уцелеть в огне пожара в горящем доме женщинам этой семьи (отец был на фронте). Но и здесь Господь не оставил Волосовичей без своей милости. Семья воссоединилась и продолжала жить дальше. Замужество и рождение детей, радости жизни, трудности быта и переживания, как и у всех людей в нашей стране в те годы. Не очень сытые предвоенные годы, бремя Отечественной войны и послевоенных лет — все это было. И вот в 60-е годы, уже на склоне лет, как глоток свежего воздуха, как звезды, появившиеся на вечернем небосклоне, вести с Родины, любимой Беларуси, встречи с интересными людьми, новые друзья, которые так же, как и Анна Киприановна, любили поэзию ее брата Максима. И к домашним заботам и переживаниям (а их не могло не быть вследствие беспокойного характера моей бабушки) прибавилось сразу столько важных дел, которые были ей в радость. Она спешила успеть вспомнить все, что хоть как-то было связано с ее братом Максимом и его родными, хотела написать о многом. Но, к сожалению, здоровье было уже не то, и что-то из того, что было задумано, она не успела завершить.

Прошло более 35 лет, как бабушки Анны Киприановны нет рядом с нами. Но я по-прежнему вспоминаю ее с теплотой и любовью, потому что она оставила неизгладимый след в моей жизни.

г. Краснодар, июнь 2012 г.

ВЯЧЕСЛАВ РАГОЙША

«Я не кахаю Вас. Я Вас люблю»

Светлана Сомова в жизненной и творческой судьбе Якуба Коласа[*]

В предыдущем номере журнала я рассказал о дружеских взаимоотношениях Якуба Коласа и русской поэтессы и переводчицы Светланы Александровны Сомовой (1911—1989). Ниже публикуются все известные на сегодня письма народного поэта Беларуси к Светлане Сомовой. Написаны они (кроме отдельных белорусскоязычных слов и фраз, а также стихотворных текстов) на русском языке. В данной публикации, в сравнении с Собранием сочинений Якуба Коласа в 14 томах (тт. 13 и 14), где они впервые частично опубликованы, восстановлены все пропуски в коласовских письмах. Эти пропуски, а также новые тексты из неизвестного эпистолярного наследия песняра (предполагается, что они войдут в издающийся сейчас 20-томник народного поэта), набраны *курсивом.*

Ряд писем и телеграмм Якуба Коласа, согласно информации, имеющейся в письмах Светланы Сомовой, к ней не дошли. Указываю место и даты их отправления (для будущих исследователей творчества народного поэта Беларуси). Письма из Москвы в Ташкент: конец 1943 — начало 1944 гг.; май 1944 г.; 22.7.1944 г.; июль 1944 г.; 24.11.1944 г.; август 1947 г.; октябрь — декабрь 1950 г.; март 1954 г. Письма из Минска в Ташкент: 24.12.1945 г.; декабрь 1946 г.; январь 1947 г. Письмо из Ново-Белицы в Ташкент: 19.3.1944 г.; открытка из Ново-Белицы в Ташкент: март 1944 г. Телеграмма из Москвы (Клязьмы) в Ташкент: июнь 1944 г. Телеграммы из Минска в Ташкент: июль 1945 г.; 1.8.1945 г. Телеграмма из Минска в Москву: 27.12.1945 г.

Остается добавить, что письма Якуба Коласа я перекопировал на квартире Сомовой (Москва, ул. Цюрупы, д. 20, кор. 1, кв. 71) 12 марта 1988 г. Передать письма в Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа в Минске она тогда, несмотря на мое настойчивое предложение, отказалась. «Пока я живу, пусть они будут со мной. Они мне очень дороги…». Попытки узнать, где после смерти Сомовой хранятся оригиналы писем песняра (и сохранились ли они вообще), пока что результатов не дали.

* * *

Клязьма, 29.XI.1944 г.

Милая, дорогая Светланочка, мой далекий прекрасный друг!

Все же я больше пишу Вам, мой хороший друг, чем Вы мне. 24/XI из Москвы я отправил Вам письмо заказным. Письмо писал еще в Узком. 23 ноября я выехал из Узкого. Несколько дней провели в Москве и только вчера, 28 ноября, приехали в Клязьму. Я даже думал вовсе не возвращаться в Клязьму, а устро-

[*] Окончание. Начало в № 10, 2012 г.

иться где-нибудь в Москве, в гостинице. Но сейчас это чрезвычайно трудно. В Клязьме я почувствовал свою оседлость и почву под ногами, и мне стало веселее, так как в Москве приходилось быть все время на ногах и почти весь день ходить одетым. Я же вовсе не городской человек. Городской шум, движение меня очень утомляют. Все время приходится быть в каком-то напряженном состоянии. Даже некогда подумать, помечтать. Московские концы длинные, а дни сейчас короткие, темные. И весь мир в такие дни представляется темным, утопающим во мраке. Погода отвратительная, гнилая. Проходит снежок, потом надвигается туман.

30/XI. Так и не докончил вчера начатое письмо. *Просмотрел сегодня — хочется все написанное перечеркнуть и написать только одно или два, самое большее — три или четыре слова: «Как Вы дороги мне!». «Как я люблю Вас!». Ведь этим я живу, а если не говорю об этом, то только из скромности. Хотел бы, чтобы Вы всегда помнили об этом и не говорили о сухости моих писем. Такой упрек мне очень горек. Поэтому разрешите мне писать обо всем, сумбурно и бестолково, вот так, что приходит в данный момент в голову.* По приезде в Клязьму я получил письмо от Ташкентского радиокомитета. Просят откликнуться на 20-летие Узбекской республики. Постараюсь сегодня же, завтра написать хоть небольшое приветствие, но горячее, идущее от сердца. Ведь Узбекистан я вспоминаю часто и с удовольствием, *потому что в Узбекистане я обрел моего лучшего, прекрасного друга, пленившего все мои мысли и лучшие чувства, и он всегда неразлучно со мной.* Сегодня погода улучшилась — немножко подморозило, посветлело. Туман, угнетающе действующий на сердце, на настроение, исчез. Но небо остается однообразно серым, хмурым. Мне сейчас представляется Пушкинская улица в Ташкенте. Я иду по ней в сторону Асакинской площади. Передо мной высятся горы, покрытые ранней весной и осенью кристально чистым снежным покровом. Небо бесконечно глубокое, голубое, ясное. *Я иду и думаю: а не повернуть ли вправо? не пройти ли по Ульяновской улице? И часто, подчиняясь своему сердцу, сворачиваю с прямой дороги...* Узбекистан вспоминается особенно ярко теперь, когда впереди вся зима, четвертая военная зима. Забывается узбекское знойное лето. Остаются только ясность, солнышко, цветы, пряный запах неведомых мною южных растений. *И все это — только декорация, а самое основное, главное и дорогое это — Вы, мой милый друг. Я, уезжая из Клязьмы в санаторий, просил девушек на почте оставлять письма до моего приезда. Но они, очевидно, забыли об этом и выдавали письма обычным чередом. У меня была надежда, что на почте как-нибудь останется письмо от Вас. Но его не было. За время пребывания в Узком я получил два письма от Вас, милые, хорошие, сердечные, да две телеграммы. Но я очень жадный, и мне немножко грустно, что нет еще от Вас письма.* Я знаю, Вы очень заняты в связи с предстоящим праздником, *но, Светланочка, удосужьтесь написать хоть краткое письмо. Напишите, как с И. А.*[1] *Были ли какие-нибудь разговоры и т. п.* Как здоровье Ваших сыночков? *Целуйте их.* Привет им.

Я собираюсь в Минск в конце декабря. Послал туда запрос. Переезд хоть не далек, но довольно труден.

23[2] ноября умер наш белорусский писатель Кузьма Чорный. Это — лучший наш прозаик. Прекрасный человек. Белорусские писатели понесли за войну тяжелые утраты.

Пишите, моя милая Светланочка, мой далекий, бесконечно дорогой друг.

Поделитесь Вашей поэзией: я очень люблю ее и высоко расцениваю. Перебирая бумаги, нашел Ваши переводы узбекских поэтов, Зульфии, Алимджана. Нашел Ваше стихотворение о войне. Напишите, приедете ли в Москву и когда.

Много напишите о себе, моя радость.

Всего наилучшего. Крепко-крепко жму Вашу руку, целую Вас.

Пишите. Якуб Колас

* * *

Минск, 6.XII. 1944 г.

Милая, славная, хорошая, дорогая Светланочка!

Еще на семьсот пятьдесят километров отодвинулся я на запад от Ташкента. *Но в моих мыслях Вы еще ближе мне.* Случилось так, что первого декабря ко мне прибыл посланный человек и сообщил — собираться в Минск, чтоб в пять часов вечера 2 декабря быть в вагоне. В значительной мере ломались мои планы, т. к. я предполагал ехать в Белоруссию в конце декабря. Задерживали издательские дела. На 3 декабря я уговорился с одним московским поэтом встретиться в Клязьме для работы. Пришлось спешно укладываться, чтоб подготовить вещи для отправки в Москву грузовой машиной. Уехал я из Москвы 3 декабря. Сегодня, 6-го, я сижу в своем новом пристанище. Дом в темноте. Горят две плошки, так называемые «свечи Гинденбурга», будь они прокляты. Писать при них человеку с притупленным зрением невозможно.

8. XII. Мое письмо по форме напоминает дневник. В тот вечер продолжать писать письмо было невозможно из-за отсутствия света. А в следующий день вообще не мог взяться за перо. Если бы Вы посмотрели на ту обстановку, которая меня окружает, на те мелкие дела, которые надо как-то устроить, то Вы, *мой дорогой друг, оправдали бы меня и* не судили бы строго за пестроту моего письма. Минск представляет страшную картину разрушения. Но ведь уже много сделано для того, чтобы расчистить город от гнетущих руин. Одно только радостно — люди горят желанием скорее восстановить свою столицу. Подготовительные работы для этого на полном ходу. Я также хлопочу, устраиваю свое новое жилище. Его надо утеплить, обставить необходимыми вещами, осветить. А дни сейчас самые короткие и самые темные в году. Встретили меня здесь очень радушно и помогают мне, как только могут в этих трудных условиях жизни всей нашей республики. Уже три ночи ночевал здесь. Мой домик небольшой: четыре маленькие комнатки и миниатюрная кухня. Тепло быстро уходит в потолок. Но каждый день я кое-что успеваю сделать для того, чтоб в домике можно было жить удобно. Сегодня я получил легковую машину, малолитражку. Шофер — тот же, что был до войны. Парень он очень хороший и машину приведет в образцовый вид. Мне же машина необходима, так как до центра города надо пройти километров пять. Живу я на окраине. Моя хата стоит в маленьком леску, в окружении сосен. Со мной приехал Даник[3]. М. Д.[4] пока осталась в Москве. Ей надо побывать у врачей. М[ожет] б[ыть], ей даже придется лечь в больницу. Все это очень сильно отражается на моем настроении. Лягу спать, и сон долго не смыкает мне глаз. Я гляжу в темное окно. По небу проплывают далекие отблески проходящих автомашин. Их гудки еле-еле долетают до моего слуха. Изредка долетают гудки паровозов. Где-то жизнь идет своей дорогой и нарушает безмолвие этого тонущего в зимней мгле моего уголка. И куда только не заносят меня мои мысли. Я думаю о дорогих мне людях, об их тревогах и радостях. И я думаю, как высоко поднял бы их, как щедро одарил бы радостями, если бы все это я мог сделать... Дни уходят, успеваешь сделать немного. Ночи долгие. Остаются с тобой одни только твои собственные думы. И я благодарен им за то, что они уносят меня за многие тысячи километров — и туда, где я жил под ясным и жарким небом, и туда, где я никогда не бывал и не побываю. *Я вспоминаю пышные цветы на столе и того, кто гораздо лучше и краше тех цветов. Пусть радостно и весело живется ему на земле. И как радостна была бы встреча с ним в моей родной Белоруссии.*

Непременно сообщите заблаговременно о своем приезде в Москву. *Пишите мне, много пишите мне, мой хороший незабываемый друг. Я с особенной радостью получаю и читаю Ваши письма.*

Пишите мне в Минск так:

Минск, БССР, Пушкинская, 56. Академия наук, Якубу Коласу.

Жду Ваших писем, сообщений, *Вас самих. Крепко жму руку и целую Вас, мой далекий, дорогой друг.*

Я. Колас

Привет сыночкам. Я. К.

* * *

Москва, 24. XII. 1944 г.

Мой дорогой, прекрасный друг!

Связь с Вами, Светланочка, нарушилась. Последнее Письмо от Вас я получил в Узком. Вы адресовали его на Клязьму. С тех пор прошло много времени. Много разных событий в моей жизни: я уезжал из Москвы в Минск. Из Минска неожиданно для себя самолетом прилетел в Москву. А сейчас нахожусь на перепутье, на временном бытии в Москве. Дело в том, что в Минск я поехал без М. Д. Она осталась в Москве, чтоб у врачей выяснить симптомы очень серьезного заболевания. Она выяснила, но мне ничего не сказала, чтоб не тревожить меня. Ее положили в больницу и сделали очень тяжелую операцию. Операция продолжалась два с половиной часа. Делали ее 18 декабря, как раз в тот день и в те часы, когда я летел в Москву. В Минске я узнал по телефону о предстоящей операции. Операция прошла благополучно. 22 декабря я навещал М. Д. Она была еще слаба. Сегодня опять иду проведать ее. Навещать можно только по четвергам и по воскресным дням. Все эти дни я находился под гнетущим впечатлением и в тяжком настроении. Остановился здесь у знакомых. Пока М. Д. не окрепнет, останусь в Москве. Хочу хлопотать и хлопоты начну завтра, чтоб дать возможность больной отдохнуть в санатории после операции, в том же Узком. Увозить ее сразу в Минск нельзя. Да там еще и ремонт квартиры не закончен. Минск производит тяжелое впечатление. Он разрушен на 4/5. Лежат груды кирпича, железа, щебня. Улицы очищены. Производится большая подготовительная работа к восстановлению города. Строительные работы начнутся с весны 1945 г. Белоруссия страшно разорена. Для колхозников надо построить не меньше 400 тысяч жилых домов вместе с хозяйственными строениями. Вся эта масса людей ютится в земле. У меня имеется небольшой домик, который сейчас ремонтируется. К Новому году ремонт внутренний будет окончен. Я не имею сейчас постоянного пристанища и местопребывания. Работу забросил. Как окончил поэму «Расплата», так больше и не брался за перо.

Ездил 19 декабря в Клязьму. *Была надежда, что получу от Вас письмо, но письма не было.* Вы, конечно, были очень заняты в связи с национальным праздником Узбекистана. Вчера и сегодня слушал по радио о Вашем празднике. Накануне отъезда в Минск успел написать маленькое выступление *по* радио. Меня просили из радиокомитета Е. М. Моисеева и другие работники Ташкентского радио. При случае наведите справки, получено ли мое выступление и использовано ли оно. *Милый мой далекий друг! Откликнитесь, дайте о себе весточку. Ведь я так часто думаю о Вас, хожу вместе с Вами по Пушкинской, Первомайской улицам, по Ульяновской и часто заглядываю под крышу Вашего домика в саду, где на столе горит лампа с выщербленным белым абажуром.* Я думаю о Ваших птенцах. Как они растут? Как здоровье? Чем занимаются? Сердечно поздравляю Вас и с праздником 20-летия Узбекистана, и с Новым годом. Будет немножко поздно читать Вам об этих поздравлениях, но Вы вообразите, что все это сделано вовремя, перенеситесь мысленно в Москву на Арбат, где я сейчас сижу и пишу Вам эти нескладные строки письма. Сегодня ясное, морозное небо. Снега очень мало. В Минске ко дню моего выезда его вовсе не было.

Так не забывайте же своего преданного друга. Пишите, как только подвернется соответствующая минута. *Я чувствую большое одиночество. Настроение мое тяжеловатое, невеселое. Пишите в Минск по адресу: Минск, Пушкинская, 56,*

Академия наук, мне. Пишите и на Клязьму. Сколько я пробуду здесь, я не знаю. К Вам в Узбекистан полетела А. П. Рябинина, ответственный работник ГИХЛа[5]*. Очень жалею, что не увидел ее перед отъездом. Обязательно попросил бы ее встретиться с Вами. О Вас она слыхала.* Хочется думать, что Вы встретились с ней в Ташкенте и поговорили. *Хочется верить, что мы с Вами встретимся или в Москве, или в Минске. Приезжайте.* Приеду встречать Вас на своей машине.

Всего наилучшего. *Сердечно жму руку и целую.*

Якуб Колас

* * *

25. XII. 1944 г.

Дорогой мой Свет-Светлана!

Собираюсь поехать в Клязьму на короткое время. Свободную минуту решил использовать на коротенькое письмо к Вам. Давно не было от Вас весточек, хороший мой друг. Соскучился без них. Перечитываю Ваши прежние письма, тоскую о новых. Я в Москве не имею определенного пристанища. Кочую. Заезжаю то к сыну, то к Сергею Городецкому[6]*. Остановился в Староконюшенном переулке в районе Арбата — д. 19, кв. 39. Жду, когда окрепнет М[ария] Д[митриевна]. Новый год она, очевидно, встретит в больнице. Еще не снимали швов. Вчера заходил ее навестить. Она выглядит лучше, нежели тогда, когда я пришел к ней впервые. Вчера, идя к ней, опустил в ящик письмо Вам, а сегодня пишу второе. Пишу потому, что мне радостно думать о Вас и говорить хоть на далеком расстоянии. Что Вы делаете? Что написали нового? Поделитесь со мной своими достижениями. Почему-то вспомнился Ташкент, жаркое безоблачное небо, серебристые тополя. Даже слышу веселое журчание арыков и воркование горлинок. Побывать у Вас в этом году, как я гадал, не пришлось. Сколько пробуду в Москве, сейчас затрудняюсь сказать. Надо устроить мою больную после ее выхода из больницы. Думаю определить ее хоть на месяц в санаторий. Но ей, возможно, надо будет продолжить лечение в Москве. Во всяком случае торопить ее с отъездом в Минск нельзя. Пусть окрепнет. У нее был рак матки. Тяжелые минуты переживал я. Грустно думать, что мы вообще подходим к концу нашего жизненного пути. Не забывайте меня. Хоть изредка подавайте о себе голос. Целуйте Ваших славных сыночков. Мне так хочется повидать их. Здесь я дружу с мальчиком, сынишкой четырех с половиной лет моих знакомых, земляков. Дед Мороз стал популярной темой наших разговоров.*

Будьте счастливы, Светланочка. Присылайте Ваши стихи. Пришлите фотографию. Крепко жму руку. Целую свою дорогую дочку-друга.

Якуб Колас

* * *

Москва, 26. XII. 1944 г.

Милая, дорогая Светланочка!

Отправил Вам вчера письмо с Северного вокзала, а сам поехал на свое старое место, где мы жили больше года по приезде из Ташкента. В нашей комнатушке пусто и холодно, неуютно. На стене остались мои портреты, написанные художниками Татьянами: Жирмунской и Шишмаревой, да увеличенная фотография моего дорогого сына Юрия, сложившего, как видно, свою молодую головушку на Смоленской земле. Я долго точил в сердце надежду, что он где-нибудь находится среди партизан. Теперь и эта надежда похоронена. А все остальное — одни лишь иллюзии. В Клязьме пробыл весь день, собрал кое-какие вещи, предметы, книги, отложенные во время спешного сбора в Минск, как вещи

менее ценные. И было мне грустно. Хозяйка лежит больная. Много нервов попортила она М[арии] Д[митриевне]. М[ария] Д[митриевна] не может без чувства горечи вспоминать о своем пребывании в Клязьме. Трудно ей было. Отравляла ей существование ее братовая, человек явно больной, психически ненормальный... Не все еще забрали мы из своих манатков в Клязьме. Мне предстоит еще раз-другой наведаться туда, исподволь перевозить остатки. В Клязьму езжу также в надежде, что туда зайдет еще задержавшееся в дальней дороге письмо от Вас. Этой надежде позволяю жить в моих мыслях только до конца тысяча девятьсот сорок четвертого года. Сегодня я никуда не выходил. Немного простудился и чувствую себя полубольным. А в таких случаях особенно хочется поговорить с близким по духу и далеким по расстоянию человеком. Меня начинает томить бездействие. Давно не писал ничего. Накапливается и материал, и потребность оформить его, сказать о нем слово. И сегодня мысленно с Вами в далеком своеобразном Ташкенте. Время идет неудержимо, и далее, далее уносят волны времени от того, чем жил, что так глубоко взволновало и волнует сейчас. А все пережитое откладывается, как кристалл, и сверкает в памяти. Живу надеждой, что все же Вы подадите свой голос, чтобы ни случилось с Вами, даже если будет тяжело, от чего избави Вас боже.

Может быть, Светланочка, и письмо мое это получилось такое печальное, что мне все же очень нездоровится. Но все пройдет. Не пройдут только хорошие люди и их добрые дела.

Бывайте здоровы. Не забывайте своего старого друга, как не забывает он Вас.

Крепко целую. *Якуб Колас*

* * *

30. XII. 1944 г.

Дорогой мой, милый далекий друг!

Предпоследний день 1944 года. Завтра канун Нового года. Где буду встречать его, не знаю. Очевидно, встречу в одиночестве. А может быть, поеду к Михасю[7]*. У него есть маленькая комнатка, студенческая. Старшего сына куда-то приглашают. Мария Дмитриевна встретит Новый год в больнице. Она понемногу поправляется, уже встает и ходит. В начале января ее переведут на неделю или дней на 10 в другую больницу для лечения радио. Затем ей дадут на шесть недель передышку, а потом снова ей нужно подлечиться. Таким образом, ей надо оставаться в Москве месяца два, а уж после этого мы уедем в Белоруссию. Шесть недель перерыва хочу использовать для отдыха в санатории, и вопрос о нем выяснится в ближайшие дни. М[ария] Д[митриевна] хочет, чтобы и я был вместе с ней в санатории. Но как это удастся, сейчас трудно сказать. Возможно, что на некоторое время уеду в Минск. К тому времени моя новая квартира будет приведена в полный порядок. Жить так, как я сейчас живу, и скучно и трудно. В таких условиях невозможно заняться каким-нибудь серьезным делом. Изредка наведываюсь в Клязьму. Там теперь холодно и неуютно. Наша бывшая комнатка не отапливается. Как результат моих поездок на старое место, явилось стихотворение «На пералётах». Посылаю Вам его. В свободную минуту прочтите. Изредка захожу к Сергею Городецкому. Нимфа Алексеевна*[8] *очень больна. Она страшно исхудала. У нее неладно с сердцем, вдобавок со злокачественным плевритом. Сергей работает над комедией. Если он в целом подравняет ее по лучшим кускам комедии, то это будет самое яркое произведение в русской советской литературе. Вопросы, поставленные в ней, очень большие. Философия большевизма и смысл его выступают в очень ярких, убедительных образах. В ближайшие дни идет «Иван Сусанин», либретто которого принадлежит Сергею Городецкому. В эти дни идут репетиции. Последняя репе-*

тиция, на которой присутствовали все видные деятели театра и музыки, прошла с большим успехом. Дела моего Сергея поправятся с постановкой оперы.

Милая, дорогая Светланушка! Как давно не было от Вас писем! С тех пор, как Вы упрекнули меня в сухости одного моего письма, я ничего не получил. Неужели Вы махнули рукой на меня, на все прошлое, в котором было так много солнца, поэзии. Я все же верю в Светлану. Я помню, в 1943 году за день до Вашего выезда на фронт, мы сидели на лавочке по улице Якуба Коласа[9]. Я ж тогда говорил Вам: «Я верю в Вас, Светлана!» А Вы мне ответили: «Верьте. Это хорошо — верить в человека». Ведь мне так хочется знать о Вас, о Вашей жизни со всеми ее печалями и радостями. Сообщите, когда приедете в Москву. Пишите мне на адрес: Москва, Арбат, Староконюшенный, 19, кв. 39. Поздравляю Вас с Новым годом. Пусть он принесет Вам много-много радости и успеха в Вашей поэтической работе. Крепко-крепко целую Вас.

Ваш Якуб Колас.

P. S. Часто-часто думаю о Вас. Читаю Ваши переводы моих стихов — и сам и добрым людям. Я. К.

* * *

Минск, 16. VI. 1945 г.

Дорогой мой друг, милая Светланочка!

Сегодня было бы ровно тридцать два года совместной жизни с моей незабываемой Марусей, если бы она была жива. Но не судила ей доля дожить до этого дня. Время идет, а моя острая боль тяжелой утраты сжигает меня, и когда я говорю о своем потерянном друге, мне трудно удержать слезы. Моя жизнь как-то поблекла и потеряла для меня свой интерес. Хожу я и езжу по улицам сожженного и разрушенного Минска, а вокруг полное одиночество. Строительство города все еще не выходит из подготовительной стадии. Несколько раз проезжал я мимо того места, где был дом моего друга и соратника Янки Купалы. Еще в первый свой приезд в Минск я обратил внимание на тополь, стоявший у самых ворот при въезде во двор Янки Купалы. Тогда была зима, и тополь стоял без листьев, поэтому трудно было судить издали, живой он или засохший. Сейчас этот тополь покрыт зелеными листьями. У Купалы был чудесный палисадник, где росли цветы на клумбах, серебристые ели и цвели пышные розы. Купала с опасением смотрел на тополь: тополь был стар, и порыв ветра мог опрокинуть его и смять цветы, и погубить молодые взращенные нашим поэтом серебристые ели. Но случилось так, что и дом поэта, и его насаждения, и сам он погибли, а тополь стоит и по сей день. Разве это не тема для стихотворения? И я как-то в Москве написал его. Перепишу его Вам.

Топаль

Каля Купалавай пасады
Упёрся топаль у вароты.
І думаў Янка, як даць рады,
Каб не было яму згрызоты.
Пад тапалёваю паветкай
Ляжалі градкі, ззялі ружы —
Расціў на клумбах Янка кветкі,
Паэт наш дбалы і дасужы.
А топаль грузны і гузасты,
І жыць яму, як бачна, мала:
Яму даўно ўжо гадоў за ста.
Так развважаў з сабой Купала.
І страх часамі браў паэта,
Што вецер дрэва ў сад паваліць,
І будзе кветкам песня спета
У шуме-громе смертнай хвалі.

Але прыйшлі дні злой навалы,
Асірацелі паркі, плошчы,
Згарэлі сад і дом Купалы,
І сам ён — блізкі нам нябожчык.
І Мінск, як труп, адна руіна,
Дзе ў мёртвых сценах вецер свішча,
А топаль, волат-сіраціна,
Стаіць на варце папялішча.

Много места занял я этим стихотворением в ущерб письму. На этом листе хочу и закончить письмо. *Конечно, написал я Вам здесь ничтожную частицу того, о чем хотел бы с Вами поговорить, но* отложу до следующего письма — и бумага эта скверна, и настроение мое плохое, и чувствую себя очень неважно, очевидно, простудился: бьет кашель, ощущается какая-то ломота. *Поэтому простите меня за это письмо. Буду писать Вам часто, делиться с Вами своими горестями.* А работы у меня много. Личные дела совершенно запущены.

Будьте здоровы. Пишите мне, *мой дорогой, любимый и единственный друг.*

Ваш Я. Колас.

* * *

20. VI. 1945 г.

Дорогой мой друг!

Мое первое письмо, которое я написал Вам в эти печальные для меня дни, еще блуждает где-то в дороге, но я пишу Вам второе. *Ведь Вы напоминали мне писать Вам чаще.* Я не успел еще осмотреться, не успел ничего сделать из того, что необходимо в моем быту и моем крошечном хозяйстве, которое надо заводить на разоренном месте. У меня не оказывается времени и для того, чтобы съездить в зуболечебницу, чтобы привести в порядок зубы, так как мне уж нечем кусать и трудно говорить. Подходит годовщина великих событий в нашей стране. Эту годовщину надо отметить. 28 июня — третья годовщина смерти Янки Купалы. Ей также надо воздать должное. Приближается сессия Верховного Совета БССР, на которой я должен присутствовать и принять участие. Каждый день несет что-то свое, на что так или иначе надо отозваться. А мне так хочется отдохнуть, ибо я устал смертельно, ослабел. Мне иногда кажется, что я хожу на каких-то соломенных ногах, а в черепной коробке налито олово. И не с кем мне поговорить, немножко пожаловаться и получить заботливую поддержку. Но когда я говорю об этом, то мне трудно удерживать слезы. Два раза за эти дни был на могиле М[арии] Д[митриевны]. Ее могила аккуратно обложена дерном. В ближайшие дни будет сделана железная ограда, а в недалеком будущем я поставлю скромный памятник своему искреннейшему, чуткому другу, который, на мою огромную скорбь, отстал в пути и покинул меня в одиночестве.

Может быть, не совсем хорошо так много рассказывать о себе, о своих делах, о своих горестях, но ведь хочется с кем-то поделиться ими, и я говорю это Вам, как хорошему, чуткому человеку, у которого так же велико бремя житейских невзгод. Давно-давно не получал я от Вас писем, *которые всегда как-то радостно волновали меня.* Я ничего не знаю, как Вы живете, т. к., кроме открытки от 12 января этого года и нескольких телеграмм, больше никаких писем от Вас не было. *Поэтому выберите, хоть украдите несколько минут времени, сядьте при свете той лампы, которую я принес Вам накануне моего отъезда из Ташкента, и напишите мне, чернилами, обо всем обстоятельно.* Быть может, Вам нужна моя помощь. Все, что в моих возможностях, постараюсь сделать. У Вас там, очевидно, жарко, как всегда в летние дни. Здесь же погода очень прохладная. Я помню только два теплых дня в конце мая, когда я отправлял в Москву на самолете моего Михасика и когда через день сам отправился в Москву на самолете.

Напишите мне о Ваших поэтических делах, что сделали, что делаете, что предполагаете делать. У меня гостит С. М. Город[ецкий]. Он уехал в город разыскивать своего знакомого. В Москве он написал комедию, одобренную реперткомом. Она готовится к постановке в Малом театре. Вы обещали мне прислать или привезти свои стихи. *Когда же, Светланочка, исполните Ваше обещание? Пришлите мне Вашу фотокарточку. За все за это заранее благодарю Вас.* Как поживают Ваши сынки? Запоночку, которую так искренно по-детски подарил мне Валик, я храню как память о Вашей семье. Целуйте их, любите их — они такие славные. Пусть крепкими, здоровыми и подготовленными к жизни растут они. Крепко жму Вашу руку, *обнимаю, целую.*

Я. Колас

* * *

8. VII. 1945 г.

Мой далекий, дорогой друг!

Быть может, Ваши письма где-то в дороге, а дорога такая далекая, но я, опять повторяю, из Ваших писем в этом году получил только открытку, на которой стоит число — 12 января. А я пишу Вам часто, письмо за письмом. Я очень одинок, поэтому хочется поговорить. Вот я и пишу Вам, пока не потерял надежды на получение Вашего письма.

Вчера решил совершить поездку в те места, куда я до войны ежегодно ездил на летний отдых. Места эти в 75 километрах от Минска. Пять лет я не был там. Я очень внимательно всматриваюсь в родные и дорогие мне картины Белоруссии. Как изменились они! Многих мест, которые были мне так знакомы, я сейчас не узнаю. Леса, прилегавшие к шоссейной дороге, сплошь вырублены. Табличек с обозначением селений нет. Вдоль дороги валяются остовы разбитых танков, машин, множество разнообразного железного лома. Все это зарастает травой, глубже уходит в землю. Очень часто встречаются могилы и руины сожженных деревень и местечек. Наконец я добрался до того места, где надо сворачивать с большой дороги. Смотрю — прежней дороги нет. Едем разными тропами, приезжаем на лесную дорогу. Когда-то она была широкая, уезженная. Сейчас она еле заметна, сжата деревьями. Здесь сражались партизаны. Есть заминированные места. На одной мине подорвался не так давно мой хороший знакомый колхозник. Проехали благополучно. Наконец мы приехали в мой бывший тихий уголок. Здесь мы жили три года, приезжали сюда на летние месяцы. И у меня тогда были мир и тишина в душе. Я был счастлив среди этих лугов и лесов. Здесь было пять дворов, потом они переселились в соседнее селение. Этому уголку я посвятил несколько лучших своих стихотворений. Вчера я пробыл здесь несколько часов. Ходил на Свислочь, на ее маленький приток Болочанку, осматривал эти родные мне места. Потом я взошел на свой любимый холмик, где так пышно растет лесная гвоздика. Ее здесь стало еще больше. Я стоял на холме. Кругом полная тишина, безлюдье. Только лес да кусты, и так они пышно разрослись за эти годы. Мне стало очень грустно, потому что со мной нет М[арии] [Дмитриевны]. Не с кем было мне поделиться своими чувствами и мыслями. На глаза набегали слезы, так как каждая дорожка, каждый лесок напоминали мне о той, которой нет со мною. О своей поездке напишу еще стихотворение и пришлю Вам. *Как грустно и тяжело, Светланочка, что нет от Вас писем.* Пишите мне в Минск — Пушкинская, 56. Академия наук. Я ответил на Вашу телеграмму, в которой Вы спрашивали мой точный адрес, ответил телеграммой.

Мне так хочется знать, как Вы живете. Я часто-часто, каждый день улетаю в мыслях в далекую, знойную Азию, в ясный Ташкент, где бывает такое чистое-чистое, голубое небо, *где живет мой хороший друг, о котором я тоскую, от*

которого жду писем. Целую Ваших деток, крепко жму Вашу руку, обнимаю и целую Вас.

Не забывайте.

Всего наилучшего.

Я. Колас

Р. S. Посылаю Вам мой любимый цветок. *Я люблю его так же, как и свою милую Светлану.*

Он вырос на моем излюбленном устянском холмике. Это — лесная гвоздика. Я. К.

* * *

7. VIII. 1945 г.

Мой дорогой друг, радость и печаль моя!

31 июля я приехал в Москву. У меня была мысль, что к началу августа и Вы приедете. *Из Минска, не помню, за сколько дней до отъезда, я послал Вам спешную телеграмму. Просил сообщить, когда можно ожидать Вас. 1 августа послал Вам вторую телеграмму, тоже спешную. Просил ответить мне телеграммой на гостиницу «Якорь». Ни на ту, ни на другую ответа не получил. Что мог я предполагать? Допускал, что мои телеграммы к Вам не дошли. Думал, что Ваши затерялись где-то в пути. Но факт тот, что ни писем, ни телеграмм, за исключением одной открытки от 12 января э. г. да трех телеграмм, полученных за все лето в Минске, я больше ничего не получил. И меня угнетает тревога за Вас, все ли у Вас благополучно, здоровы ли Вы, здоровы ли Ваши мальчики.*

Хочу верить, что с Вами все благополучно, *что Вы не забыли меня, а не пишете в силу каких-то мне неизвестных причин.* Мое пребывание в Москве вышло более длительным, чем я предполагал. Могу уехать только 10 августа, и то в том случае, если получу билеты и они будут у меня в кармане. Со мной едет и мой сын Михась. Он около месяца может пробыть у меня, немножко отдохнуть. Ему приходится очень много работать. Нагрузка в их институте предельная. А я ему в Минске смастерил летнюю комнатушку, где он может спать на широком топчане, на душистом сене, которое я накосил и насушил на своем участке. Я всеми силами души стремлюсь выехать отсюда. В шумном городе я не привык жить летом. Хочется на простор, где лес, небо, луга и земля. Москва слишком много вызывает тяжелых воспоминаний. В Москве умер мой самый большой в жизни друг. Образовавшаяся пустота — мой удел и бремя моей старости. Я много размышляю. Разные мысли не дают мне покоя, отгоняют мой сон. Но я не ропщу, я трезво смотрю на жизнь, на ее неумолимые законы. Об одном я лишь тоскую — живем мы не столько, сколько должен жить человек. И мне хочется, чтобы дело людей, которые занимаются вопросами жизни, увенчалось полным успехом.

Мне так хочется поговорить о таких вещах, и я думаю, что если бы Вы были ближе и я мог бы чаще и вообще часто встречаться с Вами, то много-много рассказал бы Вам... Но Вы далеко, я много пишу Вам, но мало говорю. Вот так, как и той звездочке на ташкентском небе, которая светила мне в бессонные ночи 1943 года и перед рассветом исчезала из поля моего зрения, прячась за выступ стены четырехэтажного дома на Пушкинской улице.

Но, *Светланочка,* ручей неумолчно журчит лишь тогда, когда его воды питают время от времени хорошие обильные дожди. Если же засуха стоит слишком долго, то ручей иссякает.

Крепко, крепко жму Вашу руку, обнимаю, целую, желаю здоровья и благополучия.

Ваш друг Я. Колас.

* * *

25. XI. 1945 г.

Мой дорогой, прекрасный друг!

Меня сейчас охватила такая же тишина, как и после шумного, оживленного собрания в кругу дорогих друзей и знакомых. Все разошлись кто куда, и мы остаемся вдруг в грустном одиночестве. Вспоминаешь о том, что было и ушло, как нечто неповторимое и очень хорошее. Мы снова в разных местах, в разных условиях. Я думаю, как живете Вы, какие заботы, волнения приносит Вам каждый новый день. *Как хочу я, чтоб Ваша жизнь устроилась наилучшим для Вас образом. И верьте, мой дорогой друг, что так и должно быть, и пусть никакие временные неудачи не огорчают Вас.* Вам обязательно надо побывать у нас на пленуме. Пленум состоится в декабре, не знаю лишь точно, какого числа это будет. Приглашение на наш пленум Вам будет послано, и Вы непременно, обязательно приезжайте. Посмотрите, как мы здесь живем. *Я отведу Вам комнатку. Вам будет тепло и уютно.* По приезде из Москвы сразу же впрягся в колесницу разных общественных дел. Вчера у нас был вечер памяти Л. Н. Толстого. Мне, как председателю Республиканской комиссии по проведению 35-й годовщины, надо было открывать вечер. *Машина моя ремонтируется, и я ходил пешком по разбитым, слабо освещенным улицам города.*

Сегодня к двенадцати часам дня ездил на заседание республиканской избирательной комиссии. В результате совещания предстоят поездки по областям и районам. А разъезжать в это время зимы не особенно приятно. А мне просто хотелось бы немного отдохнуть, а потом приняться за то дело, к которому наиболее чувствуешь расположение. Но надо работать и там, где требует наш гражданский долг.

Дорогой мой друг! Как Вы чувствуете себя? Как Ваше здоровье? *Очень прошу беречь себя. Не простуживайтесь. Помните мои последние слова — так же, как помню и я Ваши. Пишите мне, и чем больше, тем лучше. Посылайте письма заказными. Мне очень больно, что Ваши письма не доходят ко мне. Крепко-крепко жму Вашу руку и целую.*

Передайте мой дружеский привет Вашим друзьям. *Если я провинился перед ними, прошу простить.*

У меня разболелась левая рука. Как видно, боль ревматического порядка.

Пишите мне, мой хороший друг.

Желаю Вам здоровья, удачи, успехов.

Послали ль посылочку Вашим хлопчикам?

Целую их. Ваш Я. Колас.

* * *

26. XII. 1945 г.

Дорогая Светланочка!

Это письмо Вы получите уже в 1946 году.

Может быть, еще не поздно поздравить Вас с Новым годом и, как говорят в таких случаях, с новым счастьем. Завтра открывается наш писательский пленум. *Я был так уверен в том, что Вы примете в нем участие. Я ждал телеграфного извещения от Вас, что Вы такого-то числа выезжаете из Москвы. И вот канун пленума, а извещения от Вас как не было, так и нет и уже не будет. Грустно. Но ведь такой грусти было много. Завтра пошлю Вам телеграмму.*

Два дня я не выходил из дому — чувствую себя не совсем хорошо. Подняться бы хоть завтра: мне поручено открывать пленум. Нахожусь дома, больше в постели. *Никто ко мне не заходит, и некому мне постучать в окошко.* Просимое Вами выслано по телеграфу вчера. Высылка задержалась на сутки: было

предположение, что уезжает один наш знакомый — самолетом. Но президент его не отпустил. Если бы так не случилось, то сегодня Вы имели бы посылку на руках. Да уж ничего не поделаешь. Вам только надо всегда иметь в виду, что и телеграф не особенно торопливо доставляет посылки, а мне очень неприятно, что Вы, б[ыть] м[ожет], испытываете затруднения. Вчера послал Вам письмо, заказное... Нет, не вчера, позавчера. *В нем, как это стало уже обычным в моих письмах, я сетовал по поводу того, что Вы ничего за целый месяц не сообщили о себе.* А ведь я ничего не знаю о Вас: где живете, как Вас разыскивать, что слышно с узбекской антологией, каковы Ваши дальнейшие планы и вообще московские перспективы.

Я начинаю понемногу устраивать свою квартиру, а то в ней было очень пусто и неуютно. Впрочем, сам я этого не замечал и не обращал внимания на разную домашнюю чепуху, без которой можно обойтись. Но добрые люди где-то сказали, что у меня уже чересчур монашеская обстановка. И вот сегодня у меня появились картины на стене, разные постельные и бельевые вещи. Одним словом, помаленечку обуржуиваюсь.

Предстоящий пленум несколько нарушил обычное монотонное течение жизни. Я уже давно начал обрабатывать народные белорусские сказки. В феврале их надо сдать в Москве Детгизу. После пленума займусь сказками более быстрым темпом, чтобы к февралю их закончить. Но будут тоже перерывы в связи с выборами в Верховный Совет.

Сегодня мне как-то вспомнился далекий Ташкент и длинная дорога к нему. И я подумал, что когда Вы были в нем, то я охотно направлял туда стопы своя. А сейчас, когда Вас там нет, то Ташкент потускнел и стал далеким не только в пространстве, но и в чувстве. На то, или вернее, на кого, поглядел бы я сейчас в Ташкенте, это — Ваши сынки. Они такие славные хлопчики. Как они живут? Но в Москве Вам просто некогда заняться ими.

Жду от Вас, дорогой мой друг, подробных писем.

Я не люблю городской жизни, когда люди идут спать в 3 часа, а встают в 10—11 утра. Я всегда предпочитаю в 12 ночи тушить огонь, повалявшись перед этим с полчаса в постели, а назавтра встать в 7 часов утра. Так я и делаю. Но сон-то у меня плохой.

Крепко-крепко жму руку, горячо целую и желаю Вам здоровья, радости и нормальной жизни.

Якуб Колас

* * *

9 января 1946 г.

Дорогой мой друг!

День за днями подходит зима,
И гудят поезда по дороге.
Я ищу на почтамте письма.
Писем нету, ты знаешь сама,
Писем нету и в сердце тревога.
(Из перевода Светланы Сомовой)[10].

Как поживаете, *мой дорогой друг?*

Что хорошего у Вас? Вашу телеграмму — поздравление с Новым годом — получил 5 января. Очень благодарен за поздравление и добрые пожелания. Приобрели ли то, что так нужно Вам было к Новому году? Как обстоит дело с узбекской антологией? Долго ли пробудете в Москве? Неужели Вы уедете, не повидавшись со мной?.. Видите, сколько вопросов я поставил Вам. В первой половине января я рассчитывал побывать в Москве, но в связи с выборной кампанией едва ли это мне удастся. Мне надо совершить поездки к своим избирателям в районы

Западной Белоруссии. Не знаю, когда состоится эта поездка и сколько времени займет она. От Вас, кроме того письма, что Вы переслали с оказией, да двух-трех телеграмм, я ничего не получил.

Вы пишете, что мою корреспонденцию Вы получаете. А почему же я не получаю от Вас? Неужели кто-то нарочно задерживает и не пересылает мне Ваших писем?

Чувствую себя очень неважно. Сон у меня вообще плохой, но никогда не было случаев, чтобы бессонница навещала меня в длинные зимние ночи, а сейчас она ко мне пришла. Вчера было особенно неприятно. Думал, что усну, так как предыдущую ночь почти не спал — спал не более 1— $^1/_2$ ч. Но уснуть мне не удалось. Полежал часа три, потом встал и приступил к розыскам снотворного. Удалось найти еще полученный в прошлом году люминал, принял таблетку, немного успокоился и через час уснул. Спал часов 5. А сегодня — усталость. Сижу дома, жду ленинградских поэтов — Прокофьева, Брауна и др. Они сегодня уезжают. Перед отъездом пригласил к себе.

Где сейчас живете? Если на прежнем месте — 855 — сообщите. Вообще пишите о себе. *Присылайте хоть открыточки — им больше шансов дойти.*

Работаю понемногу над обработкой белорусских сказок. Дело двигается в общем медленно. Боюсь, что и к половине февраля не выполню этой работы.

Пожелаю Вам всего хорошего. *Писал бы и больше, да надежд на Ваши письма у меня мало.*

Крепко жму руку, целую. Якуб Колас

* * *

Яшчэ раз Святлане

Што рабіць мне са Святланай,
Навучыце, людзі!
Які ж час зачараванай
Кветкай яна будзе?

На хвілінку мне на гора,
Як прамень, мільгнецца
І знікае, як камфора,
І не адгукнецца.

Я дзяцінства прыгадаю,
Як лавіў калісьці
Тую пташыну, што ў гаю
Нікне ў жаўталісці.

10. III. 1946 г. Якуб Колас

16. VIII. 1946 г.

Дорогая Светланочка!

Очень благодарен Вам за память, и за хорошую память. Уже давно, в начале лета, мне сообщил Мозольков[11]*, что видел Вас и что Вы обещали написать мне. Ждал я письма от Вас, да так и не дождался. Время уходило. Я не знал, где Вы обретаетесь. Предполагал, что, верно, уехали из Москвы, отряхнули прах с ног Ваших и от того, где Вы поселились после моего отъезда.* Запрашивал Мозолькова, просил навести справки о Вас. Вчера получил от него письмо. Он сообщил, что Вы, дядя Володя и еще кто-то третий уехали в Ташкент и повезли на утверждение узбекскую антологию. Вчера же я получил и телеграмму от Вас. Мне вновь ярко представился Ташкент, послышалось бульканье его арыков и гулкий шум самого большого из них, Салара, воспетого мной и чудесно переведенного Вами на русский язык. Мне также почудилась перекличка милых ташкентских горлинок...

Целая и большая полоса жизни, тоскливая, а порой светлая и радостная, встала опять передо мной. Несколько дней тому назад я взял тот экземпляр стихов, который Вы привезли из Ташкента в Вашем переводе. Ни одного оригинала у меня не сохранилось, и не все они переведены. Я стал переписывать их на машинке. *Очнулось вновь и пережито еще раз прежнее волнение.*

Я подумал: хорошо бы, если бы Вы дополнили сей сборничек, а потом издали бы. Как смотрите на это Вы, я не знаю.

Что же застали Вы дома? Как встретили Вас мои дорогие «янтарики»? Как живете? Сообщите подробно. Неужели так трудно выкроить на это полчаса или побороть свою нелюбовь писать письма?

Не успев отдохнуть и оправиться как следует после тяжелой болезни, я вновь завертелся в каком-то водовороте ежедневных заседаний, всевозможной переписки со своими избирателями, с их жалобами и просьбами. А сейчас должен заниматься и делами Академии наук, *так как все члены президиума расползлись кто куда.* С 3 июля приступил к работе над поэмой «Рыбакова хата». Одно место из этой поэмы Вы переводили. Мне для окончания поэмы надо написать 2100 строк. Три главы — 900 строк — я уже написал за эти дни. Хочу закончить поэму в этом году. Чувствую себя очень плохо. Сон мой тревожный, краткий. Уже два выходных дня не имел возможности поехать в лес, в свои излюбленные места, где чувствую себя хорошо, свободно. Там проводил я лучшие летние дни во второй половине моей жизни.

Я хочу переписать и послать Вам в этом письме начало моей работы по окончании поэмы, вступление к XVIII гл.

1.

З чаго пачаць працяг паэмы?
У прошласць сплыў час немалы...
Ох, чарпанулі гора ўсе мы,
Зазналі розныя сталы!
Шумеў, шугаў над нашым краем
Агністы віхар, чорны вір.
Яшчэ сягоння мы не знаем,
Каго і дзе хавае жвір.
І часта, часта ў падарожжы
Магіла зрок запыніць твой,
І ты панікнеш галавой —
Каго вартуе агарожа?

2.

Няма ні надпісу, ні крыжа,
Адзін гарбок сухой зямлі,
Дзе вецер песні свае ніжа
На травяныя сцебялі.
Мой мілы дружа, скуль і хто ты?
Як ты знайшоў тут дом глухі,
Дзе больш няма надзей, турботы,
Дзе толькі родзяць лапухі?
Мне боль пякучы сэрца гложа,
І сына ўспомню я свайго,
А дзе магіланька яго,
Мне адказаць ніхто не можа.

3.

Я мімаволі ўспамінаю
І ў той куток імкнуся зноў,
Дзе жыў я ціха, як у раю,
З сваёй сям'ёю між дубоў.
Былі вы жывы і шчаслівы —
Ты, друг мой жонка, і ты, сын.
Нам пелі песні пожні, нівы,

Кусты надсвіслацкіх далін.
І вас цяпер няма са мною!
О, хоць бы Вам пачуць мой сум,
Зірнуць у вір гаротных дум
З яго бяздоннай глыбінёю!

4.

У тым кутку, утульным, гожым,
Слядоў пакінулі мы шмат,
І я ў астатнім падарожжы
Гляджу са скрухаю назад.
О, як хацеў бы я, самотны,
Зноў перажыць той добры час!
Ды палінялі ўсе палотны,
Што сонца ткала нам для нас.
І ўсе сляды паастывалі,
Даўно пасыпаны пяском,
Пазарасталі вераском,
Іх пазмывалі часаў хвалі.

5.

Мой мілы сын! мая Маруся!
Нас разлучыў няўмольны лёс.
За вас зямлі я памалюся
І акраплю расою слёз.
Я падыбаю ў людзі далей
Адзін дарогай, што люблю,
Дарогай, вызначанай змаля,
І ў пуць сыноў благаслаўлю.
Цяпер жа ў «Хату рыбакову»,
Што я пачаў у тым кутку
Ў саракавым яшчэ гадку,
Ступаю з сумнаю прадмовай.

3—5. VII. 1946 г.

Этим отступлением я и начал работу. Посылаю Вам, чтоб Вы прочли его в наказание за Ваше молчание.

Дописываю письмо — надо спешить в Академию. Оттуда надо отправляться на совещание по пропаганде. Это совещание продлится три дня. Затем городская, а потом областная партийная конференция, делегатом которых я являюсь. Жду письмо. А сейчас жму крепко Вашу руку. Сердечный привет сыновьям и «маме» Любе.

Всего наилучшего. Якуб Колас

* * *

24. IX. 1946 г.
Москва

Мой дорогой друг, милая, славная Светлана.

Сегодня уезжаю в Минск. Билет в кармане. Поезд уходит в 9-50 м. вечера. В буфете на 4-м этаже (а я остановился на 3-м) встретил одного человека, который уже пребывает в Ташкенте. Говорили об особенностях его, о его своеобразной красоте, уюте. Когда я вспомнил все это, перед моими глазами все время стояла лучезарная Светлана. За час перед этим был в ГИХЛе. Головенченко, директор издательства, дал мне для ознакомления мою книгу избранных стихов, напечатанных в Берлине. Я встретил в ней стихи в Вашем переводе — «Салар», «Узбекистану», «На могиле партизана». Все это очень живо воскресило в памяти хорошее, ташкентское прошлое, освященное прекрасным образом очаровательного моего друга Светланы. Расставаясь с

холодной, неуютной Москвой, я решил написать Вам несколько дружеских строк. О холодности Москвы я говорю в климатическом смысле. Вот и сейчас я живу в полном облачении, повязав голову, лысую, шарфом, чтоб не так было холодно... Устал я, дорогой друг. Силы иссякают, как влага в чешме в засушливую погоду. Пишите, как живете. Вспоминаете ли обо мне? Как Ваши дела? Крепко жму руку, целую, обнимаю.

Жду от Вас письма.

Всего наилучшего. Привет Вашему дому.

Якуб Колас

* * *

20. X. 1946 г.
Москва.

Мой чудесный, неповторимый друг!

Уносит время мою ладью все дальше и дальше от моих ташкентских дней. *Но не меркнут в памяти и в сердце эти дни. Вот эта живучесть азиатских впечатлений и все, что способствовало их прочности, и сказало мне — напиши Светлане письмо. Пусть ты в ее жизни маловесомая величина, пусть она пренебрежительна к тебе, пусть не дочитывает до конца твоих писем (это ей совсем неинтересно), но все же напиши: ведь это — потребность твоей души. Таким предисловием начинаю свое письмо.*

Я знаю, Вы не ответите и на это мое письмо, как не отвечали и на многие мои письма. Но, м[ожет] б[ыть], Вы послали мне письма на мой минский адрес: из Минска я выехал уже больше недели тому назад. Закончилась сессия Верховного Совета. Разъезжаются депутаты, и мне тоже хотелось бы уехать домой, но жизнь складывается так (не жизнь — это сказано непродуманно), что мне надо задержаться на несколько дней. Завтра состоится пленум Комитета по *Сталинским* премиям. Послезавтра надо выступать по радио, а еще через день, 24/X, будет вечер в Союзе писателей, посвященный 40-летию моей литературной жизни... Хорошо было бы, Светлана, если бы эти 40 лет были пределом моей сегодняшней жизни, проще говоря, хорошо было бы, если бы мне было сегодня 40 лет. Ведь жизнь-то очень интересна. Тот, кто создавал нашу жизнь, — величайший писатель, мастер занимательнейшего сюжета, интриги в ходе развития событий жизни. Переворачиваешь одну занимательную страницу нашей жизненной эпопеи и с напряженным вниманием переходишь на следующую — так далее и так далее. И остается тот же жгучий вопрос: ну, а что дальше? Вот в этом-то и весь секрет нашей привязанности к жизни, и горе тому, кому уж немного осталось в жизни, чтобы дойти до ее последнего рубежа. А я, *Светланочка,* не так уж и далек от этого рубежа... Я присматриваюсь к жизни в гостинице. Ведь в ней много людей работающих, обслуживающих гостиницу. Раньше я как-то не замечал их. А сейчас кое-что попадает в мое поле зрения. *Многие помнят Вас и очень хорошо о Вас отзываются. Оказывается, от их внимания не ускользнули мы с Вами. И мне сказала одна женщина: «Она» (Светлана) ведь не любила Вас (меня). Для меня это не было откровением и открытием Америки, меня только заинтересовал тот факт, что малейшие скрытые винтики во взаимоотношениях между людьми не ускользают от человеческого глаза...* Да Вам, конечно, неинтересна вся эта история... Хотелось бы мне знать, как Вы живете, как годуются Ваши милые, хорошие «янтарики».

Привет Вашей маме, самый глубокий и сердечный. *Крепко Вас обнимаю и целую в лоб, как близкого дорогого человека, сошедшего для меня в гроб, даже не сошедшего, а всегда лежавшего в гробу (для меня).*

Я. Колас

P. S.

3/XI 1946 г. будет у нас устроен день, посвященный 40-летию моей литературной деятельности. *Поздравьте хоть меня.*

Я. Колас

* * *

21. XI. 1946 г.

Мой дорогой, далекий друг!

Зимний вечер. В другие годы надо было сказать не зимний, а осенний вечер. В этом году зима повела себя довольно нахально: пришла месяца на полтора раньше обычного. *Да, Светланочка: зима!*

А у меня идет строительство, расширяю свой крохотный домик, в котором трудно повернуться, ставлю пристройку для кухни, потому что ее у меня почти нет. Пристройка кирпичная, двухэтажная. На втором этаже смастерю себе мирную обитель из двух комнат. И еще строю гараж. *Машина у меня прекрасная, а стоит под открытым небом, и заводить ее на холоде очень трудно. Строительство идет медленно, работают немцы, а работа их — все равно что мокрое горит, хоть, правда, дров моих они сожгли много. Поскорее бы избавиться от них. Мой домик холодный — немцы тоже строили. Я сижу в зимнем кожухе. В нем тепло и уютно, словно в Ташкенте в Светланином уголке. Вспоминаю Ташкент. Светлану вспоминаю очень часто. Я уж перестал обижаться на нее. Как видно, она дала обет богу — не писать мне писем и свой обет выполняет свято. Ну что ж? Ничего не поделаешь. А ведь меня очень интересует Ваша жизнь, а я о Вас решительно ничего не знаю. А мне хочется знать обо всем: и как Вы живете, что делаете, что сделали, что собираетесь сделать. Как поживают Ваши милые хлопчики, как здоровье мамы. И не узнаю. Разве случайно узнаю от лиц из Ташкента, кого я знаю и кто кое-что может знать о Вас.*

О себе что писать? Да и желания нет писать о себе. В свой последний приезд в Москву был на своем вечере в клубе писателей. Вечер прошел тепло. Много было прочтено стихов. 2/XI был мой вечер в Минске — отмечался мой сорокалетний юбилей. Получил Вашу телеграмму, хорошую, сердечную. Очень благодарен Вам за память, за доброе слово. С юбилеем еще не закончено. Надо еще побывать в Доме офицеров и в университете. Два вечера 24/XI.

Сейчас понемножку работаю над поэмой «Рыбакова хата», отрывок из которой Вы перевели в Ташкенте. Начал 23-ю, предпоследнюю, главу поэмы. До Ташкента было написано 17 глав.

Чувствую себя одиноким, старым, уходящим из жизни. Радостей у меня нет. Живу вдали от своих коллег, с которыми встречаюсь изредка.

Да Вам, может быть, неинтересно слушать все это. Тоже не буду знать и об этом. *Так пусть это письмо хоть слегка напомнит Вам о наших днях, прожитых в Ташкенте.*

Привет Вашему дому.

Крепко жму руку.

Глубоко помнящий Вас Ваш далекий друг

Якуб Колас.

Минск, ул. Пушкина, 56.

* * *

21. VI. 1947 г.

Далекая, но дорогая и милая Светлана!

Уйти от того, что пережито и перечувствовано, нельзя. Вот почему мне дорого все, что напоминает о Вас: и дымка тумана, опоясывающая неясные очертания далеких гор вокруг Ташкента, и самый Ташкент с его стройными

тополями, и арыки, как-то значительно и неумолчно булькающие летом — днем и ночью — вдоль улиц, и сами улицы, и Мельничный переулок, куда я очень часто заглядывал с большим волнением, а иногда просто как вор, и тот колодец, куда я сопровождал своего кумира и помогал ему нести воду, и горлинки, воркующие, словно добродушные старушки, и своеобычный стук в закрытые ворота... Но ведь очень трудно перечислить все своеобразие далекого города, где мне довелось помимо моего желания провести несколько и тяжелых, и радостных лет. Но не хочу на этот раз быть в письме и логичным, и последовательным. Если Вам хоть в какой-то степени желательно знать обо мне, то скажу кратко: устал я, измотался, мало ем и почти что не сплю. Я переутомлен до крайнего предела. В январе текущего года закончил поэму «Рыбакова хата». Один отрывок из нее Вы перевели на русский язык.

Я зноў хачу, як і калісьці,
З адкрытай, простаю душой
На стык дарог знаёмых выйсці
І пераклікнуцца з табой.

После этой поэмы я не работаю над каким-нибудь значительным произведением. А хотелось бы приступить к прозе и написать большую и яркую книгу о партизанской войне белорусского народа, показавшего, как никакой иной народ, образцы мужества и героизма в этой войне. Составил анкету с целью собрать материал. Но пока никто не отозвался. У меня остались хвосты на моем литературном поприще. Хочется дописать трилогию — «У палескай глушы», «У глыбі Палесся» и еще третью книгу, дополняющую две упомянутые. Если жизнь отведет мне еще пяток лет и не отнимет здоровья, которое у меня иссякает, то, может быть, одну из этих работ я сделаю.

Как живете, Светланочка? Как Ваши «янтарики»? Должно быть большие. Помнят ли они меня? Напишите подробно. Не напишете, я расценю это как Ваше нежелание поддерживать дальнейшее знакомство и дружбу. И тогда я умолкну навсегда.

Я — дед. Михась сделал меня таковым. Внук мой — Сергей. Ему один месяц и 15 дней. У меня сейчас гостит Сергей Городецкий. Работает над окончательным редактированием перевода моей поэмы «Новая земля».

По старой дружбе обнимаю, целую.

Якуб Колас

* * *

13. XI. 1947 г.
Кисловодск.

Дорогая Светлана!

1 октября я выехал из Минска, направляясь в Кисловодск. Приехал сюда 6 октября. Срок моего пребывания на курорте заканчивался 2/XI. Но волей судеб я вынужден был задержаться против своего желания. Я заболел, и болел очень серьезно. 9 ноября я встал с постели, пролежав дней пятнадцать. Сейчас я со скрипом поправляюсь и жду вагона-салона, который вышел из Минска 11 ноября. Едет мой старший сын и один из наших поэтов, Максим Лужанин. Вагон-салон для меня очень кстати. Это — самый лучший путь добраться домой, так как экспресс «Кисловодск—Москва» с первого ноября отменен, и добираться надо электричкой до Минеральных Вод, а там ожидать бакинский поезд. Одет же я по-осеннему, тогда как время идет к зиме. Здесь я застудил легкие. Они у меня очень слабые. В прошлом году я очень тяжело болел воспалением легких — крупозным.

Возможно, что дома меня ожидает Ваше письмо. Перед отъездом из Минска я получил от Вас телеграмму, в которой Вы сообщали о Вашем большом горе.

Я не знаю, какое это горе. М[ожет] б[ыть], с Любовью Михайловной случилось какое-нибудь несчастье?

В последнее время, еще до поездки в Кисловодск, я чувствовал себя очень плохо: страдал бессонницей, чрезмерной усталостью и слабостью. Я вообще не люблю курортов. Это — четвертый мой выезд на курорт. Кроме неприятностей, я ничего не имел от них. В Кисловодске я уже второй раз. Первый раз я был здесь в 1924 г., когда Вы были еще девочкой лет 10. Тогда на обратном пути у меня утащили чемодан, в котором находилась законченная в Кисловодске рукопись поэмы «Сымон-музыка». Так она и пропала — черновиков я не сохранил. *Кроме того, я тогда при моей тогдашней худобе потерял 14 ф. веса. Сейчас я с удовольствием жду прибытия вагона, который должен прибыть числа 15. XI.*

В этом году я не работал над каким-нибудь значительным произведением. Закончил лишь большую поэму «Рыбакова хата», один из отрывков которой Вы перевели в Ташкенте на русский язык.

Со мной в Кисловодске пребывал Александр Николаевич Тихонов, которого Вы хорошо знаете по Ташкенту. Он уехал 11 ноября, значительно поправившись.

Как живете, *милая* Светлана? Что делаете? Как Ваши хлопчики? Они уж выросли. Целуйте их. Пишите мне в Минск — Академия наук. *Крепко жму руку, целую.*

Желаю всего наилучшего. Якуб Колас

* * *

20. IX. 1948 г.

Дорогая Светланочка!

Вы уже забыли меня, конечно, но не настолько, чтоб напоминание обо мне не вызвало никаких представлений о том, кто в тяжелые годы войны жил в Ташкенте, часто навещал Дом писателя и дом № 16 во втором Мельничном переулке. Об остальном можно не упоминать. В мою бытность в Москве этого года Вы передавали мне, чтоб я навестил Вас. Находились Вы тогда за городом. Приехать я не мог. Написал Вам письмо. Не знаю, получили Вы его или не получили, так как ответа на него не было. Меня сильно расстроил тогда С. Городецкий, отказавшись от дальнейшей работы над улучшением текстов перевода моей поэмы «Новая земля». А текст перевода очень и очень нуждался в исправлениях и правках. С[ергей] М[итрофанович] был возмущен тем, что перевод, над которым главным образом работал он, был признан не совсем удовлетворительным. Выход был найден в том, что я договорился с одним из переводчиков, Петром Андреевичем Семыниным[12], чтоб он от начала до конца пересмотрел текст переводов. Он приехал ко мне в Минск 21 мая, работал до 18 июля, работал по 15 часов в сутки. После его просмотра и исправлений я вместе с *моим секретарем* поэтом Лужаниным еще раз просмотрели переводы, нашли немало мест, которые надо было исправить. 9 сентября опять приехал Семынин. С большинством наших правок он согласился, многое исправил от себя, перевод сдал в издательство. Еще в бытность Семынина у меня я заболел воспалением легких. 7 июля слег. Болезнь затянулась. Раза три за этот период я то выздоравливал, то снова начинал сначала. 9 сентября, в день приезда Семынина, меня отвезли в стационар при лечкомиссии. Отсюда я и пишу Вам, *милая и дорогая Светланочка.* Сейчас процесс в легких как будто закончился. Но ослабевший организм поддается легко всяким иным заболеваниям. Теперь вожусь с желудком. На лице появилась какая-то зудящая краснота. Лицо заштукатурили какой-то белой мазью. С этой штукатуркой я и пишу Вам, *дорогой друг!* Но и желудок и краснота — вещи второстепенные. Важно, что в легких все чисто, что температура нормальная, что 24 сентября я собираюсь ехать домой. Так и ушло все лето, мое самое лучшее время в году. Мне даже не удалось ни разу поехать в мои любимые леса и пособирать боровиков.

Вот и все о себе.

Как поживаете Вы, мой дорогой друг? Как здоровье Славика? Как поживает мой дорогой друг, подаривший мне запонку? Как здоровье мамы? Как Вы сами здоровы? Какие события произошли в Вашей жизни?

Напишите подробно, или хоть коротко, если Вы еще не забыли окончательно того, кто так сильно страдал из-за Вас.

Крепко целую. Якуб Колас

* * *

14.X. 1948 г.

Милая, дорогая Свет-Ланочка!

Ваше хорошее письмо от дальних гор Узбекистана меня взволновало. Долго-долго в моих глазах стоял Ташкент с его богатыми парками, скверами, тополями, дубами, платанами, карагачами и шумными арыками, все лето до зимы нашептывающими какие-то свои заботы, свои сокровенные думы. Очень разнообразен и своеобразен Ташкент для того, чтоб вспомнить и упомянуть все его картины. В моей памяти он живет прочно, сверкая многообразием своих картин и пробуждая в ней уже далеко ушедшие переживания. Я и сам не один раз думал, как хорошо было бы навестить Ташкент, потолкаться по его улицам, площадям и базарам. Но далек, очень далек Ташкент, и трудно мне при моем здоровье сделать поездку туда, *где живет милая Светлана со своими подрастающими сынками. Теперь, пожалуй, я уже не увидел бы Ваших знаменитых козочек, а на Вашем участке, наверно, больших перемен не произошло.*

Пишу Вам все из той же палатки, в которой я написал Вам свое первое письмо. 24/IX я выписался. Но недолго побывал дома: 27/IX я вновь заболел воспалением легких, а первого октября опять вынужден был отправиться в стационар, где нахожусь и сейчас. Очень ослабел за эту проклятую болезнь. Ведь с 7 октября пошел четвертый месяц моей болезни. Пропало мое лето, ради которого я живу год. Не пришлось мне побывать в моих любимых сосновых лесах в 75 километрах от Минска, а в этих лесах так много боровиков, а среди этих лесов находится небольшой колхоз, с которым я по возможности держу связь и над которым до некоторой меры шефствую. Дал пять тысяч рублей на приобретение инвентаря, выхлопотал грузовую машину, которая явилась большим подспорьем небольшому колхозу. А председателем колхоза мой тезка и ровесник и мой большой друг. С каким удовольствием проводил я время в его доме *за доброй чаркой горелки и при прекрасной белорусской ветчине и колбасе!* А какая это для меня радость побродить по знакомым дорогам и тропинкам среди молодого соснового леса, где такое обилие боровиков! А как приятно находить боровики, такие красивые, привлекательные, так сильно запечатлевающиеся в глазах! Но Вам, *Светланочка,* незнакома и непонятна эта радость и этот восторг грибника.

Второй день, как перестали накачивать меня пенициллином. Температура нормальная. Вообще процесс в легких проходит быстро, но на организме это сказывается очень сильно. Все прошло, пропала сила, притупился взгляд. А как раз приходит такое время, когда надо крепко взять в руки перо и поработать. *1 января 1949 г. исполняется 30 лет существования Белорусской Советской Республики. Исполняется 30 лет Ленинского Комсомола. Недавно «Комсомольская правда» прислала письмо — просит дать стихи к 30-летию комсомола. За болезнь я разучился работать, всякая такая работа утомляет, а написать комсомолу надо бы. Писал я ему много, но и еще есть о чем писать.*

Что Игорь Андреевич потянулся к семье и дому, это, конечно, неплохо. Пусть не будет никакой горечи в душах Ваших милых хлопчиков. Что поделать? К сожалению, перед людьми много искушений, соблазнов, мы же еще не создали такого прочного бытового устоя и моральных принципов, которые бы крепко и надежно руководствовали нами.

Милый мой, дорогой друг, желаю Вам успехов, мирного и радостного благополучия. Не забывайте того, кто больше всех на свете любил Вас и желает Вам счастья.

Крепко целую. *Якуб Колас*

Привет Вашему дому и моим друзьям — писателям-узбекам.

Я. К.

* * *

5.1.1950 г.

Милая, дорогая Светланочка!

Очень благодарен Вам за память, за поздравления с Новым годом. Хоть уж и поздно, но все же в январе мое письмо дойдет к Вам, и я от всей души, от всего сердца поздравляю и Вас взаимно, желаю здоровья, радости. Я часто-часто, каждый день вспоминаю Вас, и Ваш образ крепко живет в моих мыслях. Когда я находился в Москве (6—27. XII. 1949 г.), я думал написать Вам, кое-что послать Вам. Но не все делается так, как хочется. Ташкентский радиокомитет прислал мне письмо — просит написать в адрес УзССР в связи с ее двадцатилетием. Я послал поздравление. Не знаю, использовано ли оно. Вчера собирался поехать в Москву — 8. I. состоится голосование кандидатур на Сталинские премии. Но я неважно чувствую себя. Мой врач категорически воспротивился этой поездке. Кроме всего прочего, меня устрашил московский мороз, 30! Поездки для меня уже тяжелы. Одряхлел я, Светланочка, отяжелел. Мне трудно ходить. Похожу немножко, и сейчас же начинает болеть правая нога, пониже бедра. Сон у меня плохой. И дел больших не делаю, а устаю. Ложусь в постель рано, чтоб дать отдых усталому телу. Я почти нигде не бываю, никуда не хожу. Больше 2-х месяцев только то и делал, что писал разные статьи по разным поводам. В Москве во время семидесятилетия И. В. [Сталина. — *В. Р.*] *мимоходом встретился с Усманом Юсуповым. Он пригласил меня в Ташкент, где все мои немощи прошли бы, по его словам, бесследно. Я часто вспоминаю прекрасный, ласковый, уютный Ташкент. В моих ушах живут воркования горлинок. Какие это милые птицы!*

Напишите, Светланушка, о себе, о Ваших детях-янтариках. Как Ваша творческая и семейная жизнь? Привет всему Вашему дому и Вашим, а также и моим друзьям — узбекам и узбечкам. Как поживает милая Зульфия? Я видел ее в Москве, но встретиться с ней не пришлось.

Будьте счастливы.

Ваш друг Я. Колас.

Минск, БССР, ул. Пушкина, 56.

* * *

18. IV. 1950 г.

Дорогая Светлана Александровна!

Всегда так будет, как бывало —
Таков издревле белый свет:
Ученых много, умных мало,
Знакомых тьма, а друга нет.

Не знаю, почему вспомнились мне эти стихи, если не ошибаюсь, пушкинские. Очевидно, к этому был какой-то внутренний повод, о котором не собираюсь говорить.

Уже давно, кажется, в конце прошлого года послал я Вам письмо. Спустя некоторое время, уже в начале нынешнего года, в первых числах января, я послал

Вам денежный перевод. Время проходило. Ни на мое письмо, ни на денежный перевод ответа от Вас не было. Лишь не очень давно, с месяц тому назад, я свой денежный перевод на Ваше имя получил обратно, так как деньги не были востребованы. С одной стороны, меня это очень удивило и обеспокоило, а с другой — сильно огорчило. Извещение о посылке денег Вам было доставлено, как это было отмечено на переводе. В чем же дело? Здоровы ли? Живы ли?

Приближается день 30 апреля — годовщина Вашего рождения. От всего сердца поздравляю Вас и от всей души желаю Вам поэтических успехов, удач в жизни, радости, счастья, благополучия.

Привет Вашему дому.

Крепко жму руку.

Ваш старинный друг Якуб Колас.

Минск, ул. Пушкина, 56, Якубу Коласу.

* * *

20 января 1951 г.
Барвиха

Милая, дорогая Светланочка,
Краса Узбекистана!

Писал я Вам из Кремлевской больницы. О своем состоянии здоровья я уже говорил Вам в том письме. Болел я тяжело. Дело было не в одних только легких, но главным образом в сердце и вообще во всем организме. Признаться Вам, я уже подумывал о последнем пристанище всей жизни бренной. Так, очевидно, думала и Софья Анатольевна, чудесная женщина и мой лечащий врач. Потом она мне сказала, что самое страшное осталось позади. Поступил я в больницу 17 октября 1950 г., а выписался и поехал отдыхать после больницы и набираться сил в подмосковный санаторий Барвиха III. Здесь я почувствовал себя лучше. Основное лечение — воздух и кислород. Здесь хороший санаторный лес, который я так люблю. Но беда моя в том, что ноги мои отяжелели, и много ходить я не могу. Кроме того, время от времени напоминает о себе мое старое сердце. В Барвихе пробуду до 9 февраля. А потом уеду в Минск, о котором я очень соскучился. Соскучился также и о внуке Сергее Михайловиче. Он уж по телефону говорил мне, чтоб я скорее возвращался. А дома он жаловался: «Нет деда Якуба, и некому купить мне шоколаду». По возвращении домой в половине февраля придется совершить поездку к своим избирателям, которые выдвинули меня своим кандидатом в депутаты Верховного Совета Белорусской ССР. Такие поездки уже тяжелы для меня. Опять начнут звонить редакции газет. Эта мелкая работа по поводу очень много отнимает времени, а результаты — кот наплакал. Мне хотелось бы еще закончить свою большую поэму, начатую много лет тому назад, «На шляхах волі». Это очень большая поэма. Для прежнего времени, когда я был в силе, это заняло бы не более как полгода работы. В поэме описываются события Первой империалистич[еской] войны. Написано 26 глав из 30. Многие главы пропали во время войны — те, что не были напечатаны. Кроме того, хочется написать цикл стихов о старости. Ведь мало кто писал о ней. А зачем обижать ее?

Милая Светланочка! Дайте знать о себе, как живете, как Ваши «янтарики»? Пожалуй, недалеко то время, когда красавица Светлана станет бабушкой. Если не забыли меня до такой степени, что уж и писать нет охоты, то напишите мне на минский адрес. Ведь очень уж далеко мы друг от друга.

Привет Вашему дому.

Напишите о себе, о своей работе.

Крепко жму руку, целую.

Якуб Колас

* * *

9. I. 1953 г.

Светлая — Лана, далекий мой и неповторимый друг Светлана!

Сегодня в кипе разных писем, поступающих ко мне почти ежедневно, очутилось и Ваше письмо, как вольфрам в груде различных горных пород. «Вольфрам», пожалуй, звучит по-американски. Ваше письмо заслуживает в сотни раз лучшего определения. Оно взволновало меня. Яркий, солнечный кусок жизни с ее, увы, невозвратными картинами встали перед глазами как живые...

С тех пор много прошло дней, много волн унесли реки. Мне трудно без внимательного осмотра пройденного пути от Ташкента до Минска начать это письмо. Но ведь это — только письмо, не поэма и не научная диссертация. Поэтому разрешите мне быть вольным, свободным, как и мысль человека.

Почему первые два слова сего письма звучат необычно? Слово «Светлана» я расчленил и написал два вместо одного. Не знаю, каким путем и в силу каких причин у меня появилось обыкновение некоторые слова разлагать подобным образом. Например, слово «горчица» я представляю, как «горькая — чица», «добродетель», как «добрая детель» и т. д. Это, конечно, к делу не относится. Очень рад, что стихи, посвященные Вам, вызывают воспоминания. Вы называете их грустными. Иными они и не могли быть: они исходили от глубоко раненного сердца, а та, кому они адресовались, не прислала мне даже краткой открытки. Не сочтите это за упрек. Все это — прошлое, архив пережитых чувств и волнений. Вашу хорошую мысль — навестить меня в Минске и захватить с собой мои-Ваши стихи я приветствую. Действительно, из Москвы до Минска всего 700 километров. Я буду очень рад видеть Вас гостьей, желанной, дорогой в моем доме. Кстати, посмотрите на столицу Белоруссии. Минск совершенно новый город, возникший из печальных руин. Посмотрите и мой домишко, построенный к моему семидесятилетию нашим правительством.

Я очень устал. В Москве, куда ездил я в конце ноября 1952 г. на свои юбилейные вечера, я простудил зубы, ходил с распухшей щекой на три вечера. Потом разрезали десну, а в Минске пришлось вытащить остаток зуба, причинившего мне столько неприятностей. Даже и сейчас еще не зажила десна и место, где когда-то был зуб. Я никуда не хожу — ни в театр, ни в кино, ни на концерты. Это для меня уже тяжело. Сон мой очень плохой. Иногда, и довольно часто, я не сплю всю ночь напролет. Мне нужен отдых, а его я никак не умею завоевать. В этом месяце собираюсь поехать в подмосковный санаторий Барвиху. Как депутата Верховного Совета меня засыпают письмами с разными заявлениями, жалобами и просьбами. Приходится так или иначе отзываться на них и писать в газеты по поводу тех или иных дат. А силы и здоровья нет. Вы спрашиваете, дружу ли я с кем. Как Вам сказать? Для меня женщина то же самое, что для благочестивого христианина икона. Мне нужно молиться на нее, но мои молитвы остаются втуне, разве только как стихи, которых я не записываю в свои тетради...

Будьте же счастливы. Стихи Ваши о Сталинграде я читал в «Звезде Востока». Хорошие. Целую Вас. Пишите мне.

Я. Колас

* * *

25 января 1953 г.
Ст. Барвиха Мос[ковской] области.
Санаторий Барвиха, 1-й кор[пус], 6 пал[ата].

Дорогая Светланочка!

Я послал Вам письмо и семь томов своих книг на белорусском языке. Вчера к вечеру прибыл в Барвиху, откуда и пишу Вам, дорогой друг. Перед поездкой находился в Минске в лечкомиссии, правда, недолго — шесть неполных дней. За

последнее время устал, да и годы дают знать о себе. Ноги быстро устают. Ходить много не могу — в ногах сужение кровеносных сосудов. Надо бы поехать в Грузию, на курорт Цхалтубо. Но это можно осуществить лишь в том случае, когда сердце окажется способным переносить ванны цхалтубского потока. В Цхалтубо имеется такая река, в которой вода сохраняет одинаковую температуру во все времена года — 34°. На этой реке и построены ванны, где больные лечат свои разные болезни. Сегодня у меня что-то разгулялось сердце. Не ходил на концерт, а сидел на балконе, как француз под Москвой, укутанный одеялами. В Барвихе моя путевка кончается 22 февраля. 25. II. предполагается декада белорусской литературы и искусства. Но состоится ли она, определенно сказать нельзя. Если приедете в Москву в феврале, то в первый воскресный день наведайтесь в Барвиху. Здесь недалеко, 30 километров. Успеете написать, напишите, а если нет, пишите в Минск. Как поживаете? Что делаете? Как здоровье?

Крепко-крепко целую. *Я. Колас*

* * *

2 мая 1954 г.

Дорогая Светланушка!

Посылаю Вам коротенькое письмо из Москвы — поздравляю с днем рождения. Домой приехал больным, усталым, удрученным старостью. Накопилось много писем на мое имя. Все утро сидел, читал, отвечал на разные заявления, поступившие от избирателей. Помню Ваше поручение — написать А. Твардовскому[13]*. Как мне сообщили, А. Твардовский был в санатории Барвиха. Квартиру свою он переменил. Где она, не знаю. Разузнайте его адрес в Союзе писателей и пришлите мне. Я немедленно напишу ему. А тем временем Вы подбирайте материал для проектируемого сборника.*

Как Ваше здоровье?

Я немного гриппую. Вчера был на Первомайской демонстрации. У нас шел дождь. До конца не был — ушел: одолел кашель. Всего наилучшего.

Целую. *Я. Колас*

* * *

12. IV. 1955 г.

Дорогая Светланушка!

Стихи, посвященные Вам, пересылаю по принадлежности. Я переписал их в свою тетрадь. Перечитывая, пережил то грустно-сладкое волнение, которое так сильно встревожило меня.

В феврале я перенес тяжелую операцию, был на волоске от смерти — упустил время операции (аппендицит). Начиналось воспаление брюшины. Теперь я немного ослабел. 22-й раз болел воспалением легких, начиная с апреля 1946 г. Вскоре после операции заболел воспалением легких. Как Вы живете? Обиделись Вы на меня, но я никак не мог исполнить Ваше желание. У меня в доме 3 семьи. В доме отдыха было бы хорошо, но Вы ничего не написали.

Всего, всего доброго, дорогой друг.

Целую. *Якуб Колас*

* * *

8 ноября 1955 г.

Мой милый и дорогой друг Светлана!

Я необычайно был рад получить от Вас в день моего рождения поздравительную телеграмму. Большое-большое спасибо за память. Прошу у Вас прощения с своей стороны, что не послал Вам хоть маленькой весточки в дни октябрьских праздников. Ни своего дня рождения, ни праздников я не видел, а только слышал. И печальнее всего, что не выпил доброй, даже плохой чарки вина, и в этом не моя вина. За несколько дней до дня своего рождения я пережил большую нервную бурю. Она смяла меня, разломила, казалось, крепкого, как дуб, человека. В связи с этим у меня поднялось кровяное давление — 265—145. Меня уложили в постель, поставили пьявки. Мое помещение изолировали от нижнего и не позволяют до дня сего спуститься вниз, чтоб я не ходил по лестнице. Думаю, что в этом надобности нет: не такая уж большая и крутая лестница — 20 ступенек, отлогих дубовых с перилами. Великие охранители моего здоровья отдали в химическую чистку все мои штаны, дабы я не прорвался на улицу, на простор земли. Все это меня крайне удручало — обидно было попасть в положение моего 4-летнего внука. И я сижу взаперти, как собака, привязанная на железную цепь. Я потерял сон. Был такой день, когда я никак не мог заснуть. У меня был бромурол, в сущности, безобидное снотворное. Я проглотил 4 таблетки. Когда сие обнаружилось, сестра-сиделка, фельдшер по профессии, подняла тревогу — притащила графин воды 2,5 литра. Меня заставили пить воду, а потом дали ложку, чтоб я искусственно вызвал рвоту. А потом дали магнезии. Все это делалось с благим намерением очистить желудок. Назавтра умный врач-невропатолог посмеялся над злосчастным бромуролом и над всей возней по очистке желудка... Каждые сутки постоянно дежурят сестры-сиделки. По этому поводу я написал своим врачам четверостишие:

О дактары! Узлёты вашы мелкі,
І вы да іх прывыклі змалку.
Чаму ж, чаму замест сядзелкі
Вы не прызначыце ляжалку?

Много написал я Вам разной лухты, а читать-то нечего. Прошу отнестись к моему письму как написанному больным человеком.

Напишите, Светланочка, о себе, о своей жизни. Возможно, что в дни 20 съезда компартии СС я буду в Москве. Тогда и увидимся.

Желаю Вам здоровья, удачи во всех Ваших начинаниях. Крепко целую.

Ваш Якуб Колас

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] И. А. — Игорь Андреевич Герарди (1911—1983), муж Светланы Сомовой.

[2] В оригинале письма ошибочно указана дата смерти Кузьмы Чорного (22 ноября), на самом деле писатель умер 23 ноября 1944 г.

[3] Даник — старший сын Якуба Коласа Даниил Константинович Мицкевич (1914—1996), ученый-химик, заслуженный деятель культуры Беларуси, организатор, директор (1957—1980) и старший научный сотрудник (с 1980 г. и до конца жизни) Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа в Минске.

[4] М. Д., Маруся — Мария Дмитриевна Мицкевич (1891—1945), жена поэта.

[5] ГИХЛ — Государственное издательство художественной литературы (Москва).

[6] Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — русский поэт, друг Якуба Коласа и переводчик его произведений на русский язык.

[7] Михась, Михасик — младший сын Якуба Коласа Михаил Константинович Мицкевич (род. в 1926 г.), доктор технических наук, лауреат Государственной премии БССР, нынче сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.

[8] Нимфа Алексеевна — жена Сергея Городецкого.

[9] В честь 60-летия народного поэта Беларуси одна из центральных улиц Ташкента — Асакинская — была переименована в улицу Якуба Коласа.

[10] Строки из стихотворения Якуба Коласа «Крынічка» в переводе Светланы Сомовой.

[11] Мозольков Евгений Семенович (1909—1969) — русский литературовед и переводчик, лауреат Государственной премии СССР, исследователь творчества Якуба Коласа. Родом из Беларуси.

[12] Семынин Петр Андреевич (1909—1983) — русский поэт, переводчик и редактор переводов произведений Якуба Коласа на русский язык.

[13] Твардовский Александр Трифонович (1910—1971) — русский поэт, лауреат Государственной премии СССР, главный редактор журнала «Новый мир» (1950—1954; 1958—1970), переводчик произведений Якуба Коласа на русский язык.

Перевод с белорусского.



Магия Коласовского дома



Накануне 130-летия Песняра мы встретились с директором Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа Зинаидой Комаровской, чтобы поговорить о том, как сегодня хранят память о поэте в доме, где он прожил свои последние годы. Специально для читателей «Нёмана» Зинаида Николаевна рассказала об ауре Коласовского дома, о скрипах лестницы, незабудках в саду и том, как Якуб Колас исполняет желания посетителей музея.

— Первый вопрос, конечно же, об экспозиции: как она создавалась, какие изменения ожидают ее в юбилейный год?

— В Постановлении ЦК КПБ и Совета Министров БССР об увековечивании памяти Народного поэта Беларуси, принятом через три дня после смерти Якуба Коласа (умер 13 августа 1952 года) было и решение о создании музея в Минске и его филиала на родине поэта, в Столбцовском районе.

Из двух вариантов размещения музея — строительство нового здания или создание экспозиции в доме, где жил поэт последние годы, остановились по предложению сыновей на втором. В этом доме Якуб Колас жил и работал более 11 лет. Вернувшись из эвакуации в Минск, семья поэта поселилась в маленьком деревянном домике (дом Якуба Коласа сгорел на третий день войны). Позже, в 1946—1947 годах была сделана к нему небольшая пристройка, и только в 1952-м, к 70-летию поэта, был построен просторный дом.

Создателем музея и первым его директором был старший сын Якуба Коласа Данила Константинович Мицкевич.

Первая экспозиция была открыта 4 декабря 1959 года. Она была в основном литературная, из обстановки дома сохранили только кабинет поэта и спальню. К 100-летию со дня рождения Якуба Коласа, в 1982-м, был создан новый вариант экспозиции. Первый этаж здания посвящен литературному наследию поэта, автора всемирно известных поэм «Новая зямля», «Сымон-музыка», а на втором этаже воссоздана обстановка дома времен Коласа, чтобы посетители имели возможность познакомиться с укладом жизни писателя, материалами, которые рассказывают о



Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа.

том, как народный поэт Беларуси, вице-президент АН БССР, депутат Верховного Совета СССР и БССР работал, творил, принимал многочисленных посетителей, как писал последнюю книгу трилогии «На ростанях», последние рассказы, стихи, письма, поэму «На шляхах волі», которую так и не успел закончить.

Усадьба-музей Якуба Коласа — уникальный заповедный уголок нашей столицы. Входя сюда, с волнением прикасаешься к дверной ручке, за которую брался поэт, смотришь в зеркало — в это же зеркало смотрел Колас, по скрипучей лестнице направляешься в кабинет поэта, представляя, как тяжелыми шагами поднимался уже немолодой хозяин дома.

На столе лежат недописанное письмо русскому литератору Евгению Мозолькову, барометр, часы, ход которых остановлен в 13 часов 20 минут 13 августа 1956 года. И сегодня Дом Коласа живет, сохраняя традиции хозяина. Рядом с кабинетом (о котором поэт говорил: «...маленький, довольно темный закоулок, но теплый и в некоторой степени даже уютный») находится скромная спаленка, где возле кровати — радиоприемник, на стене — портреты жены Марии Дмитриевны (умерла в Москве в мае 1945 года, так и не вернувшись в Минск) и среднего сына Юрия (погиб в первые месяцы войны).

Несмотря на всемирную известность, по натуре Якуб Колас был очень скромным, простым человеком, неприхотливым в быту. Мебель, которая и сегодня вызывает интерес у посетителей музея, приобретали невестки поэта, поскольку Дом Якуба Коласа в послевоенном разрушенном Минске был одним из немногих мест, где могла собраться интеллигенция, куда могли зайти зарубежные гости.

В центре города, недалеко от шумного проспекта, в любое время года уютно и комфортно в усадьбе, где растут деревья, посаженные Якубом Коласом, где особенное чувство испытываешь возле четырех дубов и березки, которые посадил Якуб Колас как символы своей семьи. Каждую весну голубым ковром покрыта усадьба — это цветут незабудки — память о верной спутнице жизни поэта Марии Дмитриевне.

При подготовке новой экспозиции мы обсуждали с Данилой Константиновичем ее концепцию. Кстати, Данила Константинович был очень похож на отца.

Бывало, видишь в окно, как будто идет Колас — в шляпе, в пальто, направляется к дому. Это Данила Константинович идет в музей (дом сыновей стоит рядом с нами).

— Расскажите о современной экспозиции музея.

— Последняя экспозиция была создана в 2003 году.

Нам хотелось подчеркнуть мемориальность дома. Поэтому стиль и подача материала вызывают чувство динамичности. Стекло, использованное в оформлении, подчеркивает временность экспозиции, возможность вернуться в прошлое, когда здесь жил поэт (на первом этаже были спальни сыновей, столовая, малая гостиная).

Удачно использован в подаче документального материала принцип календаря. Посетители, знакомясь с экспозицией, как будто перелистывают страницы календаря — летописи жизни поэта. Отмечу, что Якуб Колас в последние годы коллекционировал календари, делая иногда на их страницах пометки. К примеру, в одном из них есть такая запись: «Дарагі мой каляндар! Няхай наступны будзе ў дар. 31. XII. 1953».

Экспозиция пользуется популярностью, и мы регулярно ее осовремениваем и вводим новые материалы.

— Значит, здесь, в Доме Коласа, есть аура?

— Да, и аура очень хорошая. Этот дом наполнен доброжелательностью, надежностью, которые были и при Коласе. Открою вам секрет: если засидеться на работе и остаться вечером одной, то обязательно услышишь еле уловимые шорохи. Дом по-прежнему живет, и как в доброй сказке, скорее всего, вещи, предметы общаются, анализируя наши дела.

Я верю в то, что вещи продолжают жить жизнью хозяина.

— На какие экспонаты вы посоветуете обратить внимание посетителю, чтобы почувствовать настроение, дух Коласовского дома?

— Сердце нашего музея — кабинет поэта: стол, за которым он работал, кресло, в котором сидел, множество книг, которые брал в руки, читал, ручка с пером №86. Я уже не говорю о рукописях, где почерк поэта отличается через годы, но всегда аккуратный и разборчивый.

В кабинете в уголке стоят тросточки, которые он сам любовно делал во время «тихой охоты», Якуб Колас очень любил лес, любил собирать грибы.

Если уж говорить о духе Коласовского дома, его тайнах, то хочу пооткровенничать: в этом доме есть некоторая магия. Сотрудники музея (а у нас работает очень инициативная, преданная делу молодежь) придумали такую акцию. Посетители ручкой Коласа на бумаге тех времен записывают желания. Первую акцию провели в ночь музеев два года назад. Акция длилась один час, желающих было очень много. Спустя некоторое время многие из принимавших участие нам сообщали, что желания сбылись. И в это чудо мы все верим, поскольку и здесь проявилась доброжелательность Якуба Коласа, его стремление помочь людям. Ведь в жизни он очень многим оказывал помощь, способствовал всем, кто к нему обращался.

— А сколько экспонатов сегодня находится в экспозиции?

— В фондах музея хранится более 35 тысяч экспонатов. Наиболее ценные для нас — это рукописный фонд (около 2 тысяч рукописей), личные вещи Якуба Коласа, книги с автографами, прижизненные издания.

И конечно же, экспозиция такой объем не может и не должна вмещать. Для ознакомления посетителей с коллекциями мы планово создаем выставки из фондов музея, около 15 в год. Поскольку музей размещен в жилом доме, мы, естественно, сталкиваемся с некоторыми проблемами: небольшие экспозиционные залы, отсутствие выставочных и лекционных помещений. В большой гостиной на втором этаже, которая может вместить не более 60—70 человек, проводим литературно-музыкальные вечера, встречи, праздники, научные конференции и т. д. В одной из комнат, где был воссоздан кабинет Якуба Коласа 1947—1952 годов,



Кабинет Якуба Коласа.

вынуждены открыть небольшой выставочный зал.

Сегодня есть возможность экспонирования коллекций из наших фондов, а также принимать выставки других музеев, работы художников.

— Кстати, как живет сегодня филиал музея? Может быть, там ожидаются какие-то изменения?

— Наш филиал создан на родине поэта, в Столбцовском районе, в его состав входят четыре мемориальные усадьбы. Акинчицы, где родился будущий поэт. Альбуть, где Якуб Колас прожил с 1890-го по 1902 год, которая описана в поэме «Новая зямля» как Поречье. Здесь он научился читать, написал первые стихотворения, отсюда уехал учиться в Несвижскую учительскую семинарию. В восстановленном доме в усадьбе Альбуть создана литературно-мемориальная экспозиция.

Усадьба Смольня. В собственном доме, где жила мать поэта с детьми, в августе 1912 года состоялась первая встреча Якуба Коласа и Янки Купалы. Здесь и сегодня радуют посетителей липы, посаженные поэтом в 1911 году, а в 2011-м по инициативе музея и Благотворительного совета заложен сквер «Дерево жизни», где посажены 63 деревца из разных регионов страны — символы выдающихся личностей Беларуси. Мемориальная усадьба «Ласток» размещена в 20 километрах от Столбцов, 12 — от Смольни. Это единственный сохранившийся дом, где семья Мицкевичей жила с 1885-го по 1890 год. Именно благодаря этому месту у Коласа, как мне кажется, и родилась поэма «Сымон-музыка». Коласа привезли в Ласток трехлетним, а уехала семья Мицкевичей отсюда, когда мальчику было 8 лет. Этот период — период самых ярких детских впечатлений, которые позже навеяли сюжет поэмы. Якуб Колас очень любил Ласток. Это замечательное место. Но дом требует реставрации. Ласток — мои многолетние хлопоты, моя тревога. Надеюсь, что со временем все-таки найдется возможность его отреставрировать и создать экспозицию, посвященную поэме «Сымон-музыка».

— А с другими музеями вы сотрудничаете?

— Конечно, у нас заключены договоры с родственными музеями. С Государственным мемориальным историко-литературным музеем-заповедником

«Михайловское» — там недавно побывала наша выставка, а их экспонировалась в нашем музее. Заключен договор с Киевским литературно-мемориальным музеем Максима Рыльского, с музеем Владислава Броневского в Варшаве, с Литературным музеем Пушкина в Вильнюсе. Налажена тесная связь с Курщиной. Курский период — значительный отрезок времени в жизни Коласа. Три года он жил и работал там: Обоянь, Липовец, Большой Липовец, Малые Крюки.

— Фильм «В поисках новой земли», который снял режиссер Евгений Сетько, знакомит зрителя с простым человеком Константином Мицкевичем и народным поэтом БССР Якубом Коласом. Например, зрители узнают о том, что в Обояни на семью Коласа из четырех человек приходилась 21 картофелина в неделю.

— Это из книги Максима Лужанина, где «Колас расказвае пра сябе» (Зинаида Николаевна тут же находит на столе книгу и цитирует. — *М. И.*): «Мое первое место учительства на Курщине — деревня Малые Крюки. От Обояни верст за одиннадцать. Мария Дмитриевна болела. Я поднимаюсь раненько, Юрка и Данила еще спят. Иду в школу, вечером иду назад — и так каждый день. Жили мы на одной картошке. На целую неделю была у нас на четыре души 21 картофелина. Я падал от бессилия. Крестьянин в Крюках как-то покормил меня и дал с собой кусочек сала. Такой праздник я принес в тот вечер домой!»

Это был такой тяжелый период жизни для Коласа. Но я думаю, что он получил крепкую закалку: и физическую, и духовную. Тем более что жизнь на Курщине стала сюжетом к многим произведениям Якуба Коласа: «Дачакаўся!», «Крывавы вір», «Курская анамалія», «Ванька кудлаты», «Пракурор», «Туды, на Нёман!» и другим.

— А какие факты из биографии Коласа удивляют вас?

— В музее мне все дорого. За годы работы, когда я соприкасалась с вещами поэта, изучала его рукописи, Колас стал мне ближе и понятнее. Особенно его последний, послевоенный период, когда он, вернувшись в разрушенный Минск, потеряв среднего сына, жену, чувствовал себя, несмотря на востребованность народного поэта со всеми регалиями, одиноким и уставшим. В фондах музея мы бережно храним небольшой листок, на котором в 1946 году Якуб Колас написал «Мой запавет»: «Я прыйшоў у жыццё не для сябе самога, я прыйшоў дзеля вас. Калі вам будзе добра (я тут разумею ўвесь комплекс жыцця), пойдзеце па праўдзівай дарозе жыцця, калі вы будзеце мець на ўвазе не толькі сябе, але і народ, які вас пусціў у жыццё, і калі вы будзеце жыць з народам дзеля народа, тады я скажу: няхай жа будзе шчаслівай ваша дарога».

Беседовала Марина ИВАНОВА.
Фото Константина ДРОБОВА.

Мой Колас

К 130-летию Якуба Коласа журнал «Нёман» попросил известных писателей, актеров, художников, деятелей искусства поразмышлять о том, что значит это имя для Беларуси и лично для них.



Владимир ЛИПСКИЙ,
писатель, главный редактор журнала «Вясёлка»

Не поверите, совсем недавно рассекретил (и только для себя) свой школьный «Дневник». В толстенной общей тетради — мои откровения, признания, мечты. Вот одна из записей девятиклассника от 14 августа 1956 года. Пишу пером «звездочка», макая его в чернильницу, выводя буквы, как на уроке чистописания:

«Вчера, в 10 часов 20 минут, перестало биться сердце великого белорусского поэта и ученого Константина Михайловича Мицкевича (Якуба Коласа). От этой новости затрепетало мое сердце, чуть не выскочило наружу. Так стало жалко этого дорогого для всего народа человека, что слезы сами по себе покатились из глаз. Сколько же славных книг написал Якуб Колас! Книги нашего поэта дошли до Пхеньяна, Варшавы, Праги. А мы на уроках разбираем по слову его стихи.

И вот нет Константина Михайловича. Да что я пишу. Он есть и вечно будет жить в сердцах людей. Дорогой Константин Михайлович, примите же и мое последнее слово «Бывайте!».

Для меня, школьника, смерть Поэта стала личной трагедией, горькой потерей. В «Дневник» я приклеил фото Якуба Коласа из газеты и красными, а не черными, чернилами нарисовал фигурную рамку. Живи, Поэт!

С тех далеких лет иду по жизни с книгами Якуба Коласа. И кажется, что моя святая Мама была первой, кто вдохнул в детскую душу Коласовы слова. Помню, сидим мы, дети, на печи, мелочь и постарше. Все притихли! Слушаем Мамин рассказ о том, как однажды хлопцы из деревни подбили Апанаса пойти ночью на кладбище…

Эту притчу, почти так, как рассказывала Мама, я прочитал однажды в книге Якуба Коласа «Другое чытанне для дзяцей беларусаў». Учебник напечатан в 1909 году. Маме тогда было одиннадцать лет. А брат ее отца Янка Янушевский ходил по деревням, учительствовал и мог иметь эту редкую книгу. По ней училась его племянница Маня, моя будущая Мама. На сердце легли ее давнишние слова: «Училась я, сынок, всего две зимы, когда снег лежал. А весной, летом, осенью дневали и ночевали на земельке. Потом добывали хлеб, не до ученья…»

Ну и память у Мамы! Две зимы училась, а через сорок лет нам, детям, рассказывала сказки, басни, стихи. И что удивительно — почти дословно, как в книге.

Маминых колыбельных не помню, не знаю.

А в читанке Коласа, из которой Мама рассказывала сказки, есть колыбельная песня. Ей-богу, верю в то, что ее пела мне моя Мама:

Што цябе чакае, сын?
Што твая за доля?
Мо, як бацька, будзеш ліць
Пот ў чужое поле?..
А мо пойдзеш ў школу ты,
Будзеш чалавекам:
Без вучэння кепска жыць
Гэтым трудным векам!..

Сейчас, как в тумане, всплывают Мамины слова о том, что мы, Липские, если копнуть историю, в родстве с людьми знатными. Ее слова отозвались в памяти, когда сидел в архивах, составлял свою родословную. Она, как известно, вылилась в повесть «Я», а в переизданном варианте называется «Все мы — родня». И это действительно так. Мы, люди, как деревья в лесу, переплетены родственными корнями. Судите сами.

Архивы подтвердили, что двоюродный брат моей бабушки Прокседы Старжинской Петр Филиппович Старжинский женился на родной сестре известного академика, вице-президента АН БССР, председателя Инбелькульта Степана Михайловича Некрашевича. Значит, и я в некотором роде свояк такому знаковому ученому и политику Беларуси, как Степан Некрашевич. Но и это еще не все родословные тайны.

У Петра Старжинского и Натальи Некрашевич родилась дочь Софья. Та в замужестве с Владимиром Кулевским родила дочь Зорину. А Зорина стала первой женой старшего сына Якуба Коласа Данилы. От их брака дети — Елена и Андрей. Так кто теперь скажет, что мир людей не тесен? Кто усомнится, что мы все на Земле родня? Не об этом ли думал Якуб Колас, когда писал свой стих «Я жыву»?

Я зачарованы маўчу, стаю
У чарах цішыні і чарамі сагрэты,
І ў тон адзін з зямлёю я пяю,
І кожны міг сябе я пазнаю
Часцінкай злітаю вялікага сусвету.

В моей домашней библиотеке, на самом удобном месте, давненько живут четырнадцать академических томов сочинений народного поэта Беларуси Якуба Коласа. Они не гости здесь, а хозяева. Их я частенько беру в руки. С ними наслаждаюсь и нахожу ответы на вопросы вчерашнего и завтрашнего дня. Только читать Коласа надо неспешно, вдумчиво. Это кажется, что слог поэта прост, понятен, доходчив. Оттого и прост, что мудрен, глубок и идет от житейского опыта. От земли!

Вот читаю и в который раз перечитываю Коласову «Дрыгву» — про деда Талаша, про нашего умного, ловкого полешука-мужика. Как же красиво, образно выписан его портрет! Эта повесть — мастер-класс для всех нас, писателей. Учитесь замечать и видеть своих современников. Они-то и есть живая история страны.

Третий том увековечен автографом внука Якуба Коласа Юрки Мицкевича: «Машы Ліпскай і яе выдатнаму дзеду, 10.10.2005». Да, обаятельный и рачительный Коласов родич принимал нас в Акинчицах. Кажется, не рассказывал, а пел оду родоводному гнезду, где будущий народный поэт набирался природной энергии.

Мне особо импонируют в творчестве Якуба Коласа его произведения для детей. Никто из классиков не уделил столько внимания малышам, как Колас. Его стихотворение о мальчике малом, которому «не сядзіцца ў хаце», знают, осмелюсь сказать, все, кто впускает в душу белорусское слово. Дети любят «Міхасёвы прыгоды», «Савося-распусніка», «Рака-вусача». В рейтинге детского чтения Коласовы народные сказки, его учебник «Другое чытанне для дзяцей беларусаў».

Задолго до юбилеев Янки Купалы и Якуба Коласа мы в «Вясёлцы» начали готовить детям подарки. Я написал для них книгу-повесть «Янкаў вянок», а поэт Микола Малявко — «Коласаў абярэг». Свои рассказы о народных поэтах мы подарили читателям детского журнала, которому сами посвятили десятки лет. И все мы почувство-

вали, как же нашим детям не хватает книг об их любимых писателях, о Родине, об истории Беларуси. Именно детям, которые идут за нами, которые очень быстро становятся на крыло, надо дать такие книги, которые помогли бы им до слез полюбить свою землю. Тогда им обязательно захочется сделать для нее что-то полезное. Этому неустанно учил великий сын нашего Отечества, народный поэт Якуб Колас.

Мне нравится в Коласе его, говоря на белорусском языке, *сціпласць, годнасць, вернасць, надзейнасць* во всем. Кажется, по Якубу Коласу можно судить, какие мы, белорусы, люди на планете Земля.

Одну черту поэта хочу подчеркнуть особенно. Однажды он получил письмо от учительницы Александры Романович, которая назвала его белорусским Шевченко. И вот его ответ ей 30 мая 1909 года:

«Меня, между прочим, по словам товарищей, называют вторым Шевченко, белорусским, безусловно, хотелось бы этому верить, но как бы не вышло здесь ошибки. Скорее всего, меня путают с Янкой Купалой».

Включаю радио. Поет ансамбль «Песняры».

Мой родны кут, як ты мне мілы!
Забыць цябе не маю сілы!..

Удивительно: эта мелодия берет за сердце и на родине Коласа, в Николаевщине, и в моих умирающих Шелковичах, и в процветающем Минске.

А все почему?

Слова эти Поэт написал сердцем. Вот потому-то мы все, его почитатели, земляки, свояки, с трепетом впускаем мелодию в свое сердце.

Спасибо Вам, дядька Якуб!

Поклон Вам, Якуб Колас!



Казимир КАМЕЙША,
поэт

У каждого большого писателя всегда найдется произведение, которое мы с присущим человеку обыкновением, а то и легкостью, называем вершиной его творчества. У классика нашей литературы Якуба Коласа я нахожу несколько вершин, и думаю, вряд ли кто станет это оспаривать. Разве не попадают под это определение поэмы «Новая зямля» и «Сымон-музыка», и аллегорические, неповторимые по своей силе «Казкі жыцця», и эпопея «На ростанях»?! Но, стремясь узреть саму вершину, мы часто уходим от глубинного проникновения в содержание произведения.

В студенческие времена я наивно полагал, что знаю творчество своего великого земляка так, как знаю себя самого. Жизнь показала, что это далеко не так, что я ошибался. Даже самого себя человеку не всегда дано постичь, понять. А у него, кто начинал свою песнь «ад роднае зямлі, ад гоману бароў», только внешне все кажется простым или даже нарочно упрощенным. В самих же его наиболее значительных произведениях много загадочного и глубинного. Голос настоящего творца всегда рассчитан на будущее. Нам же, читателям, всегда важно услышать этот голос. Может быть, самой непростой является поэма «Сымон-музыка», кото-

рой не суждено было дойти к нам в своем первом варианте. Мастерски выстроенная, где особенно чувствуется власть поэта над словом, где необычайно осязаемы болевые точки национального и трагического, поэма требует и от читателя особенной сосредоточенности, даже некоего творческого соучастия. И разве нет своего, глубинного, в той же «Новой земле»? Даже строки самого запева, которые сегодня известны каждому белорусу («Мой родны кут, як ты мне мілы, Забыць цябе не маю сілы…»), несут в себе то нежное, выстраданное, откровенное, что проникает в душу и затрагивает ее самые потаенные струны.

«Новая зямля» привлекает читателя тем, что колорит крестьянского бытописания в этом произведении органически увязан со стихией природы. «Мілыя вобразы роднага краю» удивляют нас не только своими яркими красками, они еще подчеркивают и национальный колорит, подсвечивают крестьянскую душу, заостряя наше внимание на мыслях и чаяниях человека. Исповедательный, сродни молитвенному, тон произведения, действительно, обладает большой силой воздействия на читателя. Многие называют это произведение энциклопедией крестьянской жизни. Кажется, поэт не упустил ни одной мелочи из повседневной жизни крестьянина. И читателю будущих времен можно будет смело заглядывать на страницы поэмы, как в энциклопедический словарь крестьянского быта, в ней ярко, в самых характерных деталях отображена вся белорусская этнография. Здесь есть все: и наши праздники, и наши обычаи, и наш белорусский колоритный юмор, и даже белорусская самобытная кухня.

Земляку-предпринимателю, который для своей корчмы выбрал коласовское название, я посоветовал позаимствовать и блюда из меню в поэме «Новая зямля». Думаю, прысмаки посетители оценили по достоинству.

Я держу в руках внушительный том «Новай зямлі», изданный на трех языках. Талантливо проиллюстрированное В. Шаранговичем издание, действительно, отвечает требованиям подарочного. Но возникает и вопрос к переводу текста. Много претензий у меня к русскому переводу. Гораздо удачнее польский. Совсем недавно можно было познакомиться и с украинским переводом поэмы, сделанным В. Стрелко.

Качество его весьма высоко оценено и нашей, и украинской критикой. Уверен, будут появляться новые переводы на другие языки мира. Беспокоюсь только об одном: дошла бы наша классика до мирового читателя в надлежащем виде. Вот в чем вопрос. Чтобы не получилось так, как в актовом зале нашего Дома литераторов. Рассматривая галерею портретов писателей, которая заняла две стены, люди спрашивают: «А это кто? Неужели Чигринов? А это, неужели Мележ?»

А мысль свою я веду вот к чему. Если мы, белорусы, уже, кажется, оценили значимость огромного таланта нашего песняра, то мировому читателю это еще только предстоит сделать. Слово тут за талантливыми, вдумчивыми и терпеливыми переводчиками.



Алесь МАРТИНОВИЧ,
писатель, литературовед

Как мне кажется, каждый к творчеству любимого писателя, по сути, относится, как к любимой женщине. Не удивляйтесь такому, на первый взгляд, неожиданному и необычному сравнению. Ибо в нем, если рассудить, как раз ничего

неожиданного и необычного нет. Когда любишь женщину, в ней нравится все. И цвет волос, и прическа, и то, как она говорит, как одевается. Да и многое другое. Даже какая-либо, казалось бы, мелочь вызывает восхищение.

Так и творчество любимого писателя. И это произведение, словно магнит, притягивает и заставляет перечитывать его снова и снова, удивляться, насколько в нем все оригинально и неповторимо. Да и вообще, что ни возьмешь из написанного им, обязательно найдешь что-то такое, от чего сердце радуется.

Однако опять вернемся к «нашим» женщинам. Точнее, к одной, той самой, без которой и весь свет не мил, и, как поет Николай Гнатюк, «на душе не хорошо». При всех непревзойденных качествах и достоинствах в этой женщине обязательно есть нечто такое, что, как ни будешь стараться, у других никогда не сыскать. Что это конкретно, может ответить только тот, кто по-настоящему влюблен в эту женщину.

Так и в произведениях любимого писателя. В данном случае Якуба Коласа. Пожалуй, не буду оригинальным, если скажу, что вершина его творчества, конечно же, поэма «Новая зямля». Ее уже неоднократно называли энциклопедией жизни белорусского народа, и это, безусловно, правильно. Как правильно и то, что ничего подобного в белорусской поэзии нет. Разве что можно говорить о романе в стихах Нила Гилевича «Родныя дзеці».

Однако Колас есть Колас. Вершина, к которой и в перспективе вряд ли кому-нибудь удастся приблизиться. Никто до него так глубоко не проникал в душу белорусского народа. Так и хочется перефразировать Александра Сергеевича Пушкина. Имея в виду то, что он говорит о русском духе. В «Новай зямлі» чувствуется белорусский дух. В ней Беларусью пахнет. Той патриархальной Беларусью, в которой народный песняр родился. Беларусью крестьянской.

Но что такое Беларусь крестьянская? Это Беларусь, сильная своими корнями. Беларусь, знающая цену земле, убежденная, что только земля — основа всего и именно на этой почве можно и нужно строить светлое будущее. Это прекрасно уже в начале XIX столетия понимал Михал. Это постепенно начинаем понимать и мы.

В «Новай зямлі» с непревзойденным мастерством народный песняр описал быт белоруса, его традиции. С таким же мастерством описал он и красоту родной природы. Да и как же иначе? Какой это белорус без природы?! Особенно тот, который вырос здесь, стал единым целым в цепи человек — природа — вечность. Не буду приводить хрестоматийное начало «Новай зямлі» — оно и так у всех любителей поэзии на слуху. Просто наугад открою любую страницу этого произведения. Хотя бы эту:

Каля пасады лесніковай
Цягнуўся гожаю падковай
Стары высокі лес цяністы.
. . . .
Зялёны луг, як кінуць вокам,
Абрусам пышным і шырокім
Абапал Нёмна рассцілаўся.

Это также обитель Михала. Не только хата, в которой проживал он со своей семьей, а и все окрестные места были частью его самого, как и сам он являлся частью этой первозданной красоты. Частью природы воспринимаются и персонажи других произведений Коласа. Прежде всего в еще одной замечательной его поэме «Сымон-музыка».

Михала мы видим как человека земли, конкретнее — человека, тысячами нитей связанного с землей. Сымон же, хотя и не утратил этой связи с землей, с «роднай глебай», уже — птица иного полета. Он задумывается и о будущем отчего края, преисполнен желания служить ему. Для него понятие Родины куда шире, чем для Михала. Это уже не только место, где родился и живешь, но и вся Беларусь:

О край родны, край прыгожы!
Мілы кут маіх дзядоў!
Што мілей у свеце божым
Гэтых светлых берагоў,

Дзе бруяцца срэбрам рэчкі,
Дзе бары-лясы гудуць,
Дзе мядамі пахнуць грэчкі,
Нівы гутаркі вядуць...

По этому стремлению — не только любить Беларусь, но и самоотверженно служить ей, Сымону близок Лобанович из трилогии «На ростанях». Он, конечно, выступает и против социального угнетения. Однако не менее остро воспринимает и угнетение национальное: «Мы адварочваемся ад свайго роднага. Не шануем яго, мы стыдаемся яго, — слова «стыдаемся» Лабановіч прамовіў з націскам, пры гэтым выраза яго твару змянілася, а ў вачах загарэўся агеньчык нейкай злосці».

А сколько прелести, сколько мудрости в «Казках жыцця»! В силу разных обстоятельств Якуб Колас, создавая их, вынужден был обращаться к аллегории. Однако со страниц этих произведений предстает сама жизнь в разных ее проявлениях, затрагиваются отдельные моменты, которые кое-кому и сегодня как та кость в горле. В «Казках жыцця» — то, что волновало современников писателя, над чем они задумывались. Но это и то, о чем не перестаем рассуждать мы, представители совсем иного времени. Многие проблемы, которые поднимал Якуб Колас, не ушли и сегодня.

Да и какое произведение народного песняра ни возьми, обязательно откроешь для себя частицу того объемного пространства, название которому мир Коласа. Окунувшись в этот мир, обязательно почувствуешь себя духовно богаче, нравственно чище. Поймешь, что творческое наследие этого выдающегося классика — не только одна из наиболее значимых страниц истории национальной изящной словесности. Это живое течение белорусской литературы, живительная влага которого — тот спасительный глоток, без которого не обойтись, когда встречаешься с бездуховностью, беспринципностью, когда видишь, как подменяются настоящие духовные ценности дешевым суррогатом.

И еще об одном думаешь, перечитывая Якуба Коласа. Нужно приложить все усилия для того, чтобы, наконец, появилась энциклопедия «Якуб Колас». Но созданная на высоком научно-исследовательском уровне, а не «саматужная». Чтобы она была сродни энциклопедическому справочнику «Янка Купала».



Татьяна СИВЕЦ,
поэтесса, главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва»

Мой Колас — это поле ржи за дедушкиным домом в маленькой деревеньке Рафалово на Витебщине. Там я впервые почувствовала, как пахнет поле жарким августовским днем, услышала, как поют на ветру спелые колосья. Правда, после приходилось прятаться в кустах смородины от дедушкиного ремня за «здратаванае жыта», но купание в нем действительно стоило того...

Там была и «раніца ў нядзельку», когда мы с братом просыпались от блинного духа, смеясь и брызгаясь ледяной колодезной водой, умывались во дворе, наперегонки неслись в хату, где на столе стояла такая желанная миска с дымящи-

мися бабушкиными блинами: пухлыми, ноздреватыми снизу и гладкими поверху. Масло плавилось, парное молоко лилось в кружки — и вкуснее ничего, наверное, не было и никогда не будет на моем столе…

Жаль было мне одноклассников, когда, прочитав этот отрывок из поэмы «Новая зямля», они говорили: «Что тут такого? Блины и блины — было бы про что писать…» А для меня каждое слово вновь напоминало о самых прекрасных днях — лета, детства, родины…

После Якуб Колас стал тем, кто рассказал о настоящем Искусстве — музыке, которая может не только сделать счастливым, излечить, но и потребовать жертв от своего создателя. «Сымон-музыка» — это и первое осознание того, что все — и высокое, и низкое — можно высказать поэтической строкой, и чувство ответственности перед своей Землей. Ведь все, что пишется, оно ведь и должно быть «ад роднае зямлі, ад гоману бароў...».

И кто знает, может, на выбор ВУЗа, — Государственного педагогического университета имени Максима Танка — тоже повлиял Якуб Колас, точнее, его герой — Андрей Лобанович. Он же и задал вопрос, на который так хочется найти правильный ответ: «Чаго мы на свеце жывём?»

У каждого свой ответ, у каждого свое поле и свой Колас…



Геннадий АВЛАСЕНКО,
писатель, переводчик

Иногда провожу такой эксперимент. Даже не эксперимент, а просто задаю вопрос тем или иным своим знакомым:

— Слышали ли вы о таком белорусском писателе, Константине Мицкевиче?

В ответ лишь недоуменное пожимание плечами. Не всегда, в девяноста девяти случаях из ста…

— А о писателе Якубе Коласе что-нибудь слышали?

— Ну, разумеется! Якуб Колас — это же…

И сразу же вспоминается фраза, хорошо знакомая с детства. Вернее, со школьной скамьи…

«Янка Купала и Якуб Колас — основоположники современной белорусской литературы».

Именно так, а не иначе: Янка Купала и Якуб Колас…

И меня всегда интересовал вопрос: а почему не наоборот: Якуб Колас и Янка Купала?

Не звучит?

Или тут что-то другое?

Подразумевающее, что хоть Якуб Колас и великий писатель, но занимает в нашей белорусской литературе лишь почетное второе место…

Почетное, но второе!

А на первом — Купала!

Как Пушкин у россиян…

Вот там это действительно звучит: «Пушкин и Лермонтов — основоположники современной русской литературы». Потому что Лермонтов и в самом деле был как бы продолжением пушкинского гения. И хоть к моменту смерти Пушкина у Лермонтова уже имелось определенное литературное имя — именно его стихотворение «На смерть поэта» потрясло русскую общественность и принесло Лермонтову всероссийскую известность.

И явилось первой ступенькой, приведшей его к гибели…

А Купала и Колас начинали в одно и то же время. Как и родились оба в одном и том же году — 1882-м.

И почти одновременно — первые литературные опыты: у Купалы — на польском, у Коласа — на русском языке. И первые белорусские стихи, вернее, первые их публикации. Впрочем, тут Купала ненамного «опередил» Коласа…

А потом они встретились. И подружились. Крепко, на всю жизнь, хоть иногда и спорили. И даже ссорились, впрочем, всегда ненадолго.

А вот как насчет литературного соперничества? Имелось оно у двух будущих классиков нашей литературы? И сознавал ли Колас, что он, говоря языком спорта, идет «вторым номером»?

Да нет же, ерунда все это!

Нет никаких «номеров» у литературы, ни первых, ни вторых! И Колас, и Купала — гениальные писатели, по какому-то невероятному стечению обстоятельств родившиеся в один и тот же, счастливый для Беларуси год. И не задумывались они, кто из них «первый по рейтингу», кто второй, не до того им было…

Как не задумываемся и мы, произнося такую известную фразу: Янка Купала и Якуб Колас…

Как: Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов…

И никогда наоборот…

Люблю Купалу. Люблю его стихи (очень многие), его поэмы (правда, не все). Его пьесы, особенно «Раскіданае гняздо», потрясают…

И все же…

Да простят меня поклонники творчества Янки Купалы (да я и себя к таковым отношу), но мне кажется, что место «белорусского Пушкина» принадлежит все же Якубу Коласу.

Ему и никому другому!

Ведь то, что сделал Колас для белорусской литературы, сродни тому, что сделал Пушкин для литературы русской.

И «Новая зямля», хоть автор и назвал ее скромно «поэмой», самый настоящий «роман в стихах». Первый белорусский роман в стихах.

Как «Евгений Онегин» — первый русский роман в стихах.

Оба этих произведения — национальные шедевры.

Белинский назвал «Евгения Онегина» «*энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением*».

Все это, заменив лишь слово «*русской*» на слово «*белорусской*», можно сказать и о «Новай зямлі».

Впрочем, об этом уже хорошо сказали наши классики.

«*Паэма «Новая зямля» з'яўляецца сапраўднай жамчужынай беларускай літаратуры*».

Это слова Кондрата Крапивы.

А вот что сказал о поэме Михась Лыньков:

«*Новая зямля» — выдатны эпічны твор, які па праву прыраўніваюць да народнага эпасу, называюць энцыклапедыяй жыцця беларускага народа*».

И это действительно так! И лучше уже не скажешь!

Это же касается и поэзии Якуба Коласа в целом, особенно его небольших лирических стихотворений. И я вновь сравниваю Коласа с Пушкиным…

Смотрите, как перекликаются строчки Коласа:

Не сядзіцца ў хаце
Хлопчыку малому:
Кліча яго рэчка,
Цягнуць санкі з дому…

и Пушкина:

Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки Жучку посадив,
Себя в коня преобразив…

Гений Коласа, как и гений Пушкина, — разносторонний. Тут и поэзия, и проза, и драматургия.

Особенно проза…

«Якуб Колас — основатель белорусской национальной прозы».

Это не я сказал, но я целиком и полностью поддерживаю. И вновь сравниваю Коласа и Пушкина, вернее, вклад их в свою национальную литературу. Теперь уже в области прозы.

Прозаические произведения Коласа тоже вполне сопоставимы с пушкинскими.

Трилогия «На ростанях», повесть «Дрыгва», рассказы…

Именно с них и начиналась современная белорусская прозаическая литература. Как с «Капитанской дочки», «Дубровского» и «Повестей Белкина» начиналась новая русская проза...

Колас и Пушкин…

Чуть менее ста лет разделяют годы их рождения. Чуть более ста лет разделяют годы их смерти…

Пушкин погиб на дуэли, защищая не только свою честь, но и честь всей русской литературы!

Колас умер в ночь с 12 на 13 августа 1956 г. в своем рабочем кабинете, когда писал письмо в ЦК КПСС о том, что больше всего волновало и тревожило его: о плачевном состоянии белорусского языка.

Но письмо это так и осталось незаконченным…



Зинаида КОМАРОВСКАЯ,
директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

Я счастлива, что родилась на Столбцовщине, в Наднеманском крае, любовно воспетом Якубом Коласом, преданность которому поэт хранил всю жизнь, называя этот край «родным, прыгожым, мілым кутом сваіх бацькоў». Есть замечательное слово — земляки. Как правило, большинству из них присущи общие черты характера, эмоциональное состояние души, которыми наделила их природа этого края. И когда я читаю Коласа, я чувствую какое-то родственное мировосприятие, мне очень близко каждое слово поэта, каждая его строка. Якуба Коласа я воспринимаю душой и сердцем.

В музее я работаю более 25 лет, за эти годы имела возможность прикоснуться к святая святых — рукописям Якуба Коласа, его личным вещам. Я много почерп-

нула для себя за это время, с трепетом изучала документы, переписку Якуба Коласа. Постепенно исчезал стереотип восприятия великих людей: как забронзовевших, без присущих обычным людям черт. Одно из самых главных моих открытий за время работы в музее стало открытие для себя Коласа — человека с его слабостями, радостями, тревогами.

Якуб Колас — единственный после смерти Янки Купалы народный поэт — вынужден был нести груз общественных, политических, научных обязанностей. И в то же время он оставался самим собой, с добрым, отзывчивым сердцем.

Когда я пришла работать в музей, меня удивило количество писем с просьбами к Коласу. Константин Михайлович помогал и советом, и деньгами (часто даже высылал деньги незнакомым людям). Он был мудрым, по-крестьянски рассудительным. Когда читаешь его письма, например, к поэту и переводчику Сергею Городецкому, замечаешь, как осторожно, тактично он высказывается о переводах и делает все, чтобы не обидеть поэта. Дружбу с русскими литераторами он сохранил до последних дней.

Имена Янки Купалы и Якуба Коласа олицетворяют Беларусь, ее народ. Слова Якуба Коласа «Мой родны кут, як ты мне мілы…» роднят народы. Образ своего родного уголка каждый несет в своем сердце, в душе, поэтому поэма «Новая зямля» Якуба Коласа близка и понятна многим. Она — как связующая нить во взаимопонимании людей.

В 1946 году Якуб Колас в «Запавеце» написал: «Я прыйшоў у жыццё не для сябе самога, я прыйшоў дзеля Вас…»

Это слова Мудреца. Пророка, человека, до конца отдавшего себя людям, своей земле. А в этом мире ничего не исчезает бесследно. Духовное наследие Якуба Коласа будет служить путеводной звездой не одному поколению людей.



Евгений СЕТЬКО,

режиссер студии документального кино «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм», режиссер фильма «В поисках новой земли»:

Мое первое впечатление о Коласе — как и у всех школьников: великий писатель, классик, лысый дядька, автор стихов, которые надо выучить. Школьная программа, к сожалению, часто провоцирует стереотипное мышление. Да, все школьники знают, кто такой был Якуб Колас, но если сейчас спросить у какого-нибудь молодого человека: произведение Коласа, которое вам хотелось бы перечитать? — он, скорее всего, ничего не ответит. Школьная обязаловка — это прочитанное произведение: текст надо изучить, но не понять или полюбить. Недооцененная литература, стереотипные образы. У меня было то же самое. И другая точка зрения появилась только в ВУЗе.

Как-то мы с автором сценария Владимиром Морозом разговорились о том, что «человеческой» информации о Коласе (черты характера, привычки, быт) очень мало. И мне захотелось узнать больше, раскрыть его характер. Потом, уже в работе, родилась идея поисков Новой Земли. Образ из детства поэта, когда семью

Мицкевичей перебрасывали из одного места в другое, и стремление белоруса владеть кусочком земли, чтобы быть хозяином на ней.

Сложился такой стереотип, что Купала всегда сражался за идею независимости, а Колас был достаточно лоялен к власти. Мне хотелось его разрушить в фильме. Якуб Колас боролся за то же всю жизнь. Вспомнить хотя бы его открытое письмо о ситуации с белорусским языком, написанное в 1956 году. Другие почему-то не написали, не решились.

Мне запомнились слова Коласа о том, что его и Янку Купалу постоянно объединяют в один образ: «Вот растут два яблока рядом на одной ветке. Вроде бы сорт один и тот же, но все равно разные. Вот так же и с Купалой. Мы делаем одно дело, но мы разные. А то, что меня с ним сравнивают, а его со мной, — это хорошо».

Я не знал до того, как начал работать над фильмом, не задумывался, что Колас был настолько простым человеком. К нему приходили сумасшедшие поэты, которые считали, что они гениальные; приходили за помощью, приходили, чтобы попросить денег… И каждому надо было отвечать. Каждому он помогал. Он любил свой дом, свой надел земли. Ему там хорошо работалось, когда не мешали толпы визитеров. Когда они особенно досаждали, он грозился уехать работать в Дом отдыха — и не ехал.

Меня поражает его уникальность. С одной стороны — очень простой человек. С другой — национальный поэт, классик.



Григорий ШАТЬКО,

актер Национального драматического академического театра имени Якуба Коласа, заслуженный артист Беларуси, исполнитель роли Якуба Коласа в спектакле «Зямля»:

Я пришел в театр имени Якуба Коласа в 1984 году после окончания института, активно был занят в репертуаре. Гордился тем, что работаю в таком знаменитом коллективе, где ставились пьесы Якуба Коласа, сам автор присутствовал на репетициях и премьерах спектаклей «Вайна вайне» и «У пушчах Палесся» в 1937 году. С 1997-го по 2012 год я работал директором театра. Знаете, когда выезжаешь на зарубежные гастроли и международные театральные фестивали, то всегда чувствуешь особое отношение к национальному театру, который носит имя великого народного поэта. Это наше наследие, которое надо беречь.

Многие утверждают, что я очень похож на Якуба Коласа. Родственных связей, конечно, нет. Но отец рассказывал: Колас когда-то заходил к моему деду — у него была дача в Полочанке под Минском, а хутор моего деда находился рядом. Дед держал 40 колод пчел — каждое утро Колас заходил, угощался медом, выпивал рюмочку самогона… У него даже есть такие строчки:

А Шацька мёдам пачастуе
І чарку поўную нальe…

Это — про моего деда. Кстати, эти визиты не приветствовала моя бабушка, утверждая: «с самого утра человека «испортит», и сам пошел в своей беретке».



Марина ПЕТРОВА,
руководитель литературно-драматической части Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:

В детстве мне посчастливилось узнать, как любят внуков деды. Сколько внимания они им уделяют, как рассказывают о прошлом, балуют, учат тому, о чем не прочитаешь в учебниках, и смотрят добрым, нежным и верящим взглядом. Верящим в то, что из внуков вырастут еще более достойные и хорошие люди, чем они сами. Мне кажется, Колас и Купала — именно такие «деды». В детстве до того, как запомнились имена, я различала их по фигуре: «толстый дед» (Колас) и «тонкий дед» (Купала). А за внучку у них — Беларусь, а значит, и я. Здорово, когда у тебя есть целых четыре дедушки!

А потом случился культпоход в театр и встреча с «толстым дедом». Он сидел на краю сцены и задумчиво смотрел на меня. А вокруг мелькали, кричали, куда-то рвались белые призраки. Помню, сидела как оглушенная. Дед Колас, призраки, музыка — все это меня очень впечатлило. Такое первое близкое знакомство с Коласом, наверное, и стало причиной того, что я увлеклась театром. А смотрели мы тогда спектакль «Зямля» в постановке Виталия Барковского.

Для белорусов Якуб Колас — как небесный рыцарь-защитник, который сумел сберечь родное слово, свидетельство уникальности и, в принципе, самого существования нации в советских условиях подравнивания всех и вся под одну гребенку.

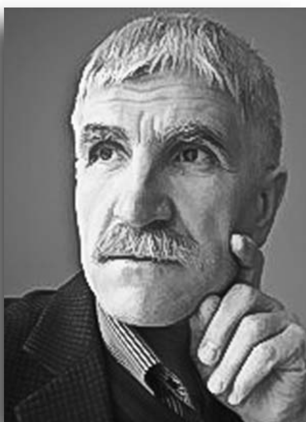


Петр ЛАМАН,
актер Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, поэт:

Первая встреча с творчеством Якуба Коласа у меня, как и у каждого из нас, состоялась в школе. Но — увы! Кроме того, что Якуб Колас родился в верховье Немана, а я на 30 километров ниже по течению, к моему стыду, ничего не запомнил.

Настоящее понимание миссии этого гиганта белорусской литературы пришло, когда в театре Валерий Мазынский поставил «Сымона-музыку». Я понял, что значит Якуб Колас для нации, для белорусов, какая это мощная личность. В творчестве Якуба Коласа — квинтэссенция мировоззрения человека, который

родился и вырос на земле. В его творчестве — поэтический, песенный взгляд, размышление о том, что такое белорусская нация. Колас чувствовал землю, не мог без нее существовать. Даже в Минске, в центре города, Якуб Колас умудрился построить для семьи дом с садом и огородом. В спектакле «Зямля», поставленном на сцене нашего театра Виталием Барковским, меня особенно зацепило то, что режиссер вместе с артистами раскрыл неизвестные страницы биографии великого поэта: любовь, тюрьма, осмысление своего предназначения. Видимо, неслучайно именно Якуб Колас обратился в ЦК КПСС с письмом о состоянии родного языка в Беларуси. Низкий поклон ему за этот поступок.



Владимир САВИЧ,
художник, председатель
Белорусского союза художников:

Мое творчество всегда было связано с нашей землей. И для меня очень важным событием стало знакомство с поэмой Якуба Коласа «Новая зямля». Сам я человек деревенский, родился в деревне и всегда особенно интересовался своим: этнография и фольклор, культура и быт нашего народа. В том числе и благодаря Коласу я еще юношей понял, что каждый художник должен петь песню родной земли, каждый художник должен думать на языке родной земли. И это не значит просто говорить по-белорусски. Этого мало, нужно знать о своей земле как можно больше: историю, культуру, литературу. Мы будем интересны за границами Беларуси, если будем нести свое, держать свою ноту. А ноту нашей земли найти очень-очень сложно. И поэтому еще со студенчества меня привлекало, было мне необходимо творчество Якуба Коласа. На первом курсе знакомство с книгой, изучение книги началось у нас именно с его «Дрыгвы». Теперь я понимаю почему. Во-первых, это проза. Она более понятна, а для художника очень важно «раскусить» текст. Поэтому нам давали прозу, классическое произведение, которое связано с белорусской землей. Через творчество Якуба Коласа мы учились познавать свою землю. Потом, на четвертом курсе, я снова оформлял произведения Коласа (это была серия офортов). Потом удалось оформить «Міхасёвы прыгоды». Признаюсь вам, что много раз готовился, хотел и сегодня думаю о том, что если мне предложат оформить «Новую зямлю», то с удовольствием возьмусь, хотя уже давно книги не оформляю.

Мои более поздние работы не связаны с творчеством Коласа, но то, что было заложено в тебя в детстве, в студенческие годы, остается навсегда. Еще раз подчеркну, что каждый художник должен знать свою землю. И вот в этом всегда для меня ориентиром был Якуб Колас, который мог своими произведениями подсказать, направить, показать глубину. Колас — это наш гений. Мне кажется, что Янка Купала — это белорусский Христос, а Якуб Колас — это наш Гений. Про белорусскую землю никто не спел лучше Коласа. Есть писатели и поэты, которые спели по-другому. А он стоит особняком, сказав так просто, но очень основательно и емко.



Олеся ГУРЩЕНКОВА,
скульптор, одна из авторов памятника Якубу Коласу в Ганцевичах:

Мое первое знакомство с творчеством Якуба Коласа случилось в годы учебы в Белорусском лицее искусств им. И. О. Ахремчика. Одним из моих любимых предметов была белорусская литература. Занятия проходили в демократичной атмосфере, было интересно обсуждать произведения классиков. Особенно запомнилась поэма Коласа «Новая зямля», отрывки из которой заучивали наизусть. Казалось, от творчества Коласа исходит огромная мощь и сила. На одной из летних практик нам посчастливилось быть на родине писателя в деревне Николаевщина, полюбоваться Неманом, сделать зарисовки с натуры. Тема любви к родной природе, возвращения к своим корням — то, что раскрывает Колас в своих произведениях, остается близкой и нам, современникам.

Работать над созданием памятника Якубу Коласу оказалось очень ответственной задачей. Решать образ человека такого масштаба было непросто. Многие белорусские художники вдохновлялись образом классика и создали прекрасные произведения. Мы вместе с мужем скульптором Павлом Герасименко решили изобразить Коласа именно молодым, таким, каким он был в период своего учительства в деревне Люсино на Ганцевщине. Перечитывали повесть «У палескай глушы» из трилогии «На ростанях», т. к. она во многом автобиографична: описаны некоторые факты из жизни Коласа, да и образ Андрея Лобановича не лишен автобиографических черт. Наш Колас — это молодой сельский интеллигент, романтик, увлеченный революционными идеями. Работая над памятником, хотелось взглянуть на образ по-новому и, раскрывая характерные черты в портрете, попытаться передать внутреннюю суть. Нашли фотографию Коласа в национальном костюме — ее и взяли за основу: очень характерное узнаваемое лицо. Для меня было важным изучить внешний образ и, сонастроившись с творчеством писателя, ощутить внутреннее содержание.

Все этапы работы над памятником рассматривались и обсуждались на монументальном совете, это дополняло наше видение, ощущалась поддержка членов совета.

Работать над такого рода памятниками — большая удача и радость для художника. Радость сопричастности. Якуб Колас — знаковая фигура для белорусской культуры. Реализм и полет мечты, связь с родной землей и вера в прогресс, глубокое погружение в творчество и активная общественная работа — все было в этом человеке. Жизнелюбие. Талант. Творческое горение. Все это оставит его современным на долгие времена.

МАРИНА ВЕСЕЛУХА

С высоты Замковой горы: урбанистические мотивы в поэзии Якуба Коласа

Художественный урбанизм как направление появился в европейской, русской и американской литературах во второй трети XIX века и очень активно развивался в условиях становления промышленного капитализма. Расширение городской тематики происходило, прежде всего, благодаря реализму. Из литературы постепенно вытеснялись замки, имения, природа, а объектами художественного отражения становились машина, фабрика, железная дорога, городская толпа. В европейском литературном пространстве наиболее «популярными» для показа авторами в художественных произведениях стали большие города, центры культуры: Париж (Эмиль Золя, Виктор Гюго), Лондон (Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд), наиболее «символически нагруженным» городом в русской культуре является Петербург (Федор Достоевский, Александр Блок, Андрей Белый и другие), позже объектом литературной рефлексии становится Москва (Александр Блок, Андрей Белый и другие).

Становление урбанистической тематики в белорусской литературе происходило немного позже — только в начале XX века. Это было обусловлено процессами культурного возрождения, а также ростом городов, увеличением количества городского населения. В это время доминантную роль в культурном возрождении играет среда, сформировавшаяся в Вильно, именно этот город для многих литераторов стал объектом поэтизации. Он восстает в романтическом ореоле, становится символом легендарного прошлого народа, мифологизируется, получает содержательную образно-предметную характеристику.

Для Максима Богдановича, Янки Купалы, Змитрока Бядули и многих поэтов, активно работавших в начале XX века, город Вильно был одним из источников вдохновения. Якуб Колас — не исключение. В автобиографии поэт пишет: «Весной 1907 года я поехал в Вильно на работу в редакцию газеты «Наша ніва», но работал там недолго. Полиция запретила жить в Вильно, и я вынужден был уехать из города». Но несмотря на то, что Колас жил и работал в Вильно короткое время, этот город оставил значительный след в его творчестве, а приключения дядьки Антося, героя поэмы «Новая зямля», в столице стали неотъемлемой частью знаменитого произведения.

Все произведения о Вильно, написанные в начале XX века, Антон Луцкевич предложил разделить на две группы: те, что воспевают внешнюю красоту этого города, и те, в которых авторы раскрывают внутреннюю жизнь города и его жителей. Именно к первой группе произведений нужно отнести описание Вильно Якубом Коласом в поэме «Новая зямля».

Интерес Якуба Коласа к городу и его ландшафту был обусловлен логикой развития сюжета произведения. Как отмечает Владимир Журавлев, поэт был не против придать и самостоятельное значение отдельным эпизодам и разделам поэмы, он «стремился настроить эпическую мысль на более динамичный лад, сосредоточить

и активизировать внимание читателя не только на привычном, традиционном, но и новом, в чем-то неожиданном». К частям, которые углубляют и расширяют характеристику героя, делают поэму более интересной и занимательной, относятся разделы «Дзядзька ў Вільні» и «На Замкавай гары». Поскольку герой Коласа — крестьянин, деревенский житель, то и на город он смотрит соответственно — глазами сельского человека, который впервые увидел Вильно. Его впечатляет величие зданий и красота улиц. Попав в Вильно, дядька Антось чувствует себя растерянным и беспомощным. Город с его шумом, множеством людей на улицах вызывает у него даже враждебные чувства. Ему, крестьянину, труженику, который никогда не тратил время впустую, городская жизнь кажется бессмысленной и беззаботной. «Панами» дядька считает вообще всех хорошо одетых людей.

Иван Науменко точно раскрывает сущность отношений героя Коласа к городу и его жителям: «Дядька Антось, который не мог заблудиться «у пушчах, у барах», тут, среди городских муров и камениц, переулков, совсем растерялся. Но дело не только в незнакомых местах, а еще и в людях, среди них нет ни одного «рахманага» лица. Простым сердцем Антось сразу почувствовал индивидуализм, разъединенность жизни буржуазного города, где каждый только сам за себя. И именно такой город вызывает у дядьки Антося взрыв злости. Нелепой и враждебной кажется ему и чиновническая, бюрократичная иерархия в земельном банке, где без оскорблений, унижений простому человеку и шага не ступить».

Город воспринимается дядькой Антосем как что-то непривычное и поэтому необычное. С первых моментов прибытия на вокзал в Вильно Антося удивляет нескончаемое движение, городская суета. Большой город впечатляет главного героя своим размахом, многолюдностью:

Яшчэ ніколі дзядзька з роду
Не бачыў гэтулькі народу.

Городские реалии ему совсем чужие: вокзал с тоннелем, брусчатка на улицах, звуки уличного движения, витрины магазинов. С одной стороны, такое негативное отношение к городу можно объяснить и непринятием условий, в каких живет город, по сравнению с деревней:

І колькі тут дабра, багацця!
А колькі слёз у ім, праклацця?
Якія брычкі і карэты!
І для каго ўся роскаш гэта?

Созерцание богатства и роскоши города, неравенства между социальными группами в сознании героя вызывают совершенно иное настроение, иные мысли, связанные с родной деревней, тяжелой работой и бедностью, в которой живет белорус-работник.

Но, показывая город, автор «Новай зямлі» сочетает социальное и эстетическое. Более того, поэтизация Вильно — определяющая черта урбанистического текста Коласа. Дядька Антось отдает дань красоте города, когда, взобравшись на Замковую гору, с новым приятелем Гришкой Вересом любуется застройкой города, лабиринтами зеленых улиц, переулков, реками Вилией и Вилейкой, но больше всего — холмами «ў сіняй далі», раздольем «палёў, задумаю спавітых», они напоминают о своем, «мужицком». С высоты Замковой горы и сам город, его улицы, переулки, построенные в соответствии с определенной системой, вызывают неподдельный восторг Антося и его друга Гришки:

Агромны горад, цесна збіты,
Ўвесь блескам сонейка заліты,
Займаў узгоркі і нізіны….

Расцерабіўшы сабе пляц,
Як горды пан стаяў палац.

С одной стороны, показывая неприятие Антосем реалий города, Якуб Колас сознательно или неосознанно пишет произведение, по настроению созвучное со стихотворением своего предшественника Франтишека Богушевича «Немец». Его лирический герой так, как и дядька Антось, не понимает города и не принимает его реалий: «Не люблю я места (па-расейску — горад)», и для этого имеет несколько причин: большое количество народа в городе, отчего «надта там цясно-та і вялікі сморад»; множество неписаных правил, регламентирующих поведение в городском обществе: «Ці ісці без шапкі, ці гдзе пакланіцца?» Но самый большой страх лирического героя — «Пакланіцца немцу ці якому жыду!».

Перенимает настроение неприятия Богушевича Колас и в другом, более раннем произведении «Горад і вёска». Некоторое время существовало мнение, что Якуб Колас не является автором этого стихотворения. Но из воспоминаний Марии Бруй нам известно, что это произведение читалось самим автором на одном из вечеров еще во время учебы в Несвижской учительской семинарии в 1898—1902 гг. Лирическим героем стихотворения «Горад і вёска» является крестьянин Гаврила, которому как-то выпала возможность побывать в большом городе. Через сравнение с сельскими реалиями, особым стилем жизни и проявляется неприятие им города: «Тут я целам, там мой дух». Гаврила рассуждает, что в деревне можно по заведенному порядку сходить в церковь, отдохнуть, а потом снова работать, жизнь же в городе для него terra incognita, прежде всего из-за необычности манеры поведения его жителей:

Ну і горад, ступа нейка,
Што ў нас куццю таўкуць:
Ашаломяць чалавека,
Спаць уночы не даюць.
Колькі шуму, колькі груку!
Я дзіўлюся, як тут жыць,
Па каменям, гэтым бруку
За грахі адны хадзіць.

Не принимает лирический герой и стиля жизни горожан, особенно девушек:

Я б тых баб павыганяў!
Нейкіх цацак начапляюць…
А як скачуць — дзе іх стыд!

В поэзии Якуба Коласа город показывается через призму видения белоруса-крестьянина с его чуть-чуть наивным мировосприятием. Городские реалии незнакомы, чужды жителям деревни, поэтому и вызывают негативное отношение как Гаврилы, лирического героя стихотворения «Горад і вёска», так и дядьки Антося, одного из главных героев поэмы «Новая зямля». В то же время в восприятии города Антосем замечаем и некоторую динамику: с высоты Замковой горы, когда становится понятной и организация города, и видится его красота, Вильно становится ближе, формируется новое, более позитивное отношение и к городу в целом.



Размышляя над книгой...

Если действительно и существует, хотя бы условное, разделение литературы на мужскую и женскую, то проза Владимира Степана в его последней книге «Адна капейка» (Мінск, «Літаратура і Мастацтва», 2012) — по-настоящему мужская. Автор немногословен: фразы короткие, точные.

В предисловии к книге литературный критик Лада Олейник отмечает, что Владимир Степан «віртуозна дэманструе» умение находить соответствующие образу, ритму, действию слова и предложения. Язык писателя при этом остается простым, точным, лишенным «всякой лирической цветистости».

Это язык мужской.

Листаю сборник Степана, удивляюсь: простота даже в названиях — «Адна капейка», «Букет. Медаль. Шапка», «Ключ», «Паліто»… Однако даже в простоте автор видит важное, не случайное.

Талант художника-живописца помогает Владимиру Степану в литературном творчестве, в этом единодушны читатели, критики, исследователи. Слова-мазки, слова-краски, разножанровые произведения — этюды, наброски, полотна…

Не только стиль письма, но и выбор героев произведений примечателен: отец, дед (не мать, не бабушка!), учитель рисования, братья, дядьки, друзья, соседи, мальчишки-одноклассники… В поле зрения писателя «мужской» набор предметов — ножики и ножички, велосипеды, футбольные мячи, рыболовные снасти, игральные карты, часы, сигареты, «гарэлка»... Его герои влюбляются, дерутся…

Думаю, в этом есть особый смысл. Произведения Владимира Степана — отражение времени автора, хорошего и дурного, высокого и низменного, вечного и исчезающего. Они — остановленное мгновение, спасение от небытия, сохранение неповторимого. Они — даже некая компенсация недостающего в современном обществе мужского воспитания, влияния на умы. Ведь никого не оставят равнодушными «Сто акварэльных малюнкаў. Бацька» и «Акварэльные малюнкі. Дзед». Владимир Степан попытался извлечь из памяти каждый штришок, каждый шаг жизни родных ему людей.

Подумалось: а сколько малышей в нашей стране растут без отцов и дедов. Сколько детей не имеют и, вероятно, никогда не будут иметь такого бесценного жизненного опыта, никогда не смогут передать его своим детям, потому что — утеряно, прервана нить… По банальной, привычной для слуха причине — пьянство, распущенность… Им, этим детям, никогда не сказать вслед за писателем Владимиром Степаном: *«Цікава, а калі ў мяне з'явяцца ўнукі, то я буду як мой дзед?...»* («Грошы»).

Почему мы возвращаемся в детство? Потому что именно там нами были пережиты самые яркие, радостные, счастливые минуты! Потому что именно эта память является мощнейшим защитным механизмом человеческой психики, источником положительных эмоций в настоящем, ведь радоваться так, как в детстве, мы уже разучились. *«А каб не тая дзедава кепка, то я хіба бы ведаў, што адчувае сапраўдны анёл»* («Шэрая кепка»).

Совсем коротенькую зарисовку «Смак» из воспоминаний про деда хочется привести полностью: *«Самая смачная беларуская страва — зваранная на добрым кавалку свініны кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з дзедам па тры-чатыры разы на дзень маглі есці тую гарачую капусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін на аднаго паглядаем. А баба наша задаволеная…*

І так нам добра і ўтульна, і так нам смачна, что і не расказаць словамі...»

Много ли человеку надо для счастья? Много ли надо для счастья ребенку? Надо, чтобы у него были любящие мать и отец, баба и дед… Чтобы жива была добрая память! «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на земли», — гласит пятая Заповедь Божья.

Еще человеку нужна родная земля — Родина.

Без высокого пафоса автор книги «Адна капейка» сумел сказать и о Беларуси, и о своей любви к ней: *«Не ведаю, як хто, я ж беларускага мужчыну без кепкі не магу ўявіць. Сам люблю кепкі, бацька насіў кепку і дзед. Нават дзеці хадзілі ў кепках»* («Шэрая кепка»). *«Кіёк і цапок. Стаялі пры дзвярах ў сенцах. Адпаліраваныя дзедавымі рукамі... Такія родныя словы».* «*…Мне здаецца, што гэта вельмі па-беларуску — хаваць узнагароды»* («Крыжы»). *«…Вышываны рушнік павязалі суседу на дубовы крыж, а праз сем гадоў такі ж рушнік павязалі на крыж майму дзеду. Яны ляжаць побач, як і жылі. Узмежак. Баразна. Могілкі. Беларусь»* («Мяжа»).

В связи с затронутой темой хотелось бы обратить внимание читателя на рассказ «Мятлік белы. Ястраб шэры». Яркие, щемящие воспоминания об отчей деревне, которой уже нет, которая похоронена, стерта с земли вместе с хатами, садами, колодцами, хлевами Чернобыльской бедой. Образ серого ястреба, тенью зависшего в небе и выглядывающего жертву, пронзителен — вызывает напряжение, тревогу. А белый мотылек, с коротким веком жизни, чист и спокоен, словно светлые души ушедших сельчан неведомой ему, мотыльку, «Атлантиды».

Лада Олейник, завершая вступительное слово «Залатая капейка», выразила уверенность: книга Владимира Степана займет достойное место в отечественной литературе. Как говорится — дай Бог!

На этой позитивной ноте, на добром пожелании талантливому писателю следовало бы закончить и мою статью. Но!

Книга Степана «Адна капейка» подтолкнула к размышлению на щекотливую, не всем приятную, кого-то даже раздражающую, но, безусловно, очень важную тему. Начну издалека.

Опытом и исследованиями педагогической науки доказано, что основные черты личности формируются в детском возрасте до 5—7 лет. Происходит это в семье — образ жизни родителей, близких впитывается ребенком, входит в его кровь и плоть. Все имеет значение: что и как говорят, что и как делают окружающие малыша люди. Какие читают книжки, смотрят кинофильмы, телепередачи…

Никто не станет спорить: влияние кино на современного человека колоссально. Тем более, что мы сами стали свидетелями безумного эксперимента над целым поколением: вседозволенность, безнравственность, беспринципность, предательство, нажива, садизм, воровство, убийства и прочие негативные явления, процветающие и рекламируемые с экрана, ворвались в девяностые годы прошлого века в жизнь нашего общества подобно Чернобыльскому взрыву — и повредили его. Убедительный пример.

Может быть, кто-то скажет, что литература не имеет такого же мощного воздействия, как кино, сославшись на приевшийся аргумент: «Скоро книги читать совсем перестанут»? Положа руку на сердце, признаемся: читать не перестанут, другое дело, что читает сейчас и будет читать лишь определенная часть общества — наиболее образованная, интеллектуальная, духовная, с творческим потенциалом, — потому ответственность писателя перед читателем лишь возрастет.

Воспоминания Владимира Степана, ставшие основой его рассказов и новелл, лишний раз доказывают: мелочей в воспитании нет и быть не может. Детская память особенна: она сохраняет такие подробности и детали, на которые взрослый не обратил бы внимания. Ребенок помнит даже то, что нам хотелось бы забыть…

Перечитаем написанные с любовью и уважением к родным людям

«Малюнкі» — как пример, как иллюстрации к сказанному.

Сначала про деда — обратим внимание на следующий отрывок:

...Колькі памятаю свайго дзеда, то пьяным ніколі яго не бачыў. А вось як ён піў, то бачыў штодня, калі прыязджаў у вёску. Бутля з гарэлкай, на дзесяць літраў, стаяла пад ложкам. А ў старым шкапку, пры акне, жыў яе меншы брат — зялёны графін. Побач карагодзіліся чаркі, класічныя стограмовікі. Дзед наліваў чарку, выпіваў і працягваў працаваць... Праз гадзіну заходзіў у хату, казаў, што стаміўся, выпіваў чарку і сыходзіў. Нават ноччу ўставаў мой дзед Ладзімір, каб глянуць на гадзіннік і глынуць гарэлкі...

Затем про отца:

...З нетраў плецака выцягваў пляшку віна, здзіраў корак і няспешна адпіваў палову... Бацька запальваў папяросу і глядзеў праз галіны ў неба ці сачыў за мной. Ад папяросы закручваўся сіні дымок. Ён сядзеў чвэрць гадзіны пад той яблынькай. На твары быў спакой і засяроджанасць. Ён не заўважыў нават, што папяроса згасла...

...А бацька здзівіцца і дасць мне свой нож, каб я рэзаў той грыб. Сам жа чыркане запалкай і задаволена зацягнецца...

...Шкляная попельніца на белым падваконні. Скрыначка запалак. Старамодныя акуляры. Недапалак...

...Бацька сядзіць за сталом ў дзедавай хаце. На стале вячэра, якую мы з ім прывезлі, і гарэлка. Дзве гранёныя шклянкі, прысунутыя адна да адной...

...Я сяджу на саначках, бацька цягне... Піўнуха: піва, гарэлка, а мне — цукеркі. Дым, гамана, зноў піва, гарэлка, цукерка. Потым буфет пасялковай лазні: піва, гарэлка, мне — кіслы яблык...

Можно продолжать, но не получается ли, что (незаметно для себя), не задаваясь такой целью, рисует (талантливо!) своеобразную, красивую, привлекательную рекламу дурных привычек?

Предвижу возмущение: писатель пишет жизнь с ее реальными проявлениями! — Не спорю. Мало того, упорно ищу способ наиболее безболезненно для автора книги «Адна капейка» поговорить на тяжелую тему: влияние литературы на распространение и развитие алкоголизма и табакокурения в нашем обществе.

Хотелось, чтобы тема звучала иначе: «Влияние отечественной литературы на процесс распространения трезвости в стране». Надеюсь, что придет такое время. Будет такая литература. Как это уже было в истории, было в царской России. Лев Николаевич Толстой: «Пора опомниться», «Что делает вино с человеком». Антон Павлович Чехов: «Средство от запоя», «Горе», «Отец». И другие писатели пытались, пытаются говорить на тяжкую тему: Николай Носов «Об употреблении спиртных напитков», Валентин Распутин — рассказ «Не могу-у…», Михаил Зощенко, Валентин Катаев, Аркадий Аверченко, Станислав Лем…

Давайте подумаем…

Наталья ГОРОДЯНКА



Чтобы лучше узнать Китай...

Белорусско-китайские отношения на современном этапе становятся все более прочными. За 20 лет дипломатических отношений реализовано немало проектов, ощутимо влияющих не только на сознание жителей нашей страны в отношении Китая, но и на экономику Беларуси, ее положение в мире. Поэтому каждая книга о китайской действительности является предметом пристального внимания. Это подтверждает и новый публицистический сборник — «Китай глазами белорусов», вышедший под общей редакцией А. А. Тозика (составитель — известная политическая журналистка, обозреватель БелТА, заместитель председателя общества «Беларусь — Китай» Алина Гришкевич). Анатолий Афанасьевич Тозик — генератор многих идей в развитии белорусско-китайских отношений. Заместитель премьер-министра Республики Беларусь, сопредседатель Белорусско-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, является еще и председателем общества «Беларусь — Китай», а с апреля 2006-го по январь 2011 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Китайской Народной Республике.

Очерком Анатолия Тозика «Китай в моей жизни» и открывается книга, повествующая о разных гранях отношений Беларуси и Китая. Несомненно, читатель с интересом откроет многие факты взаимодействия наших стран, рассказанные человеком, который немало сделал для упрочения дружеского сотрудничества. Но лично меня затронули такие строки документального повествования А. Тозика: «...что уж совсем невозможно представить в Китае, так это публичное шельмование и очернение отечественной истории. Не помню, кто первым произнес фразу «надо всегда помнить, что плевок, пущенный в спину прошлому, летит одновременно в лицо будущему», но в современном Китае это хорошо знают.

Все эти факторы формируют и еще одну заслуживающую глубокого уважения черту китайского характера — патриотизм, не наигранный, а находящийся где-то в глубинах сознания или даже на уровне подсознания. Тысячи китайцев, часто специально приезжая из дальних провинций, со слезами на глазах на площади Тяньаньмэнь в Пекине, затаив дыхание, наблюдают за торжественными церемониями подъема и спуска государственного флага КНР (это происходит ежедневно одновременно с восходом и заходом солнца). Где бы китаец ни родился и вырос — в самом Китае, Америке, странах Юго-Восточной Азии, — он остается прежде всего китайцем. И первые десятки, а затем и сотни миллиардов долларов иностранных инвестиций с началом политики реформ и открытости в экономику Китая вложили зарубежные китайцы — хуацяо.

Говоря о патриотизме, вспоминаю один трогательный эпизод. Както вечером на неформальной встрече друг-китаец представляет нас, нескольких послов стран СНГ, своей дочери, девчушке лет десяти-двенадцати: «Этот дядя — Посол Азербайджана, этот — Беларуси, этот — Казахстана». Девчушка посмотрела на нас и представилась в свою очередь, с достоинством произнеся: «А я — китаянка». Нам осталось только переглянуться.

Пытаясь понять менталитет, поведенческие нормы, психологию взаимоотношений китайцев, я в конце концов пришел к выводу, что не китайцу сделать это практически невозможно. Это под силу только китайцу. Китайское общество — это самодостаточная цивилизация с принципиально отлича-

ющимися от европейцев системой жизненных ценностей, нормами поведения, межличностными отношениями, отношениями внутри семьи и многим другим…»

Хорошо, что судится об этом общим настроением, эмоциональной окраской большинства текстов, собранных в книге. Авторам статей и очерков удалось разобраться во многом, понять отличительные черты современного китайского общества, обогатить себя осознанием значимости истории, культуры китайского пространства в рамках мирового созидания. Прожив в Поднебесной несколько лет, часто бывая в командировках в городах, провинциях Китая, они стараются насытить свои повествования важными, на их взгляд, фактами и деталями. Потому многие страницы книги «Китай глазами белорусов» воспринимаются не просто как увлекательный художественно-публицистический рассказ, а скорее — как увлекательное путешествие в разные регионы большой страны. Ты осуществляешь его и с руководителем представительства Минского завода колесных тягачей в Пекине Альбертом Нитиевским («Китайское экономическое чудо»), и с генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрием Предко («С китайской точностью и восточной тонкостью»), и с заведующим кафедрой рефлексотерапии БелМАПО, почетным членом Всекитайского общества иглоукалывания и прижигания, доктором медицинских наук Александром Сиваковым («Прошлое и настоящее традиционной китайской медицины»), и с Алиной Гришкевич («Подарок настоятеля Шаолиньского монастыря»)… Авторы, стараясь рассказать как можно больше из увиденного и открытого лично ими, излагают материал тех или других реалий социальной, экономической жизни, просто повседневного быта достаточно детально, объемно. Кстати, очерки, собранные под одной обложкой, могли бы стать и своеобразным помощником, гидом для студентов, изучающих Китай, язык, историю, культуру Поднебесной. И не только на факультете международных отношений Белорусского государственного университета или на китайском отделении Минского государственного лингвистического университета. Еще — и в ряде других университетов и институтов, где готовятся потенциальные специалисты по Китаю. «Китай глазами белорусов» — это и полезное чтение для отечественных журналистов-международников, которых готовят в Институте журналистики Белорусского государственного университета. И не только потому, что с помощью собранного в книге материала есть возможность постигнуть современный далекий мир, а и потому, что многие статьи и очерки — яркий пример международной публицистики.

Заметно выделяется документальное повествование собкора газеты «СБ. Советская Белоруссия» и Общенационального телевидения Инессы Плескачевской «На чем стояла и стоять будет земля Поднебесная. Китайская семья: традиции и современность». Журналистка главной газеты Республики Беларусь работает в Китае несколько лет. Сумела хорошо изучить общество Поднебесной, проникнуть в мораль выстраивания частной жизни, социального положения китайцев, их культуры. Все это позволяет И. Плескачевской писать выпукло, правдиво, с учетом целого ряда отличительных черт исторического и политического развития Китая. «Почитание старших — основа традиционного образа жизни в Китае, незыблемая на протяжении тысячелетий, — пишет Инесса Плескачевская. — Если уйдет неоспариваемое и никогда не ставившееся под сомнение уважение к старшим, родителям и начальникам, Китай утратит свои корни. А дерево без корней, сами понимаете, не живет.

Сыновний долг и почтительность — основа всех основ, самый важный из заветов Конфуция. Почтительность к родителям и забота о них считались началом всех добродетелей. В Китае сложился даже особый цикл образцовых примеров сыновней почтительности с рассказами о сыновьях, которые так горячо любили своих родителей, что, будучи уже совсем взрослы-

ми людьми, изображали из себя младенцев, дабы не напоминать престарелым отцу и матери об их возрасте…»

Некоторые материалы книги посвящены непосредственно белорусско-китайским историческим, культурным отношениям. Очерк доктора исторических наук Валерия Мацеля «Беларусь — Китай: в потоке истории» носит подзаголовок: «История дружественных связей народов двух стран». Говоря об истоках исторического побратимства, ученый вспоминает книгу уроженца Беларуси Осипа Ковалевского «Буддийская космология». Наш земляк работал в Китае в 1830—1831 гг. в составе Российской духовной миссии. Находясь в Пекине, Осип Ковалевский изучал китайский, монгольский, маньчжурский и тибетский языки. По возвращении из Китая он привез в Казань, где впоследствии многие годы возглавлял первую в Европе кафедру монгольского языка, 189 сочинений в 1433 томах, словари, книги на китайском и других восточных языках по истории, географии, философии, праву, религии Китая. В 1839—1849 гг. в составе Российской духовной миссии работал в Китае другой уроженец Беларуси — Иосиф Гошкевич (1814—1875 гг.). Именно он стал одним из первых русских натуралистов, собравших в Китае гербарий, большую коллекцию насекомых, бабочек. Вернувшись в Петербург, издал ряд серьезных статей о шелководстве, выращивании риса и картофеля в Китае, о производстве туши, белил, румян. Оценивая место И. Гошкевича и О. Ковалевского в востоковедении, белорусский ученый приводит слова российского китаеведа С. Тихвинского: «Российская и мировая наука через труды членов Пекинской миссии, включая И. Гошкевича и О. Ковалевского, смогла ознакомиться не только с языковыми и культурными ценностями китайцев, маньчжуров, монголов, уйгуров, тибетцев и других народов, населявших Цинскую империю (а впоследствии республиканский Китай), но и перевести на европейские языки многочисленные фундаментальные труды по китайской истории, философии, религии, литературе».

Достаточно многоплановым представляется очерк руководителя Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета, доктора филологических наук, профессора Александра Гордея «В свете конфуцианских идей». Сегодня в мире существует 358 институтов Конфуция. Начало положено в 2004 году в Республике Корея, в Сеульском университете. Автор подробно рассказывает о деятельности Республиканского института имени Конфуция Белорусского государственного университета, приводит примеры реализации многих программ, связанных с решением важных задач. Это обучение китайскому языку, включая использование мультимедийных и интернет-ресурсов; подготовка преподавателей китайского языка различной квалификации; проверка и подтверждение уровня владения китайским языком через систему экзаменов HSK; обеспечение учащихся учебной литературой, необходимой для их подготовки к обучению или работе в КНР. И то и другое проявляется в таких отраслях, как межкультурная коммуникация, туризм, торговля, финансы и традиционная китайская медицина; библиотечное обслуживание населения; проведение научных исследований в области китайского языка и китайской культуры; организация выставок, концертов и соревнований с целью популяризации китайского языка и китайской культуры; презентация и распространение произведений китайской культуры в виде книг, аудиовизуальной продукции и сувениров.

Несомненно, книгу «Китай глазами белорусов» можно считать значительным событием в белорусской международной публицистике последних лет. Слова признательности следует адресовать и издательству БелТА, осуществившему этот самый что ни есть серьезный книгоиздательский проект.

Кирилл ЛАДУТЬКО

Выбор Алеся МАРТИНОВИЧА

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ.
Збор твораў. У 25 т. Т. I. Паэзія, 1950—1960.
Прадмова, падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Анатоля Вераб'я, рэд. тома Вячаслаў Рагойша.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

Этим томом издательство «Мастацкая літаратура» положило начало выпуску нового, наиболее полного, научно комментированного собрания творческого наследия Владимира Короткевича, состоящего из двадцати пяти томов. Координирует этот выпуск филологический факультет Белорусского государственного университета. Особенность издания в том, что к нему будут приложены два CD-диска. На первом из них помещены стихи и песни в исполнении самого В. Короткевича, на другом — его выступления по радио и телевидению, в Союзе писателей Беларуси, а также снимки съемок в художественном фильме «Жыціе і ўзнясенне Юрася Братчыка», снятого по роману «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». В первом томе помещены поэтические произведения В. Короткевича, которые в свое время публиковались в его книгах «Матчына душа» (1958) и «Вячэрнія ветразі» (1960). Представлены и произведения, которые до этого в поэтические сборники не входили. Небезынтересно познакомится и с «Радаводам Уладзіміра Караткевіча», автором которого является Анатоль Верабей. Он же во вступительной статье «Рыцар сумлення і свабоды» внимательно прослеживает жизненный и творческий путь писателя, детально рассматривает его произведения и делает вывод, что «Уладзімір Караткевіч — гонар і сумленне беларускай літаратуры. Ён быў сапраўдным апосталам духоўнасці, прадвесцем новага беларускага Адраджэння. Пісьменнік глыбока раскрыў душу і светапогляд народа, яго нацыянальны характар».

Янка КУПАЛА.
«Мне сняцца сны аб Беларусі...». Успаміны, эсэ, артыкулы, дакументы. Укладанне Галіны Шаблінскай.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

Этой книгой «Мастацкая літаратура» продолжает свою известную серию «Жыццё знакамітых людзей Беларусі», начало которой положил том, посвященный Владимиру Мулявину. После этого появились книги о Михаиле Пташуке, Владимире Короткевиче, Ростиславе Янковском, Николае Еременко, Николае Чергинце, Иване Шамякине, Евгении Чемодурове, Михаиле Финберге и других, кто является гордостью Беларуси. Конечно, книги воспоминаний о Янке Купале выходили неоднократно. Да и отдельные публикации появлялись довольно часто. Составитель книги Галина Шаблинская признается: «Рыхтуючы гэты зборнік, я кіравалася прынцыпам знайсці і выбраць тыя матэрыялы, якія раскажуць сённяшняму чытачу пра Янку Купалу — чалавека і мастака, дапамогуць расшыфраваць код Купалавай геніяльнасці, мудрасці, цярплівасці. Тут сабраны ўспаміны розных людзей, якія ведалі паэта, сустракаліся з ім у розныя гады яго жыцця. Гэта родныя і блізкія Івана Дамінікавіча, пісьменнікі і навукоўцы, рэжысёры і артысты, мастакі і кампазітары, кіраўнікі і простыя рабочыя, настаўнікі і ўрачы, журналісты і г. д. Па часе напісання самы першы матэрыял датуецца 1928 годам, апошні — 2010-м. Амаль цэлае стагоддзе з усімі складанасцямі і супярэчлівасцямі». Вошли в книгу и некоторые официальные документы, письма, статьи, помогающие лучше понять трагические страницы жизни народного песняра. Ведь в воспоминаниях, написанных ранее, эти факты по сути замалчивались, а если и затрагивались, то вскользь. Не печаталась и монография первого библиографа

Купалы Льва Клейнборта «Янка Купала. Вопыт характарыстыкі літаратурнай і біяграфічнай (1929—1934)». Из рукописи, которая хранится в фондах Государственного музея Янки Купалы, для печати взяты три раздела. Из фондов музея взяты и некоторые другие воспоминания, а те, которые печатались в сокращенном или исправленном варианте, приводятся полностью. Получился хороший подарок для почитателей творчества Янки Купалы.

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ.
Сэрца мармуровага анёла. Аповесці. Раман.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

Пути Господни неисповедимы. Поэтому и пересеклись судьбы сторожа провинциального музея и столичного искусствоведа Каси. Более того, у них оказалась черная жемчужина, некогда принадлежавшая польской королеве Боне Сфорца. Той самой, которая была женой Сигизмунда I Старого и матерью Сигизмунда II Августа. Ситуация уже сама по себе далеко не ординарная, а поскольку она положена в основу повести Л. Рублевской «Сэрца мармуровага анёла», то… Одно могу сказать: спешите знакомиться с этим произведением. Если же вы читали повесть ранее, не пожалеете, еще раз переверните ее страницы. Это тот случай, когда при повторном чтении в уже знакомом открываешь для себя нечто новое. А также, насколько хорошо она владеет исторической фактурой, насколько уверенно автор владеет пером, в одинаковой степени мастерски выписывая и характеры, и сам сюжет. В произведениях, вошедших в эту книгу, совмещаются как разные временные пласты, так и разные жанры, в частности, детективный и приключенческий. К примеру, в романе «Золата забытых магіл» судьба философа и инсургента XIX века Винцеся Ращинского переплетается с судьбой учительницы одной из столичных гимназий. Героиня же повести «Пярсцёнак апошняга імператара» поэтесса Магда, углубляясь в историю рода, с удивлением узнает, что он королевский.

Максім ТАНК.
На камні, жалезе і золаце. Успаміны, эсэ, прысвячэнні.
Укладальнік Уладзімір Казбярук.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

Эта книга также вышла в серии «Жыццё знакамітых людзей Беларусі». Со страниц ее встает образ замечательного поэта, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии Максима Танка. Название книге дали воспоминания народного писателя Беларуси И. Шамякина. Иван Петрович свидетельствует: «...у асобе Яўгена Іванавіча я з першай сустрэчы і да апошняй бачыў Чалавека з вялікай літары, Асобу і паэта, зноў-такі з вялікай літары. Таму напісаць пра яго мяне вымушае і сяброўская вернасць, і абавязак літаратара, які доўгі час знаходзіўся ў эпіцэнтры жыцця і барацьбы вялікага і яркага адрэзка ў гісторыі нацыянальнай літаратуры, культуры». Эти воспоминания помещены в разделе «Пад Нарачанскім знакам». Свое слово о М. Танке сказали также Микола Орочко, Микола Аврамчик, Степан Александрович, Василь Витка, Василь Зуенок, Микола Метлицкий и другие. Всего около тридцати авторов. И, конечно же, как и в предыдущих книгах этой библиотеки, много говорят фотоснимки разных лет.





Коллекция

Иногда для того, чтобы обратить внимание на страну, явление, известного человека, рассказать о них что-то, нужны не увесистые тома, а меленький листочек бумаги с перфорированными краями — почтовая марка. К юбилею классика журнал «Нёман» решил посмотреть на эту дату с неожиданной стороны и попросил одного из самых известных филателистов Беларуси Льва Колосова рассказать о Якубе Коласе не как о народном поэте, а как об объекте коллекционирования, ну и, конечно же, продемонстрировать читателям редкие экземпляры своей коллекции.

Якуб Колас в филателии

В моей филателистической коллекции, посвященной Якубу Коласу, самыми интересными экспонатами являются два конверта от писем, высланных классиком в 1937 году в Москву на имя поэта и переводчика Сергея Городецкого. Обращает на себя внимание их обратный адрес, написанный автором писем: «БССР, Минск, Академия наук» и характерная подпись — «Я. Колас».

В советское время почта выпустила две марки, три конверта и три специальных почтовых штемпеля, посвященных Якубу Коласу.

В 1957 году Министерство связи СССР издало малоформатную марку с портретом поэта в обрамлении белорусского орнамента, колосьев ржи и книг. Надпись на марке — «Якуб Колас — народный поэт Белорусской ССР. 75 лет со дня рождения».

Через пять лет в честь 80-летия со дня рождения Песняров Беларуси — Якуба Коласа и Янки Купалы в почтовое обращение поступила почтовая миниатюра с портретом двух литераторов. Кроме того, был выпущен конверт с портретом Якуба Коласа. Юбилейная дата была отмечена специальным гашением корреспонденции — штемпелем с текстом на белорусском языке — «80 год з дня нараджэння Якуба Коласа. 3.11.62. Мінск. Паштамт». В рисунке штемпеля — портрет поэта, колосья ржи и книги.

К 90-летию Якуба Коласа Министерство связи СССР выпустило конверт с портретом поэта, выполненным известным художником Анатолием Яр-Кравченко. В честь 100-летнего юбилея Песняра впервые в практике советской почты белорусскому поэту была посвящена авиапочтовая карточка с оригинальной маркой, на которой изображен дом-музей Якуба Коласа в Минске. В рисунке почтового знака — лавровые ветви, открытая книга, на странице которой факсимильная подпись Якуба Коласа. Марка обрамлена белорусским орнаментом. Выпуск карточки в почтовое обращение сопровождался специальным гашением корреспонденции штемпелем, на котором изображено гусиное перо и написано: «Почта СССР. 100 лет со дня рождения Якуба Коласа. Первый день. Москва. Почтамт». В Минске в день юбилея гашение производилось другим штемпелем — изображение книги, гусиного пера, национального орнамента и юбилейного текста. К юбилею был также издан художественный конверт с портретом литератора, который оформлял известный советский художник Петр Бендель.

В 1964 году в серии конвертов, посвященной архитектурным ансамблям Минска, вышел конверт с изображением площади Якуба Коласа и зданий полиграфического комбината, который носит имя писателя.

Имя Якуба Коласа носят улицы многих городов нашей республики. Многие пред-

приятия, расположенные на улицах имени Якуба Коласа, владели в 1970—1980-е годы франкировальными машинками, в штемпелях которых кроме своеобразной марки размещались название предприятия и адрес — «ул. им. Якуба Коласа». Таких именных штемпелей в коллекции филателистов несколько десятков.

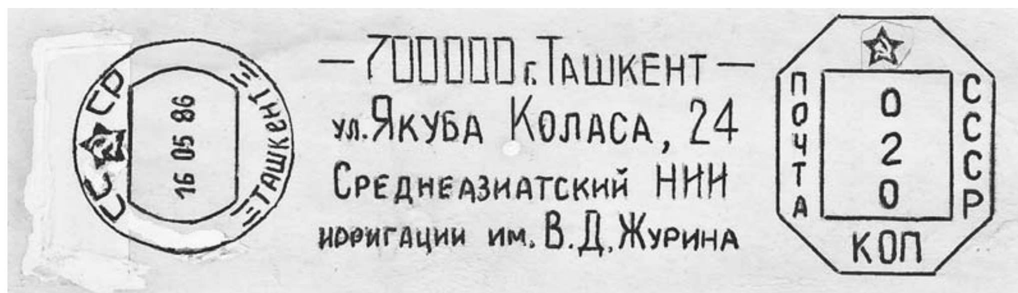
Известно, что в годы Великой Отечественной войны писатель жил в эвакуации в Ташкенте. Позже, после разрушительного землетрясения в столице Узбекской ССР, строители каждой из советских республик возводили там целые микрорайоны. Одна из улиц, построенных белорусскими строителями, некоторое время носила имя Якуба Коласа. К слову, в изданном Белорусской Советской Энциклопедией в 1987 году справочнике «Их именами названы…» этот факт не упоминается.

К 120-летию со дня рождения народных поэтов Якуба Коласа и Янки Купалы в 2002 году Белпочта издала две почтовые миниатюры и блок. На марках и блоке запечатлены портреты писателей, их книги, дома в Николаевщине и Вязынке, газета «Наша Ніва». В день выхода марок в почтовое обращение на Минском почтамте проводилось специальное гашение корреспонденции.



Нужно отметить, что конверты с портретом Якуба Коласа издавались и за границами нашей республики. Правда, не государственным изданием, а частным: Белорусской диаспорой в США. На конверте — портрет Якуба Коласа, белорусский орнамент и подпись на двух языках — английском и белорусском: «Якуб Колас — класік Беларускай літаратуры».

Лев КОЛОСОВ,
заместитель председателя
Белорусского союза филателистов.



Имена

Основатель белорусского Кембриджа

Александр Михайлович Широков был личностью многогранной: ученый-профессор, офицер высшего командного состава, поэт, активный деятель академического научного сообщества, ректор ВУЗа. «Профессор, …опять Вы сбились с материала, А он студентам про войну, про то, что в памяти застряло…»

Родился он в российской глубинке в предвоенную пору. Представьте себе. Вятский край. Деревня Заовражек. «Зимы у нас холодные», «расстояния большие», «поэтому зимняя езда была тщательно продумана».

Представили? А как ходить в школу, на учебу? А выезды в мир, в другие деревни и города? Легко сказать, сделать труднее. Можно было «застрять» на веки вечные в отдаленном селе, трудиться, обзавестись семьей, тянуть настойчиво «ярмо хлебороба» (Якуб Колас), что тоже было бы хоро-

шо, ибо на таких русских мужиках вся Россия держится. Добивался бы признания, поднимал себя и край. «Лучше с малых лет ходил ты в поле за сохою», «если б был ты в доме, то было б все, и при твоем уме — пост председателя в волисполкоме» (С. Есенин). Но он распорядился своей жизнью по-иному. И не проиграл.

Когда я, возвратившись из Кембриджа, рассказывал ему об этом ВУЗе, он с затаенной грустью и мечтой отвечал: «Я хочу основать наш Кембридж». И он основал «свой Кембридж» — первый негосударственный Институт современных знаний, носящий теперь его имя. Собрал вокруг себя талантливых ученых БГУ, высших офицеров ВИЗРУ, друзей, соратников. И первый белорусский Кембридж не только выжил, но и расцвел, преобразился, стал значимым в вузовском сообществе.

Философы утверждают, что первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, существование ярких, выдающихся личностей. С приходом в научно-творческое сообщество Беларуси доктора технических наук, профессора, сначала декана факультета радиофизики и электроники Белорусского государственного университета, а затем ректора первого негосударственного ВУЗа, Александра Михайловича Широкова значительно обновилась общественная и научно-педагогическая жизнь страны. Появились новые структуры. Она, эта жизнь, стала более яркой, насыщенной, многогранной.

Только большой романтик мог отважиться на открытие своего частного учебного заведения в столь сложное, изменчивое время. Александр Михайлович почувствовал, что сейчас можно попытаться осуществить свою заветную мечту. Тогда и возник Институт современных знаний с новыми технологиями обучения, новыми учебными планами, специальностями и специализациями, направлениями. Окружив себя командой профессионалов, он смело взялся за дело. У него стало получаться если не все, то многое: институт стал многопрофильным, появились неплохие арендные помещения для учебы студентов, задумывалось строительство собственного здания первого «белорусского Кембриджа». Как я уже говорил, мне довелось во время командировки для чтения лекций в Лондонском университете побывать в Кембридже. Сохранилась рукопись повести с тех далеких времен «Один день в Кембридже». Скажу, что организация учебы в Кембридже даже при первом, при внешнем знакомстве напоминала характер учебы и отношение к делу преподавателей и студентов ИСЗ. Те же «тьютерские» занятия, когда преподаватель, тренер, наставник, сгруппировав вокруг себя увлеченных студентов, устремляется к высотам знаний. Та же демократическая обстановка, которая не позволяет расслабиться, но и не загоняет профессоров и студентов в жесткие рамки. Университетские свободы первых средневековых корпораций студентов и преподавателей, бытующие в ИСЗ, принесли свои положительные результаты, способствовали укреплению авторитета ИСЗ, его влиянию на белорусское высшее образование. Как в Средние века, главенствующим стал факультет «свободных искусств», или, как его называли в те далекие времена и позже, «факультет артистов», который возглавлял ректор, и это стало традицией на протяжении многих столетий в «studia generalia». Кстати, напомним, в классическом средневековом университете имелось четыре факультета: медицины, права, теологии, свободных искусств.

Тогда же выявилась еще одна сторона творчества А. Широкова — одно за другим появились поэтические откровения, в которых мы, его коллеги, близкие, знакомые, родные, открыли его нового, совсем не похожего на того, каким мы знали его раньше. Вышли сборники стихотворений «Удивленье» (1998), «Откровения» (2002), «Избранное» (2002). В них поистине широко и масштабно раскрылась история души Александра Михайловича Широкова. «История души человеческой… едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа», — словами рассказчика в предисловии к журналу Печорина говорит нам автор романа «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтов. История целого народа, история страны и «история души человеческой» проходит также и через все поэтическое и очерковое творчество А. М. Широкова.

Владимир НАУМОВИЧ



КОЗЛОВ Анатоль Сергеевич. Родился в 1962 г. в д. Осиновка Краснопольского района Могилевской области. Окончил Гомельский государственный университет, аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. Прозаик. Автор книг прозы «Міражы ценяў», «...І тады я памёр», «Незламаная свечка» и др. Работает в журнале «Маладосць». Живет в Минске.

МОЗГО Владимир Минович. Родился в 1959 г. в г.п. Зельва Гродненской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, публицист. Автор ряда книг поэзии, многие стихотворения из которых положены на музыку. Лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси и Литературной премии имени Василя Витки. Заместитель главного редактора журнала «Полымя». Живет в Минске.

КОНЕВ Федор Егорович. Родился в 1935 г. в селе Мужи Тюменской области (Россия). Окончил Всесоюзный Государственный институт кинематографии (Москва). Кинодраматург, прозаик. Автор книг «Сполохи» и «Снегопад».Участвовал в создании двадцати фильмов. Среди них — «Счастливый человек», «Пламя», «Половодье», «Сад», «Фруза», «Шляхтич Завальня», «Ятринская ведьма», «Чёрный аист» и др. Живет в Минске.

НАМЕСТНИКОВ Николай Владимирович. Родился в 1962 г. в Витебске. Окончил Витебский педагогический институт имени П. М. Машерова. Автор поэтических сборников «Забытые небеса», «На распутьях ветров и дорог». Живет и работает в Витебске.

ПЕЛЮШОНОК Юрий Анатольевич. Родился в 1957 г. в Минске. Окончил Белорусский институт физической культуры и медицинский факультет Тартуского университета. Автор книги «Strings For A Beatle Bass. The Beatles Generation In The USSR». Живет в Минске.

РОГОВОЙ Александр Георгиевич. Родился в 1952 г. в Щорском районе на Черниговщине. Окончил строительный факультет Белорусского национального технического университета. Поэт. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

УСТИНОВИЧ Эмма Васильевна. Родилась в 1933 г. в г. Чечерске Гомельской области. Окончила Московскую геофизическую школу, Гомельский педагогический институт им. В. Чкалова. Автор книг поэзии «Берега», «Мелодии души», «Рассыпанное ожерелье. Стихи, экспромты, миниатюры», «Рябиновая гроздь», «Галасы радзімы», книги прозы «По дорогам жизни и смерти. Повести и рассказы» и др. Награждена медалью «Ветеран труда». Живет в Гомеле.

ЛУКША Валентин Антонович. Родился в 1937 г. в Полоцке. Окончил отделение печати Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Поэт, драматург, публицист, переводчик. Автор многих книг поэзии для взрослых, сборников стихов и сказок для детей, пьес, текстов популярных песен. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, литературных премий имени П. Бровки, имени В. Витки. Умер в 2012 году.

ЛАСТОВСКИЙ Вацлав Устинович. Родился в 1883 г. на хуторе Колесники Дисненского уезда Виленской губернии (теперь Глубокский район Витебской области). Окончил Погостскую начальную школу, слушал лекции в Петербургском университете. Белорусский писатель, общественный и политический деятель, академик, историк, филолог, директор Белорусского государственного музея, Премьер-министр Белорусской Народной Республики. Обвинен по делу о «Союзе за освобождение Белоруссии», приговорен к высылке. Расстрелян в 1938 году.

ДИМИТРОВА Кристин. Родилась в 1963 г. в Софии. Окончила отделение английской филологии Софийского университета. Поэтесса, прозаик, эссеист. Автор книг поэзии на болгарском языке «Тринадцатое дитя Иакова», «Картина подо льдом», «Скрытые фигуры», сборника рассказов «Любовь и смерть под дикими грушами», а также сборника избранных стихотворений на турецком, греческом и английском языках. Лауреат премии Союза болгарских переводчиков. Живет в Софии (Болгария).